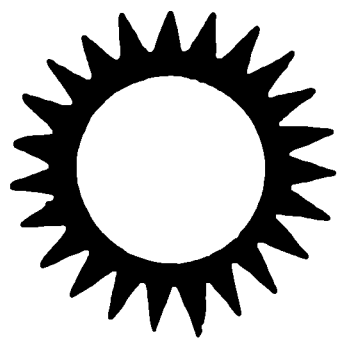




АННА КАРАБАЕВА
ПОВЕСТИ



ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

АННА КАРАВАЕВА

ПОВЕСТИ

КРАСНОЯРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1975

P—2
K—21

В книгу известной советской писательницы вошли два произведения.

В повести «Двор» (1926 г.) рассказывается о событиях первых лет Советской власти в деревне. Герой повести Степан Баюков возвращается после гражданской войны в родное село, он полон желания и энергии наладить хозяйство, создать товарищество по совместной обработке земли, ведет активную борьбу против кулаков.

Повесть «Баян и яблоко» посвящается людям плодородческого колхоза, душевно щедрым и беспокойным. Действие происходит в тридцатые годы.

0763—106
К **М147(03)-75** **28-75**

© Госиздат. М.-Л., 1927—1929.
© ГИХЛ, М., 1932.

ДВОР

Весной двадцать четвертого года Степан Баюков вернулся из Красной Армии домой, в деревню Бережки.

Однажды вечером Баюков вышел на улицу, сел на скамью у ворот и не торопясь закурил. Левой рукой он потирал колени, унимая усталость за длинный день работы на вешнем голубом солнышке.

Но усталость эта была даже приятна — своей-то, как говорится, некупленной силой сколько сделаешь за день!.. А пока он служил в армии, на дворе у него скопилось множество всяких прорех и непорядков, с которыми он решил начисто разделаться до наступления горячей страдной поры.

«Маринке, понятно, трудно было без меня, — нежно думал он о жене. — Силенки ведь слабые, женские... А наши деревенские помогали ей, по всему видать, плохо... Экий народ... В свое время сам постановление видел: женам красноармейцев помогать в первую голову... а на-ко вот...»

Степан не успел додумать — знакомый голос окликнул его:

— Степан Андреевич, доброго здоровьица!

По дороге, приветственно помахивая картузиком, шел старик Финоген Вешкин.

— А мы к тебе, Степан Андреич! — крикнул он хрипловатым тенорком. Морщинистое лицо его с прозрачной седой бороденкой довольно улыбалось. За ним, явно сдерживая его веселую торопливость, неспешно вышагивал Демид Кувшинов, глубоко вонзая в землю свою высокую кленовую палку. Демид был высок, широ-

копеч, его сивые густые волосы и ровная, еще темная, лопаткой борода вокруг скуластого, носатого лица заставляли предполагать, что ему немногим за пятьдесят. Но, не в пример Финогену Вешкину, который был старше его лет на двенадцать, Демид Кувшинов шагал по-стариковски, тяжело передвигая больные, ревматические ноги, обутые в старые, многожды латанные, низко подрезанные валенки.

Финоген Вешкин поздоровался с Баюковым, весь так и просияв доброй улыбкой. Демид только произнес «здорово» и подал Степану большую твердую руку.

— Уж как мы довольны, Степан Андреевич, что тебя дома застали, — начал Финоген, чуть покосившись на сумрачное лицо молчаливого Демиды.

— Я же тебе говорил, что мы Баюкова теперь обязательно дома застанем, — басом проговорил Демид и, оборачиваясь к Баюкову, спросил: — Да уж ты, пожалуйста, в волости все свои хлопоты кончил и как следует быть дома обосновался?

— Так точно, — по-военному довольно ответил Баюков.

— Это как же, милый, дома... и вдруг «обосновался»? — удивился Финоген Вешкин. — Чего ж тут, не пойму, обосновываться, коли человек в свой дом родной вернулся?

— Ну... несмышлена голова! — с легким пренебрежением сказал Демид Кувшинов. — Степан-то Андреич ведь человек партийный... а такие в волости на счету должны быть... Верно я говорю?

— Верно, — подтвердил Баюков, с хитровой усмешкой посматривая на обоих собеседников. — Это хорошо, Демид Семеныч, что ты во все вникаешь.

— Вчера мы с Демидом Семенычем в волисполкоме встретились, — продолжал Баюков, обращаясь теперь к Финогену. — Демид Кувшинов меня спрашивает, для чего я приехал в волость. Я отвечаю ему: «Приехал по своим партийным делам — теперь и я состою здесь на учете». Потом я его спрашиваю: «А ты что тут делаешь, Демид Семеныч?» А он мне отвечает (тут Баюков опять хитро усмехнулся), что приехал нарочно — справиться желает насчет важного общественного дела...

— Это уж не насчет ли товарищества нашего будущего? — живо насторожился Финоген.

— Насчет того самого... проверить все хотел... да,— твердо ответил Демид.

Финоген вдруг возмущенно передернул сухими плечами, добрая улыбка исчезла с его сморщенного лица.

— Экое дело!.. Кого проверять-то захотел? Уважаемого человека, благожелателя нашего... тебя, Степан Андреич! Верно ли, мол, ты нам о товариществе рассказывал... Ну! Не то придира ты, Демид, не то злой ты мужик... ей-ей. Ведь этак Степан Андреича и обидеть не долго.

— Его-то?— и Демид будто воткнулся в лицо Баюкова суровым взглядом коричневых, как солод, умных глаз.— Степан Баюков хоть и моложе нас с тобой, Финоген Петрович, а зря обижаться не станет... Верно я говорю, Степан Андреич?

— Верно,— снова подтвердил Степан Баюков.— Я так и понял, Демид Семеныч, что ты желаешь, так сказать, воочию удостовериться, какие имеются постановления, что говорят советские законы насчет товариществ по совместной обработке земли...

— О чем и речь идет!— прервал Демид, возбужденно откашливаясь с громким, словно трубным звуком.— О важнейшем деле речь идет! Товарищество — да какое? Это тебе не за любо-просто стакан водки с товарищами распить, а это — людям в одном кусте, тоись сов-мест-но пашню обработать...

— Да чтоб все по-доброму вышло!— ввернул Финоген.

— То-то оно и есть... и,— Демид опять трубно кашлянул.— В одной семье, своих же кровных, случается, мир не берет — а тут на тебе... разные люди, каждый на особицу, один такой, другой сякой... и вдруг: совместная обработка земли... подумать только!

— Однако вот ты, например, Демид Семеныч, надумал же вступить в будущее наше товарищество,— заговорил Баюков, несколько испытующе вглядываясь в сосредоточенное лицо Демида.

— Тугодум он, Демид свет Семеныч... право слово, тугодум!— опять возмутился Финоген, которому все больше не нравилось сумрачное лицо Кувшинова.— В волости ты был? Был! Узаконения насчет товарищества читал? Читал!..

— Читал,— угрюмо и важно повторил Демид, про-

должая смотреть перед собой все тем же сосредоточенно-задумчивым взглядом. Финоген с досадой отмахнулся и вновь обратил к Баюкову ласково улыбающееся лицо. Старик сейчас решил про себя, что перед Степаном, который первый и рассказал людям о товариществах по совместной обработке земли, надо показывать не хмулость, как это делает тугодум Демид, а радость душевную.

Так Финоген и сделал.

— Прямо скажу тебе, Степанушко, хороший ты выход нам, бедноте, присоветовал. Ведь вот совсем вроде недавно ты домой с военной службы вернулся, а вон как люди у нас этим делом загорелись, сильно оно подходит нам, Степан, товарищество это самое... Взять, милый, к примеру, меня со старухой. Почти что одни мы с ней остались. Два сына в германскую войну убиты, один в Красной Армии службу проходит, старшая дочка с нами, но ведь она вдовая, с тремя ребятишками осталась, а младшая в другую деревню замуж вышла. Вот и выходит: теперь нас раз, два — и обчелся, а для хозяйства, сам знаешь, сколько силы надо. Мы со старухой и дочкой рассудили: одним нам тяжело, а с народом вместе — будто сила в тебе внове родилась.

— Ага! Что я вам говорил?

— Так мы же и не спорили с тобой, Степан Андреич, мы свою выгоду понимаем: землю обрабатываем вместе, все и каждый — хозяева равноправные и за труды свои получили по совести.

— Мы, знаешь, намеренны даже подсчитали с мужиками, — вмешался Демид, и его сумрачное лицо сразу оживилось, — тягло, плужки да всякие какие ни на есть орудия вместе сложить — сила получается большая... к-куда больше того, когда все это тягло да орудия поодиночке на полоски выходили... Верно?

— Конечно! — так же оживленно поддержал Степан. — Вы рассчитали правильно, как здоровым да честным людям полагается. А вот посмóтрите потом, какую пользу это в жизни даст... Партия высоко оценила это дело — товарищества по совместной обработке земли: от такой общественной постановки труда для народа и польза, и учение, да и государство больше хлеба получит... Смекаешь?

И Баюков, как уже не раз бывало, с увлечением заго-

ворил на любимую тему. В Красной Армии он успел немало прочесть брошюр и газетных статей, где рассказывалось о работе тозов, успел послушать и поговорить с докладчиками по вопросам сельского хозяйства — и наконец накрепко убедился в том, что тозы — дело нужное и важное и обещает в будущем немалую пользу для крестьянина, а кстати поможет ему стать более грамотным и культурным человеком.

— Без культуры, дорогие товарищи, теперь нельзя, — наставительно повторил Баюков. — Советская власть народу и землю и все права дала.

— Уж про это что говорить, Степанушко, ребята-школьники и те понимают.

— Понимать, Финоген Петрович, мало — надо всей душой стараться новое в жизнь проводить... жизнь-то ведь везде и всюду на новое поворачивает.

— Тебе, конечно, как человеку партийному, лучше нашего видать... потому тебе, Степан Андренч, от нас доверие и уважение, — опять загудел Демид. — А только есть у меня, да и у многих еще наших беспокойство одно...

— Чего там опять? — досадливо вскинулся Финоген. — Ох, назола ты, Демид Семеныч!.. Ну... что тебя опять беспокоит?

— Да не меня только, а и других многих, кто к нашему делу привержен, — упрямо продолжал Демид. — Еще товарищество наше только зачинается, а у него уже враги появились, которые справедливому делу будут всячески вредить. Я о Корзуниных говорю, о подлой их кулацкой шайке. Я их во-о как знаю!

Демид с силой сжал темный кулак с набухшими жилами, глаза его зажглись мрачным огнем.

— Они, Корзунины, у меня во-от где памятку оставили, — и Демид, нагнувшись, ударил ладонями по своим ногам в старых, заплатанных валенках. — Десять лет на них батрачил, всю силу на ихнем дворе оставил... Парнишкой отец меня с голодухи (восемь ребячьих ртов в избе!) и определил к Корзуниным: «И сыт будешь, сынок, и себе кой-чего справишь». А я тогда безответный был, малограмотный, на спине у меня хоть горох молоти — все готов был вытерпеть. И в дождь и в холод Корзунины меня посылали то лес рубить, то на базар, то по разным торговым делам с «самим» Маркелом Корзуни-

ным или с большаками его езживал. Бывало, хозяин-то в чайной рассиживал, а я с конями целыми часами на морозе простаивал... А уж сколько дров из лесу перевез... горы-ы! И все-то без пощады, хуже собаки, все-то на голоде да на морозе...

— Будет уж тебе гудеть!— снова недовольно прервал Финоген.— Что было, то прошло. Теперь ты с сыном женатым живешь, уже подмогу себе вырастил... Жизнь вроде глаже пошла...

— Глаже, глаже!— вдруг ехидно передразнил Демид.— Добёр ты, Финоген Петрович... ох, добёр... ты, пожалуй, волка и того бы погладил... Это оттого, что ты у Корзуниных не батрачил...

— Да что ж... и я, было время, от нуждишки к Маркелу Корзунину наниматься ходил,— простодушно признался Финоген,— да только он меня вобрат послал: «Больно, говорит, тощей ты, парень, не будет от тебя проку».

— А я был косая сажень в плечах!— выкрикнул Демид.— Это Корзунины из меня все здоровье вытянули... ноги у меня пухнут — тяжелые, как бревна, ревматизм у меня... вот... во-от...

Демид резко подался вперед, рванулся еще раз и грузно сел на лавку.

— Во-от,— повторил он, с силой ударив палкой оземь.— Они, Корзунины, кулацкий их двор, меня инвалидом сделали до скончания дней... и все обманом да посулами голову мне морочили, а сами обсчитывали, обдирали как липку: «Обожди, Демидушко, вот ужо рассчитаемся с тобой...» Все «ужо» да «ужо»... будь они прокляты, подлеи их нету!

— Все это мне известно, Демид Семеныч,— с легким нетерпением прервал Баюков.— Я только что-то не пойму: к чему ты рассказ свой клонишь?

— А к тому клоню,— с каким-то ожесточением повторил Демид,— чтобы ты, молодой, помнил: корзунинская подлость да хитрость по сю пору всякому доброму делу вредить готова... И нашему товариществу тоже будет вредить... И, значит, держи ухо востро!

— Ну, Демид Семеныч, мы теперь посильнее их будем!— засмеялся Баюков, обнажая широкие белые зубы.— Наша советская власть дорогу вперед прокладывает, а Корзуниным и им подобным она ходу не дает... И все

меньше будет им ходу... вот помяни мое слово, Демид Семеныч!

Демид недоверчиво покачал головой и усмехнулся.

— Ходу нет, они, Корзунины, всюду. Как торговали, так и торгуют... и к кооперации вот присосались, а где можно головы людям мутят. Вот и ныне Маркел шипит, как змея, наговаривает из-за угла на будущее наше товарищество: сулит, мол, нам это всякие беды да провалы, прямой нам будет разор от этого тоза. А уж тебя Корзунины выставляют... батюшки! Уши вянут, как слушаешь: и обманешь ты нас, и наживешься на нашей шее... и-и, да разве перечтешь!

— По себе судит, злыдня кулацкая!—сквозь зубы произнес Степан.

— Ну зачем ты, Демид, все это рассказываешь? Чай, Степан Баюков сам все знает и понимает. И что за нрав у тебя, ей-богу... гудит, гудит, зарядил, словно дождь по крыше,—рассердился наконец Финоген,—Что уж это, ей-богу,—будто сильнее Маркела Корзунина и зверя нету?

— А вот мы сейчас все сомнения и страхи у Демиды Семеныча одним махом снимем!—вдруг весело и уверенно сказал Баюков и, подмигнув Финогену, повернулся к Кувшинову всем своим весело улыбающимся лицом.—Пусть те сквалыги кулацкие знают: мы, товарищество, от государства скоро трактор получим, а этим мироедам его как ушей своих не видать!

— Трактор?—переспросил Демид, и сумрачное носатое лицо его передернулось подобием улыбки.—Трактор... это, брат, здорово... ей-ей, здорово!..

Он пошевелил темными узловатыми пальцами, будто расправляя их над теплом, и вдруг грохнул басистым голосом.

— Это, значит, выходит: они себе плугом да конягой ковыряйся, а у нас земельку трактор будет поднимать?

— Только так, Демид Семенович! Только так,—важно подтвердил Баюков.

— Это будет дело, парень!—повеселевшим голосом произнес Демид и, хитро прищурясь, даже потер свои жесткие ладони.—Уж вот когда я над врагами моими посмеюсь, вот когда Маркелу Корзунину его бородину прищемлю!.. На-ко, гляди, мол, мироед: наше товарищеское поле трактор пашет, знаменитая машина для нас

послана... а ты, жадина, на машину эту только поглядывай, у тебя теперь руки короткие...

Демид так громко и торжествующе захохотал, что Степан Баюков и старый Финоген довольно переглянулись.

— Ох! Вот уж подбодрил ты меня, Степан Андреич, так подбодри-ил!— все еще посмеиваясь, заключил Демид и встал с лавки.— Спасибо тебе за это и все разъяснения твои, душевное спасибо!.. Двигай наше дело, двигай, на то ведь ты и передовой. Уж мы хотим быть за тобой, что за каменной стеной... Верно ведь, Финоген Петрович?

— Уж так верно, что лучше и сказать нельзя!— восторженно подхватил Финоген.

Когда Демид ушел домой, Финоген тихонько засмеялся в бороду и ласково погладил Баюкова по широкой спине.

— Ну как не скажешь: молодец ты, Степанушко!.. Этакого бирюка расшевелить не всякий сможет — тут надо слово заветное знать, а оно только умному откроется... А ты у нас такой и есть, потому с тобой народ советуется...

— Ну... будет, будет... захвалишь совсем,— пошутил Степан, еле скрывая опьяняющее чувство бурно играющих в нем молодых сил, грамоты, знаний, смелости, всего того, что дали ему город и служба в Красной Армии.

— А что ж, я лишнего не говорю,— ласково настаивал Финоген, приветливо глядя на покрасневшее от удовольствия лицо Баюкова.— Уж коли на то пошло, ты у нас на селе самый передовой и обходительный человек... потому тобой и народ доволен.

— За это спасибо,— ответил Степан, задумчиво качнув головой,— а вот я вроде могу и обижаться на вас, на общество.

— Ой, да что такое?— забеспокоился Финоген.— За что ты обижаешься?.. Ах ты боже мой... огорчительно мне это!

— Вот ты послушай... Я сегодня целый день на своем дворе работал и думал: вот бывает же, общество у нас вынесло постановление о помощи женам красноармейцев, а потом помощь эту самую днем с огнем искать надо. Демобилизовался, приехал домой... Гляжу: двор у меня не тот, не таким я его оставил... На плужок

ли посмотрю, на службишки — все как-то осиротело глядит... Ну и начал я поправлять да подколачивать, семью потоми потеть да все в порядок приводить!..

Маленькие серые глаза Баюкова сузились веселыми щелками. Он был доволен: скоро все в его дворе будет в порядке, до последнего гвоздика.

— Что вы жене-то моей плохо помогали? Почему, говорю, забывали мою бабу, а?

Финоген с чего-то вдруг понурился и глянул в сторону.

— Упрекаешь ты понапрасну, Степан Андреич. Жену твою без помощи никто бы не оставил... Кто, конечно, помощи желает очень, тот о себе должен напомнить: мне, мол, то и то надобно... А твоя Марина ни разу ни меня, ни других соседей ни о чем не просила... Сказать правду, Марина даже не любила, чтобы на твой двор люди заходили... Однако все это дело не наше...

Финоген вдруг откашлялся и нахмурился, будто досадливо жалея о сказанном.

Степан сбоку глянул на него, удивившись про себя: с чего это старик так насупился? Потом догадался: наверно, Марина по застенчивости своей что-нибудь не так сказала, а старики ведь, известно, во всем уважение любят.

— Если что не так было, сердиться на Маринку мою не надо, — немного просительно сказал Баюков, — молодая еще, опыта мало.

— Да я... что ж... — и Финоген, вздохнув, снова насупился.

«Дуется он все-таки за что-то на Маринку, — подумал Степан. — Ну... потом во всем разберемся».

— Айда, перед сном пройдемся! — предложил Баюков.

Заложив руки в карманы старых красноармейских полугалифе, Степан неторопливо шагал по дороге и нарочно старался ступать босыми ногами глубже, чтобы крепче ощущать приятное похлаживание вечерней пыли. Шел и ухмылялся, смешно надувая мясистые щеки, — тосковал ведь в городе даже вот об этой самой пыли.

Конец улицы со стороны оврага обволокло уже сизой тенью. Стекла распахнутых окон румяно посверкивали под вечеряющим небом. На перекрестке у колодца сто-

летняя береза, недавно одевшаяся листвою, тоже сверкала играющими бликами света. Где-то на краю села разыгрывалась гармонь, разливаясь частушечной дробью, да звенел чей-то смех.

Степан слушал гармонь и девичий смех, вдыхал запах зацветающего за околицей луга — и широко улыбался.

— Тут бы вот, дядя Финоген, электрический фонарь поставить, а? Картинка была бы, братец ты мой!.. Такой бы силы свет пустить, чтобы и за околицей было видно... а?.. Ладно ведь?

Финоген довольно крякнул:

— Куда как ладно!

Поговорили еще о всякой всячине, а потом Баюков, сладко зевнув, сказал:

— Ну, мне ужинать пора, а то Марина еще сердиться станет.

Он раскатился громким смехом счастливого человека и заторопился домой.

Слышно было, как Марина топала в избе и что-то напевала себе под нос. Степану захотелось попугать ее, чтобы взвизгнула звонче. Посмеиваясь, он хлопнул калиткой.

Марина выпрыгнула на порог.

— Ой, кто тут?.. Ой!..

Вытянув шею и прижав руки к груди, она тревожно глядела вперед. Степан даже удивился.

— Чего ты так перепугалась, Маринка?

Жена, отступая в сени, промолвила облегченно, но безрадостно:

— Ты это... Я чтой-то подумала...

Она была ниже его ростом, полная, но крепко сбитая, белокожая, светловолосая, молчаливая. Степан обнял ее за шею.

— Ужинать дашь, хозяйюшка моя?

— Сейчас подам.

Она задвигала локтями возле печи и сказала, не оборачиваясь:

— Поди пока посиди, что ли... не мешайся.

— Ишь ты... Как строга-а!

О Марине Степан сильно тосковал и потому прощал

неласковый ее голос и часто супившуюся бровь. Где-то в глубине души сохранилась у него стародавняя крестьянская оценка жене: ежели ластиться не любит, лишнего смеха себе не позволяет — значит настоящая хозяйка, твердый нрав и цену себе знает. Потому и не тревожили ее молчаливость и не улыбочное лицо.

Только раз просветлела Марина за этот месяц, как Степан вернулся домой: когда показал ей подарки из города. Ее крутенькие русые брови разошлись, губы смешливо съежились, а быстрые пальцы ласково гладили белую кашемировую шаль с алыми цветами и мяли блестящие верха высоких хромовых ботинок. Тут сама даже обняла мужа и на миг прижалась губами к его щеке. Но подарки не стала носить, заперла в сундук. Степану опять понравилось: бережет мужнин расход.

Сейчас, сидя на крылечке, он вспомнил про этот случай и с улыбкой, полуоборотясь, сказал:

— Мариша, а Мариша!

— Ну? — и жена с силой загремела посудой.

— Я хочу спросить: почему ты подарков моих не надеваешь?.. Завтра вот праздник, надень. Нарочно выбирал тебе шаль к лицу, а ботинки самые модные.

— Ничего... Ладно мне и немодной быть. Чай, привык уже в городе-то с барышнями вертихвостыми гулять, так и жену захотел наряжать?

Он довольно забасил:

— Ду-ри-ща... Ежели бы я холостой был...

Подмигнул себе самому: «Эх, ревнива Маринка!»

— Э... рассказывай... — и Марина опять чем-то загремела.

Степан весело хмыкнул и опять подумал: «Ох, ревнивая!» Засмеялся миролюбиво.

— Эх, будет... И с чего ты сердишься? Было бы тебе известно, Маринушка: у нас в Красной Армии времени-то на гулянки не было, особенно для тех, кто хотел подучиться еще и другим наукам... Во-от... И ревность тебе совсем нет причины показывать.

Марина замолчала, будто удовлетворясь мужниными словами.

Степан прижался к стене и, положив босые ноги на нижнюю ступеньку, без скуки, с ровным довольством обводил глазами привычные, знакомые стены и крыши своего двора. Между амбаром и хлевом — тропка в ого-

род, где крепкой кубышкой стоит подновленная баня, построены парники для огурцов. Пустяки обшлись парники — надо только умело все употребить, что лишнее в хозяйстве: бревна-маломерки, старые доски; а стекло привез из города, купил на заводе брак, совсем за чепуховые деньги целую кучу привез. Огурцы должны быть нынче не те, конечно: не зеленые, пупыристые, заморыши, а крупные, тугие, с блестящей светло-изумрудной кожей.

Покуривая, Степан представлял соседа, на задах своего двора, Маркела Корзунина, перед которым он — придет время — похвастается богатым огородным урожаем.

Помнилось с детства, что у Корзуниных никогда хорошего огорода не было. Еще покойная мать Степана пошеивалась, что в корзунинском огороде огурцы родились мелкие, сухие, стручки какие-то, и продавали их обычно за дешевку, не зная, как и с рук сбыть.

Всей деревне было известно, что для Корзуниных главное не пашня или огород, а торговля, что сам старик, два старших сына и обе снохи больше всего заняты лавкой, лавочными и базарными сделками. На поле у Корзуниных работали батраки, а по дому хлопотала стряпуха. Торговали Корзунины не только ситцем, мылом, спичками и керосином, но и многим другим: сеном, мясом, пенькой, овчинами. Всей деревне было известно, какой у них волчий нюх: чуть у кого нужда или какое затруднение, Корзунины тут как тут и всегда с выгодой свой оборот сделают, все скупят задешево, потому что деньги у них всегда наготове, — скупят, объегорят, да еще приговаривают: «Вот, мил человек, гляди, как я тебя выручил!» Землеробами поэтому Корзунины были не радвыми, и много раз слышали от них люди: «Худую землю лучше не сделаешь, около нее только нищ да гол насидишься». Старый Маркел Корзунин, будто заклинная, пророчил своим гремучим басом: «Землю бог сотворил, и какая она есть, такой и пребудет во веки веков... нечего над ней зря, против бога, стараться». Степан Баюков своими ушами уже давно слышал из уст Маркела эти слова и теперь особенно смеялся над ними.

Никогда двор Баюковых не чувствовал в Корзуниных добрых соседей, а теперь, уже сознательно ненавидя их кулацкое семейство, Степан презирал их еще и

как «рабов старины» и ярых противников культуры в крестьянском хозяйстве.

Баюков не однажды замечал, что теперь в корзунинском огороде копались не только снохи, но и сам старичина-свекор толкался между грядками и указывал на что-то. И сейчас Баюкову было видно, как корзунинские снохи Матрена и Прасковья возились в огороде, а Маркел, бранясь, размахивал палкой.

«Небось без батраков-то теперь самим в огороде копать пришлось! А старичина ишь как разъярился! — презрительно смеялся про себя Баюков. — Небось палкой ума не прибавишь... Где вам культуру понять и оценить, да к делу ее приложить?»

Степан уже складывал в уме на будущее язвительные слова:

«Что, Маркел Иваныч, попробовал моего огурчика? Хороши огурчики-то?.. А репку со своей померяй, ну-ка... А брюква нравится?.. На зуб, на зуб пробуй, мне не жалко соседу свой культурный огородный урожай показать. Ну что, как? Я не только для своего стола о брюкве старался, а и Топтухе кушанье будет».

Топтуха — корова, большемордая, рыжебокая ярославка. Еще покойный отец Степана купил ее телушкой; телилась она всего четыре раза — молодая, самые хорошие годы.

Степан все разговаривал в уме с Маркелом Корзуниным, спорил, доказывал.

«Ваши коровы зимой ничего, кроме холодной болтушки, не видят, а животины тоже вкус знает... наша Топтуха в чистом хлеву живет, теплое пьет. Молоко у ней сладкое, густое. Корнеплодное месиво даем Топтухе, а у коровы молоко на языке... Ну-ка, пробуй молоко-то... Что?.. Как?..»

Хлев для Топтухи к зиме будет утеплен. Степан непременно окошко прорубит, стекло вставит — пусть и скотина свету радуется.

Степан уже будто видел этот теплый Топтухин хлев с оконцем, видел отягощенное молоком розовое гладкое вымя. Вот Маринка с чистым холщовым полотенцем, перекинутым через плечо, гремя блестящим подойником, идет к Топтухе. Руки у Маринки розовые, вымыты яичным мылом. Маринка весело жмурит глаза от солнца, что льется в окошко хлева, обтирает коровье вымя. Топ-

туха стоит, не шелохнется — понимает, чистоплотность скотине по нраву. Старшая Маркелова сноха — Прасковья, длинная, узкогрудая, стоя в дверях, недоверчиво шныряет глазами: вот уж, дескать, как ухаживают за коровой, — а что проку от этого?

Но Марина кончает приготовления, лезет под теплое коровье брюхо и нажимает пальцами тугие, ровные соски. Белая струя певуче брызжет в подойник, от густого молока идет пахучий парок.

— Хошь, угощу? — лукаво говорит Марина и наливает хмурой Прасковье полную чашку молока.

Прасковья пьет одним духом, пучит глаза, облизывает губы, бормочет:

— Молочко-то... что ж... ладное молочко...

Скрытная баба, самолюбива, будто ничего не в диковинку, но ясно: положили ее, что называется, на обе лопатки. Вот прибежит она домой и по правде расскажет обо всем, ругая свое чумазое, темное корзунинское хозяйство.

«Культура в крестьянском хозяйстве, чистота на дворе, в хлеву, в свинарнике, в конюшне денег не требуют, — для этого прежде всего грамотность, сознательность нужна!.. А на поле? Вы, Корзунины, со всем своим отродьем, со всеми вашими кумовьями хоть в лепешку разбейтесь, а и во дворе и на пашне у вас как была грязь и темнота, так и будет, а вот посмотрите, что будет у нас, в товариществе по совместной обработке земли... Все межи к черту пошлем, пашню на десятки километров распашем, обработаем, удобрим, как того агрономическая наука требует... Все тягло соединим вместе, а к этому еще и трактор из уземотдела к нам пришлют. Вот как трактор-то нашу общую пашню начнет перепаживать, тут, братцы, и сердце в каждом человеке как птица всколыхнется!.. Да он, Степан Баюков, не зря в Красной Армии свой срок службы отбыл — целую школу политики и культуры прошел, оттого и сила в нем играет... себе на радость и людям на пользу!»

Степан встал и, расправив широкие плечи, потянулся, чувствуя себя сильным, здоровым, разумным.

«Ей-ей, на сто лет мне бы всего этого хватило!» — подумал он, чувствуя при этом, как его молодое счастье словно поет в груди.

«Вот потому наработаться не могу!» — весело поду-

мал Степан, с удовольствием оглядывая свой будто помолодевший двор, который изобиходили его крепкие мужские руки.

Вычищен теперь каждый уголок, навоз свезен в огород. Гладко обстроганный свежий настил крыши над хлевом отсвечивает янтарной желтизной. Пахнет свежими отрубями и солодовой сладью моченых ржаных корок из свиного нового корытца, хлебной пылью, легкой прелью прошлогоднего сена и еще чем-то неуловимо приятным, домовитым. Промычала смутно во сне Топтуха. С мерным свистом сонно дышала сытая свиная семья; вчера Степан сам всех выскоблил, вымыл так чисто, что щетина их встала веселыми торчками. Каурый постукивает копытом и громко жует мягкими губами. И все эти привычные звуки, стихающие к ночи, весь его двор казались Баюкову полными значения и живой силы, частицей огромного мира, который он, Степан, уже твердо и просто научился понимать.

Засыпая, Степан крепко прижимал к себе плечо Марины. Безответное и покорное, оно было горячее, как нагретое солнцем яблоко.

Еще до света Степан проснулся весь потный, — от печи несло жаром. Маринка дышала ровно, не хотелось будить ее. Степан слез тихонько с кровати, оделся и пошел досыпать на сеновал. Там храпел младший его брат Кольша, тихий, неразговорчивый парнишка.

Сквозь щель пробился острый горячий лучик, ударил под веки — и Степан сразу сел, разворотив вокруг себя сено. Только хотел сказать: «Эй, как я заспался!» — и осекся, взглянув на лицо брата. Лежа на боку и пригнув голову к длинной щели в полу, Кольша слушал что-то, и глаза его испуганно моргали. Степан опять открыл было рот, чтобы спросить, — и тоже замер, поняв, что Кольша слушает шепот внизу, под балками сеновала. Шептались двое, возбужденно, хрипло, иногда переходя на вскрики: злой, придушенный голос Марины, и чей-то незнакомый, шамкающий, старушечий.

— А где мужик-то у тебя?

— Верно, ушел куда. Одежи нет, значит и его нет.

Кольша бесшумно разгреб сено и показал пальцем вниз — смотри!.. Степан, перестав дышать, глянул на бледного Кольшу и приник к щели.

Марина стояла еле одетая, простоволосая, в нечеса-

ной косе белели пушинки от подушки. Широко раскрытые глаза женщины выражали ненависть и мольбу. В руках болталась вышитая красными и синими крестами холщовая скатерка.

— Ну возьми Христа ради, возьми...— шептала Марина.— Самолучшую скатерку тебе отдаю!.. Чего еще тебе надо? Зачем пришла сюда?

— Ишь... Зачем?— передразнила старуха, дерзко вскидывая косматую голову, прикрытую грязным рваным платком.— По сю пору ты со мной не расплатилась, молодка!

— Господи... да уж я тебе, кажись, печеным и жареным носила!— всхлипнула Марина.— Совесть же надо иметь...

— Уж это тебе бы, молодешенька, о совести-то помнить!— срезала старуха.— Говорю, расплатись со мной сполна!

— Так я же и даю тебе...— и Марина, дрожа, снова протянула скатерть старухе.— Нету у меня больше ничего, самолучшую отдаю...

Старуха сморщила острый нос, презрительно потрогала холстину и отбросила назад:

— Экую дрянь дает, да еще хвастается: «самолучшая»!

— Да что же тебе еще надо-то?.. Господи-и... Ненасытная утроба!

Старуха, шевельнув губу передним клыком, закивала, показывая темным корявым пальцем в сторону дома.

— Ты, баба, не юли, холстовьем меня не улещай... Ты ботиночки вот приспособь, что муженек тебе из города привез. Соседушки твои видали — хорошие ботиночки, модные. У меня внученька замуж идет, так охота все ей справить.

Марина яростно затрясла нечесаной головой.

— Вот чего захотела!.. Да за что тебе ботинки новешенькие отдать?

— Ах ты бесстыдница... За что? А за услуги мои? Сколько раз ты в бане у меня отлеживалась, а? Два года ведь или бсле, как ты с Плутошкой Корзуниным путаешься, а я ребятае ваше воровское, как котят, выживаю...

— Тише, тише... шш...— испугалась Марина.

—Ага, «тише»!.. У-у, скопидомка! Благодарю еще меня, что мужу твоему про твои шашни с Платошкой не рассказываю... Да я... вот ужо...

И вдруг старуха с воем осела, как трухлявый пенек под топором: вытянув на лесенку большие, страшно неподвижные ноги, свисал на локтях Степан, а позади сверху виднелось испуганное лицо Кольши.

Марина охнула, ноги у нее подогнулись. Дрожа всем телом, она замахала руками, словно гусыня крыльями перед блеском ножа.

Никто не видел, как крестясь и подвывая, уползла со двора бабка-повитуха.

Который был час?.. Что за день пришел на землю, когда под солнцем все тело стынет, точно на льду?

В голове Степана стоял такой шум, будто с высоты без остановки лили на него из больших кадешек ледяную воду. Возле него проскользнул Кольша, спрыгнул и сел на крыльцо избы, еле сводя колени от дрожи.

Марина хотела вскочить и бежать, но вдруг упала, неловко подвернув ногу и закрыв лицо руками. Все молчало вокруг. Марина приподнялась на локтях и на миг замерла так, боясь смотреть, а только слушая ужас молчания, разлившегося возле нее. Степан опять увидел в ее свалившейся косе белую пушинку, верно еще с вечера, когда плечо Марины напоминало нагретое солнцем яблоко... Пушинка была от вчерашнего счастья, а лицо, в судорогах мелкой дрожи, серое, словно зола, показалось чужим и враждебным. Все вчерашнее было навсегда потеряно, а вместо жизни его с Мариной будто осталась куча пепла.

Когда Марина встала и, пошатываясь, пошла, Степан накинулся на нее сзади, сжал ее плечи, бешено встряхнул и бросил наконец первое после немоты грубое и жесткое слово, позорящее женщину.

Марина взвыла и спрятала голову в плечи, оберегая лицо.

— Люди до-добрые! — и Марина кинулась к воротам.

Степан догнал ее, ударил, но позади вдруг кто-то истошно вскрикнул:

— А-а-а!

Степан обернулся, оскалившись, с налитым кровью лицом.

— Что?.. А?..

На грудь ему бросился Кольша и белыми губами зашептал скороговоркой:

— Браток... милой... не бей... не бей... убьешь ведь... до суда дойдет... сгибнешь из-за подлой бабы... Брось, брось!

Кольша поймал его руки и залился тяжелыми слезами.

Степан опомнился и мучительно выдохнул открытым ртом:

— Да... что ж это я...

Марина встала, шатаясь.

Степан дернулся и дико, тонко взвизгнул:

— Пошла вон!.. У-убью-ю-у!..

Женщина глухо охнула, отпрыгнула к воротам, рванула щеколду калитки, распахнула ее — и будто злым ветром унесло на улицу Марину, а с ней и всю прошлую жизнь, которой еще вчера так радовался Степан. Только кольцо на щеколде, позвякивая, качнулось несколько раз.

Степан поглядел на кольцо, пока оно не стало на место, встретился с Кольшей опустошенным, тусклым взглядом и, согнувшись, пошел к крылечку. Сел и закачался, безмерно уставший, словно от погони.

Кольша обнял старшего брата за плечи и неумело провел рукой по вздрагивающей потной спине.

— Брато-ок... успокойся... ничего не поделаешь... Жить надо...

Корова высунула в дверь хлева морду и замычала.

Степан отвел руки брата и сказал почти обычным голосом:

— Корова-то не поена еще... поди корчагу с водой теплой из печки выставь... отрубей горстей пять больших да муки подболтай.

Кольша побежал в избу, загремел посудой у печи. Из закутка вышли бурый боров с черными прогалинами по бокам, белая матка с розовым отсветом под мягкой щетиной, пятерка шустрых поросят. Подошли к корытцу, порылись и повернули к хозяину жадные тупые пятки.

Степан встал, вытянулся во весь рост, посмотрел на свиней, на Кольшу с лоханью, полной демящегося пойла, и пошел в чулан, крикнув брату:

— Воды-то теплой на свиней оставил?

Кольша ответил из хлева:

— Оставил, хватит.

Степан пошарил в чулане — корок уж не было. Сердито проворчал:

— Ишь, вот и корми тут скотину...

На шестке он нашел в чугунке сухую гречневую кашу, понюхал, мотнул головой: «Сгодится еще», — и вывалил в ведро. Потом насыпал отрубей, крошил картошки, помешал и понес свиньям. Они прижались бок к боку и громко зачмокали. Поросята вертели тонкими хвостиками, свивали их в колечки и лезли ближе к корыту.

Кольша вынес из амбара большой туес с овсом, запнулся и просыпал зерно. Степан вырвал у него туес и крикнул раздраженно:

— Глядеть же надо... дурень!.. Овса-то коню еле-еле до нового хватит.

Кольша ответил с готовностью:

— Гармонь продам, а коня накормим.

Кольша двигался сейчас ловчее и быстрее, чем всегда, и все посматривал на брата.

Когда накормили скотину и неотложную каждодневную работу сбыли с рук, Степан глянул на Кольшу и спросил глухо:

— Значит... все об этом знали?

Кольша кивнул:

— Да уж наверняка все.

Степан потер шею и сказал, кривя рот:

— Все... только я один целый месяц ничего не знал... Чего же ты, брат мой родной, ничего мне не открыл?

Кольша заговорил стремительно, словно только этого и ждал:

— Меня как на узде Марина и Платон держали, Степа!

Однажды Кольша увидел, как Марина и Платон стояли обнявшись. Заметив Кольшу, оба побледнели от испуга и что-то забормотали, чтобы отвести ему глаза. А потом пригрозили, что со света сживут, если он вздумает рассказать брату. Угроз своих не забывали повторять, следили за ним.

— Они следили за мной, грозились... А я столько раз хотел написать тебе, но мне жалко тебя было, Степа.

Потом, когда ты домой вернулся, еще жальче стало: вижу ведь, как ты работаешь от всей души, людям помогаешь, радуешься... И опять я ничего не сказал... Ну вот прямо-таки до слез сердце за тебя болело... Но хоть и тошно мне было, а все же куда лучше, чем тогда...

— Когда они... те двое по двору расхаживали?— сдавленным голосом спросил Степан.

— Да, да... Ох, я думал, весь изведусь, браток... Платон по двору распоряжался, лошадь когда хотел брал... да еще овса ему насыпь поболе в дорогу... Днюет и ночует, бывало, у нас... ,

Кольшино лицо дрожало, глаза мигали. Только тут заметил Степан, как плохо вырос брат, какой он узкогрудый и бледный.

Кольша бочком поглядел на сжатые кулаки старшего брата, на его злобно сведенные брови и пылающее гневом лицо.

— Чего же замолчал?.. Говори...— хрипло откашлялся Степан, смотря себе под ноги.

— Да-а... Когда ты приехал, поначалу обрадовался я... Ну, думаю, теперь Платон к нам приходить не будет... и Марине уж нельзя ко мне придираться да кричать на меня. .

Степан вдруг мрачно и отрывисто захохотал.

— Подумать только... я, боец Красной Армии, профилей сидел, ничего не замечал...

Он задохнулся, будто обжегся какой-то новой мыслью.

— Что же, если этот... Платон гостевал тут, кто же работал-то?

— Платон и работал. На пашне, по двору тоже...

— А-а, вон оно что-о... и хлебушко мой ел, и... женой пользовался!

— Марина хлеб с ним делила. Осеннись, к примеру, Платон целый воз к себе уволок.

Степан ломал пальцы, крутил головой, морщился, жмурил глаза, будто у него болели веки.

— Говоришь, Платон и по двору работал?

— Да, и по двору тоже распоряжался... В начале зимы поросят сам возил продавать, сапоги себе из города привез хорошие... Ну, Марине тоже дал сколько-то...

— Мое добро как воры расхищали... мое добро, трудом нажитое!— повторял Степан, сжимая кулаки. Ему

вдруг захотелось убежать от самого себя, не видеть этих знакомых стен, не дышать этим дворовым воздухом, словно пропитанным горечью и болью.

— Слышь, Кольша, после чая Каурого запряги.

— Сей минут.

Степан напоследок, додумывая, вспоминал: еще на днях удивлялся он, куда это делись хороший праздничный хомут и шлея с медным узором, недосчитался он двух больших кадок для засола, исчезли и купленные еще в прошлогодию летнюю побывку пять листов кровельного железа, ящик крупных гвоздей, пропали из кучи бревен четыре ядреных липовых бревна... Много еще чего другого большого и малого недосчитывался он, еще Кольшу ругал за это. Понял Степан теперь и почему появилась у Марины говорливость: этого-де и не было вовсе, а насчет того-то он просто спутал, а вот то и это она продала при нужде — ведь трудно же было ей, женщине, одной!

«Вот тебе и «одна»!.. Было с кем мое добро тратить, было кому дарить мое кровное, честным трудом нажитое добро... Я-то, я-то, простодушный, думал-гадал: куда же, мол, все делось?.. Ясно теперь, куда это все делось, на чью потребу пошло».

Ударяя пятками Каурого в теплые бока, Степан то громко стонал, то шептал сквозь зубы:

— Пог-годите вы... мерзавцы... воры...

Каурый, чуя толчки от пяток хозяина, бежал вскачь и весело подбрасывал задними ногами. Над головой нежно голубело небо, весенний ветерок дул в лицо.

Степан вдруг с нервной удалью гаркнул походную красноармейскую песню с гиком и свистом. Поля, голые, черные, бугристые, в легком лоске от недавних дождей, будто слушали, молчали и поддакивали: «Ну, ну, покричи, парень, покричи, ничего!..»

Наконец Степан остановился, спешил. Тень Каурого длинным пятном лежала на позолоченной солнцем полосе. Мягкие губы Каурого жевали и вздрагивали, будто конь, верный хозяйский помощник, вспоминал, как чужая равнодушная рука хлестала его по бокам, покрикивал неприветливо чужой голос и тоскливо было ему, Кауруму.

И показалось Степану, что оба они с Каурым чувт

сейчас одно. Он обнял вислогубую морду с выцветшей длинной гривой и прижал к своему плечу.

— Каурушко ты мо-ой...

Лошадь моргнула печально и, завернув парную губу, достала его руку, приласкала осторожно, тепло, по-человечьи. На крутогорье возле ручья, где солнце сквозь робко одетые ветки молодых берез весело пятнало зеленую травяную щетинку, Степан разостлал пиджак и лег. Каурого привязал к стволу. Не заметил, как повернулся на бок и заснул. Каурый стоял возле, глядя на лицо хозяина, и поматывал гривой.

Когда Марина, бледная, растрепанная, прибежала к Корзуниным, все поняли, что произошло. Старый Маркел, сидя за столом, бросил считать медяки и серебро, сгреб их в кучу и сказал только:

— Достукались... дурачье...

С самого начала в семье Корзуниных все знали, что Платон живет с Мариной... Но все, будто по уговору, ни в чем не мешали им, а напротив, даже потворствовали встречам. Вся причина была в том, что Платон находился на особом счету.

Уродился он голубоглазым, высоким, тонким, как болотная березка, лицом не по-мужски светел, а русые волосы курчавы и мягки, как чесаный лен. Злые языки говорили: Платон «чужой» у Корзуниных. Мать его Дарья Корзунина в молодости по торговым делам на ярмарки езживала часто одна-одинехонька. Была она тогда сильная, красивая. Болтали, будто Дарья познакомилась с кем-то в городе и Платона родила не мужу, а тому человеку, с кем слюбилась. Но никто наверняка ничего не знал. Говорили, что провинившуюся жену Маркел месяцами бил «смертным боем», но криков Дарьи никто из соседей не слышал. Только довольно долго не показывалась Дарья на улице, а когда наконец увидели ее покупатели за прилавком, сразу не узнали: так побледнела и подурнела жена Маркела Корзунина. Никто больше не слышал ее смеха, пропала и ее веселая говорливость. Она ходила теперь всегда в темном платке, низко спущенном на лицо, и потом все привыкли видеть ее такой. Никто не заметил, как она состарилась раньше времени и совсем перестала показываться на люди: так силь-

но заболела ногами, что надолго слегла. Старшие сыновья Маркела Корзунина и их жены говорили всем, что Дарья «до скончания жизни обезножила, лежит колодой, себе и родне в тягость».

Все соседи жалели Дарью, потому что в корзунинской семье она была на отличку: тайком от своих кому в долг даст, бывало, а кому и даром, от доброго сердца, мучки, крупки отсыплет, ребятишкам сунет что-нибудь сладенькое. И с людьми она была всегда приветлива, умела пошутить, ободрить, совсем как покойный отец ее, пастух Кузьма. За веселость и за красоту женился на ней, бедной сироте, жадный и хмурый Маркел Корзунин, да не пожилось Дарье в богатом доме. «Как из батраков пот и кровь Корзунин выжимал, так и жену свою не пощадил»,— громко осуждали люди.

Но время шло, и о горькой судьбе Дарьи Корзуниной наконец перестали говорить.

В корзунинской семье Платона не любили, он рос как пасынок. Старшим братьям — сапоги с лаковыми голенищами, а Платону — опорки да обноски. С детства он привык чувствовать себя лишним, отца и братьев боялся. Только мать, всегда молчаливая, невеселая, тайком ласкала его и просила ни с кем не связываться.

Пока рос Платон, Маркел Корзунин уже решил так: «Стукнет парню шестнадцать — в монастырь отдадим, там хлеба на всех хватит».

И на Платона привыкли смотреть как на отрезанный ломоть. Двух старших дюжих парней женили рано, невест выбрали им по достатку, тоже кулацких дочек. Снохи оказались по мужьям: деловитые, жадные на работу, не охочие на гулянья, накопительницы добра.

Хозяйство Корзунины вели по старинке. Маркел был из кержачья, новшеств никаких не признавал. Крепкие мужики — сыновья побаивались крутого отца и не перечили, жили одним хозяйством, не делясь, ели и пили общее. В лавке торговали поочередно: каждая супружеская пара в свой день, а старик Корзунин принимал деньги и поздно вечером запирал выручку к себе в шкапулку, обитую железом. Где он прятал эту кованую шкапулку, никто не знал, да и не пытался узнать, так как это было совершенно бесполезно, деньги старик не доверял никому. В субботу лавку закрывали раньше, чтобы всем идти ко всенощной: «Надо о боге подумать»,—как

любил повторять Маркел. До ухода в церковь Маркел делил недельную выручку на равные части: одна — ему, главе дома, вторая — старшему сыну, третья — среднему сыну. Младшему Платону, понятно, ничего не полагалось в этом дележе, хотя он беспрекословно таскал мешки и бутылки, подметал в лавке, в сараях, ездил с батраками на дальние покосы за сеном. А когда корзунинские большаки или их жены ездили по торговым делам в город, Платон, как батрак, сторожил лошадь на базаре или где придется. Частенько за весь день в городе Платону не удавалось даже «кипяточком разжиться» в чайной, — о нем всегда забывали, как о всяком батраке. Да он и был батраком в своей семье, с той только разницей, что пришлым батракам хоть сколько-нибудь платили, а у него никогда ни копейки не было. Случалось, в праздник отцовские батраки подносили чарочку незадачливому хозяйскому сыну, приговаривая:

— Выкушай, милый, он нашей скудности! Хоть ты и сын, а больше наш брат, чем хозяин.

И на селе все понимали, что у Платона в богатом отцовском доме доля батрацкая. Многие, жалея безответного парня, упрекали Маркела:

— Хуже батрака младшего сына держишь. А ведь и ему как-то хозяйевать на земле придется.

— Для хозяйства Платошке бог разума не дал, — хмуро отвечал Маркел. — Вот стукнет шестнадцать, уйдет парень в монастырь, будет у нас свой молельщик.

И во всем, чего ни коснись, для Платона даже крохи не находилось: «На что ему, будущему молельщику?»

Платону ничего не принадлежало в этом прочном рубленом доме с резным крыльцом и нарядными наличниками пяти окон, выходящих на улицу. Не только лавка с железными ставнями, все амбары, сараи и клетушки всегда были на замке. Снохи держали свои сундуки и сундучочки под замком, и одна не знала, что запрятано в сундуках другой, как и корзунинские большаки тоже не знали, сколько денег выручено каждым от торговых дел, от ямщины, которой, случалось, они тоже занимались, и от разных других сделок. Разговаривать у Корзуниных не любили и говорили только о том, что касалось дела, то есть денег, и что приносило деньги. За столом сидели молча, хлебали, по старинному обычаю, из общей большой глиняной миски, но каждый думал о

своем, как бы побольше добра да денег накопить. Все этими порядками были довольны, а Маркел даже любил повторять:

— Копите денежки, большаки, копите! Помру, вам все оставлю, а делиться будете, вам же легче: у каждого и свое добро загодя припасено!

Да и кое-что Маркел уже давненько поделил между старшими сыновьями. У каждого была своя собственная амбарушка, сарай, клеть при избе; каждому большаку отец выделил коня и корову, оставив «на свою потребу» третью корову и третью лошадь. Общими были только батраки, которые работали на поле. Батраки подолгу у Корзуниных не заживались — и не только оттого, что скупые Маркеловы снохи плохо кормили работников, уходили и от тоскливой жизни, от полутемного крытого двора, где все было заперто на замки и засовы. Большие и малые замки отовсюду глядели и на Платона, как безмолвные, но злые сторожевые псы, готовые всегда укусь его. Батраки, рассчитавшись, уходили с корзунинского двора с бранью и проклятиями. Маркел равнодушно захлопывал калитку.

— Скатертью дорога... Найдется еще вас, бездворовых, рванья всякого.

И правда, находились бездворовые люди, шли в батраки — беспокоиться на сей счет Корзуниным было нечего.

— Царь-батюшка, да и все правители за нас, крепких хозяев,— говаривал Маркел.— Нами, слава богу, земля держится! Как было испокон веку, так и будет.

Обращался он только к большакам, реже говорил со снохами, а Платона будто не замечал. С детства Платон не помнил, чтобы Маркел или большаки хоть однажды приласкали его или сказали приветливое слово. Потому с малых лет возражать и обижаться Платон не смел, и выхода из этого положения никакого не было; все перед ним было закрыто, все было на замке, и будущая судьба его, как потом стало ему чудиться, тоже была заперта на замок.

Только около матери и можно было чувствовать себя человеком, только ее глаза, ее душа были открыты Платону во всем этом запертом на замки, темном, крытом дворе.

Когда в кухне никого не было, Платон пробирался к матери, в ее уголок за большой русской печью, отделенный ситцевой вылинявшей занавеской.

— Мамонька,— шептал Платон, приникая к плечу матери.— Зачем все они меня обижают? Зачем бранятся? Ведь я же им слова поперек не говорю!

— Зачем?— горько усмехалась Дарья, и отекавшее лицо ее передергивалось от боли.— Ненавидят они тебя, Корзунины эти проклятые!

Когда Платону пошел уже шестнадцатый год, мать, утешая Платона после очередной его жалобы на несправедливость и обиду, вдруг сказала:

— Чужой ты им, Корзуниным-то, чужой ты им, сыночек... Не суди мать твою, Платошенька, не кляни... а не отец тебе большебородый этот старичина... будь они все прокляты, загубили они мою жизнь!.. Отец твой... за рабочих он шел, против царя, против богатых боролся... сам он мне про то говорил... Услали его, моего милого, в Сибирь, в лютые морозы... видно, там он помер... здоровье у него было слабое... а сам худенький, высокий... Ты — прямо вылитый отец, сыночек!.. Не суди меня, Платошенька...

— Да разве же я смогу осудить тебя, мамонька ты моя, одна ведь ты у меня на свете!— сказал Платон, и оба долго молчали, обнявшись.

— Ушел бы я от них, мамонька... чужие ведь они мне... ушел бы я от них... тебя бы взял с собой... Жили бы мы вольно, как люди...— шептал он матери, полный горячей тоски.

— Куда уйдешь-то? Без денег, без двора... сынушко ты мой бедный!— и мать печально гладила светлые курчавые волосы Платона.

Однажды Маркел, остановив на Платоне тяжелый взгляд, сказал:

— А ты бы молился чаще, парень, учился бы поклоны бить для бога и святых его!.. Вот отвезем тебя в монастырь, станешь монахом, молещиком за нас, грешных рабов божьих.

Но не суждено было сбыться желанию Маркела, не суждено было стать Платону молещиком: когда ему минуло шестнадцать, советская власть закрыла монастыри, Платон остался дома, в прежнем положении, на отшибе, хуже батрака.

Злобно посмагивая в его сторону из-под нависших косматых бровей, Маркел шептал своим большакам:

— Вот досталось чадушко — хоть в кадушку на засол!.. Сам ничего не дает, а вот живет, хлеб ест, людям становится поперек дороги... Слышьте-ко, ребята, а ведь нам ноне кой-чего бояться надо!

Сыновья удивились:

— Чего ж бояться? Платона бояться?

— Да он же безответный, батя!

— Ох, не в нем дело! — тревожно вздохнул Маркел. — Время-то ноне какое, смекайте: советская вла-асть!.. А она богатеет не уважает, она бедноту подымает, вроде Финогешки Вешкина, Демидки Кувшинова и других горлопанов бедняцких. Они уже зубы скалят на добро наше... и, погодите, еще подучат Платошку, что и он-де во дворе хозяин... Смекаете?.. А он и станет требовать: ну-ко, мол, давайте мне мою хозяйскую часть... Ага, что-о? — и Маркел зло и торжествующе усмехнулся, глядя на побледневшие от неожиданной тревоги лица сыновей.

— То-то! Думать надо!..

Сыновья прогудели:

— Сбыть бы его с рук, неудачливого!

— Подале бы куда, господи!

Сыновья посоветовались со своими женами, и те нашли выход:

— Эко, дело какое!.. Что он, махонький дитеночек? Вона как уже вымахал! Ума не видно, а ростом бог не обидел, — бойко начала румяная и смышленная Матрена. — Что, у нас на селе девок-невест мало?.. Женить Платошку — и все!

— Чего лучше? — подхватила Прасковья. — Парня женить уже можно. Отдать кому в крепкий дом — будет покорным зятем, для нравных девок вольготно таких мужьев иметь.

Разбитная, востроглазая Матрена выискалась «повыглядеть, повыщупать» дома, где невесты, а медлительная, степенная Прасковья соглашалась пойти сватать. Но все невесты, будто сговорясь, браковали жениха: и невеселый, и больной на вид, а главное — уж очень забитый, всегда рваный, как нищий, словом — кому лестно за такого замуж выходить? Уж на что была остра на язык Матрена Корзунина, а и она не в силах была опро-

вергнуть то, что всем и каждому было видно. В некоторых домах открыто выражали неприязнь к Маркелу, которому не удалось сына «в монастырь сбыть», так теперь, говорили, он Платона «к чужому двору пристраивает». Так ничего и не вышло из попыток сосватать «хоть самую плохонькую невесту» для Платона. И как гриб на сырой стене — срежешь его, а он опять пробьется, — Платон все не отходил от отцовского двора.

Каждая новая попытка сватовства расшевеливала Платона, он будто оттаивал: на насмешки легонько огрызался, ходил быстрее, делал все охотнее, даже подпевал себе что-то под нос. О том, какова будет невеста сама по себе, он совершенно не думал: только бы в дом войти, кусок хлеба есть без попреков, жить бы хоть и младшим в хозяйстве, но без издевок. С одной перезрелой невестой из соседнего села дело уже было наладилось. Была она хотя и бедновата, но все у ней в хозяйстве чистенькое и исправное. Правда, с лица невеста — не взыщи: рябая, курносая и косоглаза до того, что спотыкалась при быстрой ходьбе. Жених ей сразу понравился, и она ничего не имела против, чтобы поскорее сыграть свадьбу, да испортил все Платон. Это была единственная невеста, которая не высмеивала Платона, даже, напротив стала льнуть к неловкому, рано ссутулившемуся парню. Как-то раз (а свадьба была уже назначена) спросила ласково и шутливо:

— Ну как, Платошенька, всем ли я для тебя вышла?

Наверно, она разумела приданое, хозяйство и кой-какие подарки Платону.

Он ответил спокойно и доверчиво:

— Мне бы только где жить да работать без обиды... а что харей ты, конечно, не вышла, так мне это десятое дело.

За «харю» невеста разобиделась, подняла шум: уж если женихом Платон ее порочит — что будет говорить, когда мужем станет?.. Платон ходил оправдываться, умоляя простить его, дурака.

Но невеста, последняя надежда, отказала Платону. Несколько дней пришлось ему безропотно терпеть брань и оскорбления всей корзунинской семьи — никто не хотел простить Платону сорвавшейся женитьбы.

— У-у, орясица... кусок хлеба тебе в горло шел, так нет!

— Поперхнулся не к месту, дурак!

Невестки шипели:

— Тыкается, мыкается, нигде не приткнется, словно падаль какая, прости господи!

После многих попреков, когда весь корзунинский хор уже приустал от постоянных криков и брани, Маркел приказал Платону:

— Слышь-ко, негодящий ты... ступай-ко в город, потолкись там... авось выпадет на грош удача... по тебе и то ладно будет...

Платон покорно уехал в город, терзаясь только одной мыслью, что будет без него с матерью.

Но с полгода пробыв на случайной мелкой работе, Платон затосковал и вернулся домой.

— Эко! Прикатил! — злобно встретила его Матрена. — Дармоедов не зовут — сами ко щам да хлебу поспевают!

В первый же день по возвращении домой Платон вдруг сказал матери:

— Мамонька, родная, давай... удавимся, что ли... а? Нету сил жизнь такую терпеть, нету больше моих сил!

Мать не удивилась, ответила сурово:

— Грех на душу брать?.. Да ведь мы с тобой, сынушко, честные... а они — звери и звери... им только того и надо, чтобы мы с тобой померли... Нет сынок, нет!

Ее лицо вдруг, как от молнии, озарилось грозным светом.

— погоди, сынок, погоди... придет на них расправа, на логово корзунинское!.. Время другое настало, не для них... это и я, колода, понимаю... Поглядеть бы, как рухнет у них все, а потом помереть согласна... Потерпи еще, сынок!..

В это особенно тяжкое для Платона время совсем нежданно-негаданно жизнь его переменилась и скоро стала просто неузнаваемой.

Однажды, когда Маринин деверь Кольша слишком задержался с ребятами на рыбалке, Марина Баюкова по-соседски попросила Платона помочь ей по хозяйству. Он помог, потом засиделся у ней до позднего вечера и рассказал ей о своей незадачливой жизни.

А вскоре Платон и Марина сошлись, сроднились так крепко, точно знали долгие годы. Марина росла сиротой, и рассказы Платона размягчали жалостью ее серд-

це. Глаза у Платона голубые, волосы и бородка курчавые, бледные губы кривятся, как у обиженного ребенка, которого так и хочется утешить и защитить от злых людей.

Выходя за Степана, Марина не задумывалась о том, любит ли она мужа. Ей было все равно, за кого выйти, только бы скорей закончилась ее сиротская жизнь в доме многосемейной тетки, где она была с самых ранних лет нянькой и, пожалуй, за всю жизнь ни разу как следует не выпалась. Она была просто бесконечно рада стать хозяйкой, иметь свой дом и не смотреть, что называется, из чужих рук. Она понимала, что за все это она должна, как учила ее тетка, почитать мужа и во всем его слушаться. Марина так и старалась поступать, содержала дом в порядке, исполняла все желания мужа, но все время почему-то робела перед ним. Он казался ей слишком умным в сравнении с ней, с детства привыкшей молчать и покоряться. Разговаривать с мужем она обычно боялась — ей все казалось, что она говорит невпопад. Ей не хотелось смотреть на его лицо, полнокровное, с мясистыми щеками и умными, бойкими глазами, ее пугали его объятия, громкий веселый голос. «Эх... и пугливы ты, Маринка! — говорил он, крепко обнимая ее. — А все потому, что грамоте тебя, бедненькую, не обучили, у тебя и слова, и думы не развязаны!» Баюков стал учить ее грамоте. Марина покорно садилась за букварь, но грамота давалась ей плохо. Муж бывал нетерпелив, а порой и покрикивал на свою ученицу, сердясь на ее непонятливость. В такие минуты Марина совсем тупела, теряясь до слез, и рада была любой помехе, которая прерывала этот тягостный урок. А потом она уже научилась потихоньку хитрить и распределять время так, чтобы уроки эти происходили как можно реже, чтобы не сидеть ей рядышком с мужем за столом, не слышать его громкого, требовательного голоса, не встречаться глазами с его быстрым, насмешливым взглядом. «Нет, видно, не по нем я выдалась», — думала Марина, а потом к этой мысли прибавилась и другая: «Ох, да ведь и он не по мне...» И наконец поняла, что не любит и, наверно, никогда не полюбит мужа.

Когда Степан Баюков ушел в армию, Марина хоть и поголосила на прощанье по старинному обычаю, но в действительности проводила его с облегчением. Остав-

шись во дворе только с Кольшей, Марина чувствовала себя так, будто освободилась от невыносимой тяжести.

А сойдясь с Платоном, Марина и не вспоминала о Степане, как будто его никогда и не было.

Для Платона же Марина не просто была женщина ласковая, своя: она давала ему новую жизнь. Крашенная калитка в ее двор распахивалась под его нетерпеливым толчком, открывала путь к долгожданной заботе — работать самостоятельно, а не из-под палки. Он пахал, сеял, снимал урожай, работал по двору. Постепенно он обзавелся одеждой, выравнился. Целыми иногда днями не бывал во дворе Корзуниных. Когда Маркел однажды намекнул, что Платон «по совести» должен бы и домашним помогать, Платон посоветовался с Мариной и подарил Маркелу мешок муки: «На, получай, смотри, какой я человек, обид не помню».

От счастья Платон посветлел лицом, раздался в плечах, загорел и стал таким, каким подобает быть серьезному женатому мужику.

У Корзуниных сразу поняли, на каких правах прижился Платон на баюковском дворе. И впервые Корзунины были довольны Платоном. Видели, как дорожит им Марина, и помогали ей тем, что умело отводили в сторону все соседские расспросы и разговоры об ее житье.

Корзунинские снохи ловко наводили разговор на «тяжкую бабью долю» и рассказывали, как довольна Марина Баюкова таким помощником, как Платон. Семен и Андреян Корзунины согласливо гудели вслед за женами, что наконец-то, мол, «пристроился Платон к работе, жалованьишко имеет, да и хлебом за труды осенью получает». И тут же, показывая огромные кулаки, предупреждали:

— Есть, конечно, подлецы: начнут про нашу семью всякие побаски городить. Пусть-ка только попробуют! Отродясь мы в мошенстве не состояли и не будем. И таким болтунам покажем по-свойски!

Верили или не верили люди братьям Корзуниным, а только и вправду никому не хотелось связываться с дюжими упрямыми мужиками, испытать на спине силу их кулаков.

У Марины же врагов не было. Считалась она скромной, чистоплотной женщиной, ходила письма мужа читать к грамотеям, дивилась его успехам и говорила сми-

ренно: «Ох, господи, день ото дня умнее мужик-то делается — а я-то что?»

Корзунины нет-нет да и заходили на баюковский двор.

Однажды вечером, в поздний час, после всенощной к Марине пожаловал и сам старик Корзунин.

Ничего хорошего Марина о нем никогда не слыхивала, но этот хмурый старичина был отец ее Платона, и она приняла его как гостя.

Маркел держался важно, как благодетель, и весь вид его говорил Марине: «Видишь, голубушка, я твоим делам не мешаю — так цени это!»

В конце беседы Маркел сказал как бы между прочим:

— Слухи ходят, будто большая война опять будет.

— О, господи... какая война, где? — испугалась Марина.

— С заграничными державами, — усмехнулся Маркел. — Ясно, охота им советску власть поприжать, а то и вовсе расколотить.

— Да мало ли что тем державам охота, — теперь смело вмешался в разговор Платон, — да народу это ни к чему... народу неохота кровь свою проливать.

— Батюшки, да ведь в солдаты идти придется! — и Марина, побледнев, прижалась к Платону.

— Не бойсь, не бойсь... — насмешливо проворчал Маркел. — Не возьмут твоего сокола ясного — кому он, неученый, нужен?.. Другое смекнуть надо. Случись война, Красна Армия сразу с места снимается. Значит, угонят твоего мужика, беспрременно угонят. Поняла? — и Маркел заговорщицки подмигнул обоим. А Платону и Марине показалось, что все на свете за них, за их лад и любовь, что счастливая жизнь на много-много лет уже стоит у порога и улыбается навстречу, как добрая мать.

Приезд Степана на краткую побывку хоть и заставил их обоих насторожиться, но в общем ничего не изменил. Степан для своего хозяйства, как говорил Маркел, был отрезанный ломоть, как не так давно Платон в отцовском дворе.

Последнее письмо Степана в начале двадцать четвертого года, что он демобилизуется и скоро приедет домой, застало Марину и Платона врасплох: как быть дальше?

Маркел угрюмо и решительно посоветовал:

— Помалкивайте оба до осени. Кой-что пока из хозяйских запасов попрячьте, к нам в амбаруху снесите, все потом вам же пригодится. Ты, Платон, в работнички, по-соседски напросись... А ты, Марина, бабьей немощью отговаривайся — тогда придется Баюкову работника нанять. Заработать Платону хлебца да деньжат для вашей же будущей жисти сгодится. А осенью и развестись с Баюковым можно. Ныне с разводом просто. К тому же осенью-то каждый мужик добрей и покладистой.

Когда, демобилизовавшись из Красной Армии, Степан Баюков уже радостно хозяйничал на своем дворе, Маркел Корзунин дал знать Марине, что ему нужно обязательно поговорить с нею. Выбрали время, когда Степана не было дома, — и Марина, трепеща, встретилась с Маркелом на задах двора, у плетня, отгораживающего баюковский огород от соседского.

— Прошло твое сладкое времечко, — сурово начал Маркел. — Пришел к вам, голубчики, великий пост, придется тебе с твоим соколиком попоститься...

Маркел положил тяжелую руку на плечо Марины и заключил, властно отчеканивая слова:

— От мужа теперь не след отлынивать, а я Платошку насторожу, чтобы не дотрагивался до тебя. Так и по закону господню теперь выйдет: мужнин хлеб ешь, его и постеля. Нагуляй дитенка с мужем, слышь!.. Тогда еще легче вам будет, ежели с дитенком от Баюкова уйдешь. Плоти своей он должен будет добра отпустить. Ежели ваше дело сладится, так и быть, бревен вам на избу дам, есть у меня запасец, не пожалею. Помни только, баба: терпеть надо. Двор, хозяйство — шутка не пустяковая.

И терпела бы Марина, если бы не раскрыла все проклятая повитуха.

Впервые в жизни довелось Марине ночевать в чужом доме. Ночь выдалась холодная, с ветром и дождем.

— Под крышей-то нам с тобой лечь негде, Маринушка, — виновато сказал Платон. — Только на сеновале можно...

Марина и Платон легли на ночь на сеновале, впервые не у Марины на чистой постели, а в темном углу под старым, рваным армяком Платона.

Марина, дрожа, прижалась к Платону, но никак не могла согреться.

— Что же теперь будет, Платошенька, а? — прошептала она.

— Уж и не придумаю. Завтра, поди, придет сюда Степан-то... Тогда поговорим обо всем, — ответил Платон, повторяя уверения Корзуниных, которые еще днем все почему-то решили: Степан Баюков обязательно должен прийти — объясниться ведь надо.

— Я уж, Платошенька, на колени перед ним паду, со слезами прощения буду просить, — дрожа и стуча зубами, шептала Марина. — Уважать, мол, тебя, Степан, буду, как родного брата, только коровушку дай...

— Чего ж, ради коровы можно и на колени пасть.

— Чай, отдаст он мне Топтуху-то?.. Ведь корова — бабья забота, люди говорят.

— Должен бы отдать — ты ему не чужая была. Ты и за коровой ходила.

— Уж как коровушку-то получим, Платонушка, землю под ногами будем чують.

— Молоко, чай, все не выпьем, часть и продавать можно.

— Господи... да уж, понятно, молоко продавать будем!

Пошли неторопливые расчеты, сколько полных удоев даст Топтуха до заморозков, сколько можно выручить за молоко. Выходило так: если начать откладывать день ото дня деньги за удой (можно, например, в больницу носить, там хорошо платят за молоко), то к зиме уж на половину хватит на лошадь. Марина сказала радостно:

— А еще обновки городские продам — шаль, ботинки, пальто хорошее.

— Ну во-о! Это ведь тоже хороших денег стоит.

Все легче становилось обоим считать да прикидывать, а перед глазами Марины и Платона уже будто вставала новая изба, где долго еще по обжитые будет пахнуть свежей стружкой и крепкими смолевыми бревнами.

Но Степан не пришел к Корзуниным ни завтра, ни после. Андреян, вернувшись домой с пашни, хмуро рассказал, что видел Степана.

— Тоже пахать вышел. Идет себе — ничего.

Марина так и замерла с открытым ртом: неужели Степан так-таки и не хочет прийти?

Ей вдруг вспомнилось, сколько раз Степан писал в письмах и рассказывал, как он тосковал без нее, как сильно любил ее. «Лучше тебя, Маринка, на свете нет для меня!» Тогда она равнодушно слушала эти слова, а теперь ей было обидно и даже страшно, что, прожив уже несколько дней без нее, Степан даже и вести о себе не подает.

«Ведь не собака из дому убежала, а жена!.. Ведь он же меня выгнал... Как же мне быть теперь?» — тревожно думала Марина, боясь делиться мыслями с Платоном: он и без того был растерян и боялся глаза поднять на своих родичей.

Крутая перемена жизни, как злая болезнь, навалилась на плечи Марины. До окончательного возвращения мужа домой она жила словно в розовом тумане, отгоняя от себя все тревожные мысли о будущем. «Хоть день, да мой!»

И надо бы ей в свое время прислушаться к словам Платона: «Повинимся Степану во всем, по правде, как было!» Но вмешался Маркел Корзунин — и все повернулось на горе и беду для Марины.

Теперь она не узнавала себя. Давно ли по-хозяйски уверенно зачинала она день, и все ладно спорилось у ней в руках; а тут она будто отупела, все ей было страшно, непонятно, всех она боялась, перед каждым, как и Платон, виновато клонила голову. Прежде Марина иногда разрешала себе дома малость полежать с утра в теплой, мягкой постели, а теперь словно невидимая и жестокая сила поднимала ее до зари. Марина вставала разбитая, с тяжелой головой; сердце ее сжимала холодная, безысходная тоска.

Без приглашения Марина принималась за работу: мела, скребла, мыла. Так старалась, как дома не бывало, но корзунинским хозяйкам все было не по нраву. Корову Марина подoit — неладно, метет — нечисто, моет — не досуха вытирает.

Марина виновато вздыхала и не знала, куда взглянуть и что сказать.

Через неделю Маркел строго поманил ее пальцем.
— Чтой-то делать мы с тобой будем, сношка бого-

данная? Чай, ты не маленькая, а заботы у тебя нету никакой: на каких правах жить будешь на чужом-то дворе, что пить-есть; во что одеться, обуться? Прибежала ты к нам в чем муж выгнал... вона, платьишко-то на тебе совсем затрапезное стало... стыдно тебе людям показаться — поди, за нищую примут... А ведь дома-то у тебя есть, поди, одежда да обувка в сундуке? Мужик ведь у тебя справный, непьющий, дарил тебе много... а?..

— Дарил... — прошептала Марина. Слова Маркела словно камни падали на нее, и ей некуда было деваться.

— Так надо, сношка богоданная, заполучить обратно всю одежду и обувку твою с сундуком вместе... Ха-ароший сундук у тебя в горнице!.. И где только купил Баюков такой расписной сундук?..

Маркел даже ухмыльнулся в бороду, и Марине показалось, что разговор уже окончен. Она робко повернулась было, но Маркел грубо остановил ее:

— Чего рванулась, как дура? Слушай, что тебе настоящие люди говорят!..

Маркел еще грознее нахмурился и затряс сивой бородой.

— Ты что? Думала, что тут тебе потворствовать будут, твою незаконную жисть покрывать... а ты, голь голая, только будешь с Платошкой миловаться? Не-ет, голубушка, не на таковских напала!

— Да ведь прежде-то вы все сами иное мне советовали... — вдруг, вспыхнув от невыносимой обиды, дрожащим голосом заговорила Марина.

— Цыц!.. Прежде, прежде... — злобно передразнил Маркел и толкнул Марину в плечо. — О том забудь, непутевая!.. А думай лучше, как в хозяйство свою долю внести. За какие такие заслуги мы тебя кормить должны? Кто ты есть для нас?.. Благодарим, кланяйся до земли, что на улицу, как собаку, не выгнали. А в благодарность нам вытребуем от Баюкова корову. Требуем — и все!

— Я... я и сама так порешила... — вскинулась Марина, но Маркел прервал ее.

— Что ты «порешила», то никому не указ, — сказал он, презрительно оскалив желтые крепкие зубы. — Ты слушай, слушай, что тебе велят, без коровы тебе у нас жисти не будет... Поняла?

— Поняла... — тоскливо всхлипнула Марина. — Да только как же я пойду к нему, к Степану?.. Ведь зол он на меня... боюсь я к нему идти...

— Дура богова... Мы вот с тобой Матрену пошлем. Она от десятка мужиков отгрызется!

Когда Матрена и Марина вошли в кухню, Степан месил квашню на лавке, постукивая деревянной кадушкой. Увидев за Матрениной спиной жену, Баюков вздрогнул, губы его побелели. Не глядя на пришедших, спросил глухо:

— Ну... чего?.. Зачем пришли?

Матрена поклонилась и затараторила:

— За супруги твоей одежей пришли... в одном ведь платьишке из твоих рук вырвалась!.. Но мы зла не помним, не помним, красавец писаный, мы все добром, добром хотим. Даже с поклоном можем... Будь хорош, одежду ей предоставь!

Степан отмахнулся и глянул куда-то в сторону.

— Не части ты, пожалуйста. И так отдам.

Марина стояла у притолоки и, не разжимая рта, смотрела на мужа, на чисто прибранную кухню, на кучку муки в деревянной сеяльнице, на недомешанную квашню. Она была бы рада видеть запустение, грязь, убогость. Но в кухне было еще чище, чем при ней за последнее время. Украдкой заглянула Марина в дверь — как там, в горнице? Но и там тоже было все в порядке, даже половики чистые были постелены, несмотря на будний день.

«Видно, Кольша половики выстирал», — подумала Марина, горестно и зло покусывая губы.

Баюков перевалил через порог горницы расписной деревянный сундук. На миг, морщась, как от боли, глянул на голубые, малиновые и сиреневые цветы, будто для веселья и счаться на многие годы раскиданные по зеленому полю. Потом шумно выдохнул:

— Вот!.. Берите!.. И... уходите скорее.

Но Матрена и не собиралась торопиться. Разглядывая каждую вещь, словно все добро в сундуке принадлежало не Марине, а ей, корзунинская сноха обстоятельно складывала все в сундук, уминала ловкими руками, а сама выпытывала у Степана:

— Что ж теперь будет-то, Степан Андреич? Как о бабе теперь прикажешь думать? А?

Баюков, стоя спиной к ним, пожал плечами и, не оборачиваясь, сурово ответил:

— Пока моя была — думал. К другому ушла — мне дела нет.

Матрена опешила:

— Как тоись дела нет?

— А так, нет — и все. Пусть другой кто думает.

Матрена сердито подмигнула Марине: ну-ка, скажиде, припугни. Но Марина стояла, не чуя ног; сердце колотилось часто и глухо: вот стоит у порога, как чужая, — а давно ли двигалась тут по-хозяйски, властвуя над каждой вещью, над каждым углом?.. Так бы вот и пошла и домесила квашню, поставила бы на печь, прикрыла, стала бы, в ожидании пахучего пухлого теста, готовить клетку в печке, подмела бы до блеску чугуновый шесток...

Матрена снова подмигнула ей, но Марина только прерывисто вздохнула, потопталась на месте и продолжала молчать.

Матрена, все еще уминая в сундуке, не отставала:

— Я считаю, что дома или не дома человек, а пить-есть ему надо...

Степан повторил равнодушно:

— Правильно, есть-пить надо.

— Вот и сам говоришь: надо. А что твоя баба есть будет?..

— У меня ела, и у Пла... у другого тоже будет.

— Откуда же это будет-то?.. Без никакого живого надела человек куска сухого не добудет, сам знаешь... Бабе надо с чем-то жизнь сызнова начинать... Ты хоть бы ей корову отдал...

— Что-о? Ко-рову-у?

Гневное, жарко вспыхнувшее румянцем лицо Баюкова повернулось к ним. Степан крупно шагнул, наступая на Матрену.

— Отдать корову? Мою Топтуху?.. Это за какие же заслуги? За какие, а?..

— Не ори, не ори! — захорохорилась Матрена, подтаскивая к себе тяжелый сундук. — Чай, Марина не чужая тебе — жена...

— Была жена! — с болью в голосе выкрикнул Степан.

— Ну... все едино — жена, жена... из песни слова не выкинешь! — и Матрена, вдруг усевшись на сундук, устремила на расстроенное лицо Баюкова нагло-упрямый взгляд бойких зеленых глаз. — Марина за коровой ходила, для тебя работала, о тебе...

— Она меня с вашим отродьем обманывала... а вы все из моего двора направо-налево тащили! — и Степан, побагровев досиза, поднял сжатый кулак.

— Но-но! — злобно хохотнула Матрена, вскочив с сундука. — Я тебе не подъяремная... Я не для себя стараюсь, а вон за эту горемычную...

Матрена жалостно шмыгнула носом, однако, не сдержавшись, дернула Марину за руку и прошипела:

— Да скажи, д-дура... скаж-жи!..

Но Марина по-прежнему только бессильно отмахнулась.

— Вот как ты запугал-то ее, вот... — затараторила опять Матрена, кивнув в сторону Марины. — А много ль ей надобно от тебя? Всего-навсего коровенку ей отдать... Ну и отдай ты ей Топтуху... и не будем мы к тебе более ни с чем приставать... вот те крест!

— Довольно-о! Вон из моего дома, во-он! — не помня себя вдруг загремел Баюков и бешено затопал ногами. — Вон!

— Ишь... разъярился-то... Не больно тебя боюсь! — взвизгнула Матрена.

Обе женщины, схватив сундук за прочные скобы, перекатили его за порог.

А Степан грозил им вслед:

— Подлые, нахальные вы людишки!.. Выхиги! Вы бы били, да вам бы еще платили?!

С грохотом захлопнулась дверь, и слышно было, как изнутри гулко упал дверной крючок. Марина вздрогнула и подумала, что похоронила сегодня старую свою жизнь, а к новой не прибилась...

Матрена, хлопая руками о бока и взвизгивая, рассказывала Корзуниным про Степана. В пылу злости она украсила свою речь отсебятиной: Степан так ударил ее наотмашь, что она, Матрена, еле на ногах устояла. Но так как она не из пугливых, то сразу дала сдачи Баюкову — и давай бог ноги!

— Верно ведь, Марина... страшный он был?

— Зол был... но не дрался, — пробормотала Марина. Матрена рассвирепела:

— Ах ты... подлая! Твое же барахло я выручать ходила, а ты вралей меня хочешь представить!.. Я о корове толкую мужику проклятому, ей, чертовке, мигаю — помоги, мол, поддерживай... а она молчит, как мертвая... Порти здоровье из-за тебя, гулящей!..

Марина вдруг выпрямилась, побелела.

— Ты... с попреками теперь?.. Ныне уж я гулящая по-твоему, а прежде Маринушкой звала... вот как...

— Но-но... — пригрозил бородатый Андреян, заступаясь за жену, — не больно голос подымай, помни, кто ты...

— А кто ж я? — взвизгнула сквозь слезы Марина. — Не воровка я, не пьяница...

— Хуже, матушка! — гаркнул Андреян. — Хуже! Безымущая, бездворовая, вот ты кто!

Марина со стоном выбежала в сени, споткнулась, чуть не упала, ничего не видя, пробежала по двору, забралась на сеновал и завывала истошно, безвыходно...

Тихо, как побитая собака, подполз Платон и погладил ее плечо.

— Марина...

Женщина вспомнила, как молчал он, притулясь в углу, когда ее изводили. Села, схватившись за голову, и сипло крикнула:

— Не заступился небось... а?.. Что ж, вовсе уж одна на свете?..

Платон дернул себя за волосы и потупился.

— Да что ж я скажу?.. Разве я могу?..

Опять это был прежний, растерянный, униженный Платон.

У Степана после прихода жены долго дрожали руки, но квашню он домесил как следует. Напек хлеба, вымыл руки и сел у окна. Вот тут, у притолоки, стояла Марина, непривычно понурая, неловко переминаясь, без голоса, как немая.

Откуда-то из глубины его сердца вдруг быстро взмыла жалость к ней, будто под ворошок сухих веток поднесли огонь и он заторопился вверх, юркий, горячий.

«Поди, поедом ее едят... Одна Матрена сокровище какое... Жилы кулацкие, заедят они ее...»

Вспомнилось, как вошла Марина в его дом в день свадьбы.

В розовом кашемировом платье, в веночке из белых матерчатых цветков, накрытая коротенькой бумажной фатой, Марина переступила порог его дома. Степан сидел рядом с Мариной в «красном углу» избы, держал жену за руку и все не мог наглядеться на нее. В ее круглых серых глазах плавали золотые отсветы жаркого дня, а потупленное лицо было ярче ее розового платья. «Эх, Маринка, Маринка!» — полный счастья, шептал он, сжимая ее теплые пальцы.

Со двора раздался визг — передрались поросята. Это наверняка затеял драку длиннорылый поросенок, самый крупный из всех, да еще и грызун.

Степан вышел во двор. Действительно, большой поросенок распугал всех остальных.

Степан пересмотрел поросят — не покусал ли? Нет, все в порядке.

— Вот запрю тебя, черта драчливого!

Взял метлу и, легонько обжигая поросычью спину, погнал его в малую запасную закуску. Схватился за дверь — скобы нет. Хорошая железная скоба была и накладка для замка — все выдернуто с мясом. Степан отшатнулся от двери, будто что-то твердое, тяжелое толкнуло в грудь.

— И скоба понадобилась! Все в свою нору тащили, как воры.

Он вогнал поросенка в закуток, старательно припер палкой дверь и вдруг представил себе Платона и Марину. Платон торопливо дергал плохо поддающуюся скобу, а Марина, наверно, стояла тут же и помогала ему.

— У-у... подлая!..

Степан опять начал вспоминать, что у него пропало, обошел весь двор, а потом злобно рванул к себе дверь в огород.

— Вот теперь деревяшкой запирай, а тут был болт железный, крепчущий... Нет, надо было все тащить... Кабы можно было, весь бы двор с места сгребли в охапку...

На задах корзунинский огород, вон крыша сеновала; вон краешек избы. А на сеновале, наверно, лежат сейчас в обнимку Марина с Платоном.

Дрожащими руками Степан мел двор и шептал:

— Вору, обманщику!

Приди сейчас Марина, плюнул бы ей в лицо.

Кольша вбежал в комнату, задыхаясь от испуга и удивления.

— Корзунины к тебе идут! Старик с большаками.

Степан мрачно сверкнул глазами.

— Чего еще им надо, проклятым?.. Да, впрочем, знаю, знаю, зачем идут.

Первым не спеша вошел Маркел, готовясь поклониться переднему углу. Но бывший дедовский киот недавно был переделан Баюковым в шкаф, где пестрели корешки книг, а в простенке между передними окнами, что на улицу, зорко смотрел под стеклом портрет Ленина, оклеенный полоской красной бумаги.

Маркел отвел глаза от портрета, дернул плечом и буркнул сыновьям:

— Вот в дом пришли, прости мя, господи... лба покстить не на что!..

Андреян и Семен шумно вздохнули, ожидая, что сделает отец. Маркел вдруг торжественно перекрестился в окно.

— Небушко-то... оно везде видно!

Сыновья пропыхтели широкими грудями и тоже покрестились — во всем они верно повторяли отца.

— Давно ль лики-то божьи снял, неправедна душа? — прохрипел Маркел, а сыновья уркнули по-медвежьи.

Степан, еле сдерживая злое нетерпение, ответил:

— Как приехал, так и снял. Коммунисты этих ликов не признают. А вообще это не твое дело. Зачем пожаловали?

Маркел жалобно вздохнул и сел, прикрыв темными веками колющий взгляд, отвечать медлил.

Степан хорошо знал зычный, гремучий голос старика, когда орет на снох — через огород слышно. Сейчас же видно по всему, что каждый вздох и каждое слово Маркелом уже заранее рассчитаны, а сыновья также ззгодя всему обучены.

— Ровно бы и не так гостей жалуют, — наконец, побряхывая, вымолвил Маркел.

Степан сказал быстро:

— Мы с тобой сроду не гостились.

Андреян шумно выдохнул воздух.

— Кто с добром, тот и гость.

Семен, помладше, сказал басом пожиже:

— Мы с добром к тебе... по-соседски дело хотим обмозговать.

Все трое говорить не торопились, будто сначала хотели заворожить, подчинить Баюкова мрачной силе своих голосов и угрюмых взглядов. Все трое, густобородые, горбоносые, низколобые, напоминали Степану ястребов: эти хищники летают и поодиночке и крепко сцепившейся стаей.

«Вползли ко мне в дом, вражья сила, — с ненавистью и отвращением ко всему корзунинскому двору думал Степан. — Мозгуют вот сейчас, в какой стороны меня зацепить, а потом трепать, трепать, как птицу... ты, мол, один... а нас-де, ястребов, трое... Не-ет, вы меня голыми руками не возьмете, кулачье!»

И, будто забыв о непрошенных гостях, Степан с равнодушным видом свериул папироску. Он знал, что у Корзуниных курить запрещено, что Маркел, как и все из кержаков, табаку не выносит. Поэтому, поддразнивая, Степан закурил медленно, со вкусом, пуская голубые колечки дыма.

— Если пришли по-соседски разговаривать, так и не тяните. Мне пустословить некогда.

Маркел закашлялся от дыма, глаза его зажглись по-волчьи и сгасли. Он прокашлялся, смиренно разглаживая закрытую бородищей грудь, и словно выдавил из себя:

— Мы не на пустословье пришли, а...

— А о выгоде своей поговорить — понимаю, — зло и насмешливо прервал Баюков.

Маркел, подняв крючковатый палец, строго спросил:

— О жене твоей разговор пойдет — как с ней быть?

Степан, скрывая дрожь, потушил папиросу.

— Она мне больше не жена. Сами знаете, чья она теперь жена.

Андреян, подбадриваемый отцовским взглядом, сказал:

— Четыре года Марина с тобой прожила, по бумагам такой же хозяйкой, как и ты, числится.

Семен, поднимая мохнатые брови, тяжело закивал низколобой головой.

— Чай, она твой двор берегла, она за ним ходила. Степан вспыхнул гневным румянцем.

— Берегла... Оно видно! Не знаю, как и убытки покрыть... во как уберегла!

Маркел пропустил насмешку мимо и, будто боясь, что Степан слишком много скажет, беспокойно завозился на лавке.

— Мы ведь и с разговором и с поклоном пришли к тебе, Степан Андреич. Большая у нас теперь забота...

Степан бросил сквозь зубы:

— Сами на заботу лезли.

— Марина для нас большая забота — лишний человек в хозяйстве, — уже жалобно произнес Маркел.

Степан передернулся.

— Зато ваш сынок в чужом хозяйстве вдосталь побыл! Тогда, поди, заботы не было? А?

Маркел и это пропустил мимо и начал рассказывать о трудных временах, о худой земле, о недостатках в хозяйстве. Была, была прежде хорошая жизнь у Корзуниных, водились у них и лишние денежки, но теперь все это пропало, видит бог, пропало.

— Ослабли мы, Степан Андреич... вот как на духу говорю... Перед тобой, молодым, главу свою старую клоню, унижаюсь... Мне уж жить недолго осталось, уважь моление мое перед тобою! — и Маркел, кланяясь, закрестилсЯ вдруг задрожавшей рукой.

Степан смотрел на его костистые темные пальцы и думал: «Бестия старая, так держится, словно в театре играет... Ишь, каким несчастненьким прикидывается, а сам еще хоть опять женись... Ж-жила!...»

Маркел тянул все покорнее и жалобнее:

— Недостачи у нас, Степан Андреич, ноне уж и хлеба нам не хватает... лишний человек для нас тягота немислимая.

Не отступал Маркел, сдерживалсЯ и говорил все кротче, словно обмасливая каждое слово. Вдруг он грузно встал с лавки и медленно поклонилсЯ Степану, почти кладя пальцы на пол. Сыновья, как верное отражение, отдали поклон.

Медля разгибатьсЯ, Маркел тянул просительно, почти нищенски:

— Степан Андреич, воззри на слабость нашу!.. Ноне у нас лишней крохи нет. Ребятишек шестеро — одеть,

обуть надо. Все уж у нас переделено, до последней кадушки, за большаками числится. Платон для другого был приготовлен, не запасли для него, батюшка...

— Ладно! Довольно! — резко прервал Степан. — Разговор этот ни к чему не приведет.

— Батюшка-а! — опять захныкал Маркел. — Да ведь о жене, о Марине...

— Нет у меня жены! Довольно!.. Уходите восвояси и не лезьте ко мне больше.

— Да ведь Марина... — прогудел было Андреян, но Баюков только отмахнулся.

Теперь Марина отодвигалась куда-то в глухую глубь воспоминаний, сейчас его вниманием завладели Корзунины — старик с большаками: эти бородатые мужики посягали на его честно нажитое добро, их жадные руки тянулись к его двору.

— Кончен разговор! — сказал Степан, ударив ладонью по столу. — Нет у меня времени ваши глупые требования слушать! Подите вон!.. Ну!

— Вот ка-ак! — вдруг будто протрубил Маркел, перестав приглушать ложным смирением свой зычный басыще. — Вот ка-ак! Наши требования, по-твоему, глупые?.. Нет, хозяин молодой, мы к тебе как за своим пришли!

— Что-о? — захлебнулся Степан.

— За свои-им, — уже издеваясь, повторил Маркел. — Ты бабу выгнал, чуть не убил... она к нам как безумная прибежала. Теперь она к нашему двору прибилась, а сама голая, без ничего. А ей по закону-то половина имущества при разделе двора полагается. По-ло-ви-на! Мы зна-аем!

Степан гневно выкрикнул:

— Ого! Как вы все в законах здорово разбираетесь теперь! А по каким это вы законам из моего двора денно и ночью добро таскали? По воровским законам действовали! А к ворам, знаете ли, честные законы не относятся. Потому напоминание ваше насчет половины имущества отвергаю!.. Отвергаю!

Степан с силой рассек рукой воздух и повернулся было спиной к Корзуниным, показывая, что разговор дальше вести бесполезно.

— Нет, не посмеешь отвергнуть! — вдруг так загре-

мел бас Маркела, что Баюков вновь обернулся лицом к непрошеным гостям.

Стукнув палкой о пол, Маркел потребовал:

— Вот тебе мой сказ: обеспечь Марину! Без ничего у нас на дворе она не человек, ей житья не будет. Ты ее чуть не убил, но мы это покроем, твоего зла не будем помнить. Только отдай Марине корову, пару свинок на разживу, утварь бабью печную...

Степан побагровел и вдруг захохотал, весь сотрясаясь от громовых раскатов своего голоса:

— О-хо-хо! Еще, еще прибавы! Не стесняйся!.. Добавь еще: отдай, мол, лошадь... кур... дом... огород, пашню... все, все... Вы не откажетесь, все в свою кулацкую пасть примете!.. Ишь, пришли какие: начали как мужички ти-ихонькие, безобидные... а кончили — сущие волки! Может, мне все вам отдать, суму надеть, да у вас, жадюги, под окошком Христа ради просить?.. А?.. Только, может, все-таки подавитесь, а?

Степан хохотал, будто не в силах остановиться, и с острой ненавистью глядел на Корзуниных. Голос его то гремел, то срывался от бешенства.

— Разве есть ум у вас?.. Нету!.. Жадность все съела, только жадность и есть у вас... Вы бы весь свет ограбили, да теперь у вас руки короткие!.. Нету у вас, подлецы, ни стыда, ни совести! Двор мой разоряли, на постели моей спали... и... еще требовать пришли!.. Ничего я не дам больше. Говорите спасибо, что сундук ей отдал... Уйдете вы наконец или нет?

Баюков сделал шаг вперед, но Маркел топнул, замахал кулаками, скаля желтые зубы.

— Так ты меня еще и позорить хочешь... А?.. И для себя сраму хочешь?

Степан, уже устав от вспышки, шумно вздохнул и усмехнулся горько.

— Да уж больше сраму, какой есть, я в своем дворе еще не видывал.

Маркел опять затопал, пуча на Баюкова горящие ненавистью глаза.

— Принять тебе еще сраму!.. Подадим вот на тебя, по суду высудим!..

Андреян и Семен затрясли кулаками и загудели.

— Вот те крест, высудим!.. Знаем, как ты жену-то избил. С воем она к нам прибежала.

Маркел брызгал слюной и дико тряс бородой.

— Дойдем мы тебя, дья-вол... выйдет наша правда! Высудим у тебя и корову... и всякое иное добро... высудим!

Сыновья, двигая, как пристяжные, плечами, грозно гудели:

— Лаптем стыдобу станешь хлебать...

— Хлебнешь, да и подавишься, как пес...

Степана вновь с еще большей силой охватило бешенство и ненависть к этим людям, которые разбили его счастливую жизнь и снова как разбойники пришли среди бела дня разорять его двор.

— Нет, это вы подавитесь, гады ползучие! Я тоже на вас в суд подам — встречным иском на вас пойду!.. Вы думали, только у вас зубы?.. И я с зубами... вот они... ну-ка!

И, злорадно показав свои крепкие белые зубы, Баюков вдруг гаркнул по-хозяйски, бешено:

— Ну, будет!.. Убирайтесь вон!.. Вон!

И широкой развалкой, играя сжатыми кулаками, грудью пошел на Корзуниных.

Маркел задохнулся от ярости и отступил. Забыв в дверях наклониться, он расшиб себе лоб, взвыл бессильным проклятием и, грузно оседая на руках своих сыновей, вышел на улицу.

А Степан Баюков, словно мгновенно лишись всех сил, тяжело рухнул на лавку у окна. Сжав ладонями усталую голову, он долго сидел в глухом оцепенении и даже не слышал, как Финоген вместе с Кольшей вошли в кухню.

— Степан Андреич... а, Степанушко! — ласково позвал Финоген. — Знаю, знаю... корзунинское нашествие было... Кольша-то испугался да побежал искать меня... а пока, значит, разыскал, тут у тебя целая битва случилась... Соседям даже слышать было... ай-яй!

— Все равно... — глухо сказал Степан, — я Корзуниным не поддамся!

— Степа, кваску выпей... холодненький квасок... право, выпей! — бормотал Кольша, жалостно и с испугом глядя на бледное, нервно подергивающееся лицо брата.

Степан равнодушно попил квасу и вдруг насадно застонал, словно крутая и злая боль схватила его за сердце. Шатаясь, он поднялся с лавки, сделал несколь-

ко шагов и остановился, держась за угол печи и качая головой.

Финоген обеспокоенно переглянулся с Кольшей, а потом осторожно заговорил:

— Степан Андреич, голубчик... тут наши мужики на счет товарищества земельного сильно желают опять с тобой повстречаться, важный вопрос обговорить... тут еще и новые, которые желающие, объявились...

Степан смотрел на Финогена, будто не слыша и не понимая.

— Новые, говорю, желающие объявились, — повторил уже громче Финоген. — Вот люди и желают...

— Потом... — будто с болью разжимая губы, ответил Степан, глядя перед собой пустыми и тусклыми глазами. — Потом...

— Ну ладно, ладно... — уступчиво заторопился Финоген. — Ты передохни пока, Степанушко.

Баюков вдруг поднял на старика тусклый, тяжелый взгляд.

— А вы-то все что же... — начал он глухо, — что же вы молчали? У меня в доме позор да беда завелись, а вы, други-товарищи, неужто об этом не знали и не могли мне глаза открыть?

— Да ведь, Степан Андреич... разве одним духом такое скажешь? — заволновался Финоген. — Знали мы, конечно... да, извини, тебя жалели... Видим, как ты для народа всей душой, вот и жалко было тебе жизнь портить... о-хо-хо... А потом мы с Демидом надеялись: авось Марина твоя одумается... к примеру, повинится перед тобой... да, глядишь, вы и помиритесь, заживете как люди... А вышло все не так...

Баюков только устало отмахнулся.

В сенях Финоген сокрушенно зашептал Кольше:

— Ох... незадача-то какая!.. Справедливое, нужное дело заваривается, а Степану вроде уж не до того... Люди хотят скорее товарищество наше вперед двигать, а Степан говорит: «Потом»... О-хо-хо... Уж ты успокой его, Кольша, ведь брат же ты!.. Уложи его поспать али баньку истопи... банька — она от всего помогает... Завтра я побываю.

Но, зайдя на другой день к Баюковым, Финоген не застал Степана дома.

— Где же он?

— В город уехал за советом, хочет в суд подавать на Корзуниных,— доложил Кольша.

— Охо-хо... — завздыхал Финоген. — Значит, довели его Корзунины до белого каления. Эх, беда-помеха какая... Ведь судиться — не богу молиться, свечкой да поклоном не откупишься. Суд доуку за собой тянет, а от доуки душа вянет!.. Будет с этим судом хлопот у Степана... ай-яй! И уж как эта доука нашему деревенскому делу помешает, высказать нельзя. А слушай-ко, парень...

Финоген, вдруг зажегшись надеждой, глянул на неспавшееся, озабоченное лицо Кольши.

— А не говорил ли Степан с тобой насчет товарищества нашего?

— Нет, ничего не говорил.

— Да ты, может, не помнишь?

— Ну вот... Как есть ничего не говорил... Да ведь и не до того ему было.

— Вот и горько мне, что не до того ему было... Эх, чисто беда-помеха! — Финоген, опять пообещав побывать завтра, ушел еще более сокрушенный, чем вчера.

После столь неудачного посещения баюковского дома Корзунины на первых порах не выносили ссра из избы, но потом решили иначе.

— Не отмолчишься, не замнешь такое дело, — говорила Матрена, самая бойкая в корзунинской семье. — Все равно каждый мальчонка в деревне знает, что Баюков вас всех троих едва не взащей прогнал. А батюшку нашего свекра (она кивнула в сторону Маркела), без уважения к его старости, Баюков еще и оскорблял, как самого последнего нищего... Разве с этим проклятушим Степкой добром договоришься?.. Только судом и стребуешь с него, только судом!

Маркел, больше чем к другим членам своего дворового гнезда, прислушивался к мнению Матрены.

— Баба ты острая, что и говорить, — сказал он и на сей раз. — Сам теперь вижу, что с Баюкова добром щепки не возьмешь, а судом мы с него еще и не то сделаем!.. Но... — и Маркел тяжело вздохнул. — Но ведь для суда свидетели потребуются... А у нас — свалилась гора на шею, а как хребет трещал, того никто не видал и не слышал. Без свидетелей на суде нас и слушать не будут.

— Эко! Добудем свидетелей! — раззадорилась Матрена. — Уж я поищу, повыгляжу везде. А ты, тятенька, не сумлевайся, мы себя с краю столкнуть не дадим.

Но скоро самоуверенность Матрены сменилась страхом. Пойдя за водой к колодцу, Матрена принесла домой неприятную новость.

— У колодца-то бабы бают, будто Степка в город съездил, будто у аблаката был и в суд на нас подавать собирается... А мы зеваем, как дураки.

— Чего же Баюков от нас хочет? — встревожилась Прасковья. — Его же Маринку мы пригрели...

— Эх, тугоумная ты, матушка моя! — и Матрена выразительно постучала пальцем по лбу. — Смекать надо. Чего, чего? Высудить от нас хочет Баюков, высудить вобрат всякое добро, что к нашему двору притекало... Поняла?

— О господи-и! — заныла Прасковья.

Сыновья приступили к Маркелу:

— Надо скорее в суд подавать.

— Мы ждать не согласны.

— Дело-то уж прямо к горлу приступает,дохнуть нельзя! — вторила им Матрена. Она же и придумала, кого позвать в свидетели со стороны Корзуниных.

— Голубчики-и! Про Ермачиху-то и забыли... Ермачиха в свидетели пойдет!

— И верно! Ой, верно! — обрадовался Маркел. — Варит голова у Матрены, ей-ей!.. Ермачиха на все пойдет: дай ей пятак, а она и на рубль сделает.

— И голым-голо, и глупа, словно курица, — развеселилась Матрена, довольная своей выдумкой.

— Уж послал бы господь удачи! — завздыхала богомольная Прасковья, крестясь на темную, засиженную мухами икону Спаса в углу.

На семейном совете решено было, что к Ермачихе пойдут Маркел и Матрена: свекор грозен да важен, а сноха востра да бойка, семерых заговорит.

Под вечер Маркел и Матрена постучались к вдове Ермачихе. С Ермачихой знали мало и принимали из милости, но сегодня она была очень нужна Корзуниным.

Долго рассказывать не пришлось. Ермачиха была стряпуха, пряха и ткачиха, во всех домах бывала, все знала и, как сама говорила, всем была слуга. Жилось

ей плохо. От сына толку мало: малоумен, хозяин никудышный. Как и покойный отец, он промышлял охотой, рыбалкой и всякой случайной работенкой.

Сухопарая, остроносая старушонка сразу согласилась пойти в свидетели.

— Мне все едино, кормильцы мои родные, — угодливо шамкала Ермачиха. — Кто меня накормит, тому я и слуга. Что надо — сделаю, что надо — скажу.

— Уж мы, голубушка, твоих услуг не забудем, — стрекотала Матрена.

Маркел как можно строже учил старуху:

— Так и скажешь на суде: видела, мол, граждане, как Степан Баюков зверски — так и говори, — зверски, мол, бил жену свою Марину, а Платон Корзунин за нее заступался, вот она к нему и прилепилась. А выгнал, мол, Баюков жену свою наижестоко, чуть не убил... вот, мол, тут и там синяки были... так и показывай.

Ермачиха так согласливо кивала в ответ, что Маркел и Матрена не однажды тайком переглянулись: действительно, не наградил бог умом эту старуху.

— Благодетели вы мои, кормильцы-ы! — умиленно тянула она. — Да я и сына моего Ефимушку сговорить могу, пусть и он вам послужит, только...

Ермачиха вдруг запнулась.

— Только ведь, голубчики, грех на душу оба возьмем, сами знаете... от нужды нашей горькой.

— Ладно, не бойся, — снисходительно сказал Маркел, — даром работать не заставим.

— А что положишь-то мне, кормилец? — не отставала Ермачиха. — Ну... хотя бы по первости ради нужды нашей...

— Эк, как ты цепляешься, голубушка, — брезгливо произнесла Матрена, но Маркел повел на нее строгим взглядом, и бойкая сноха замолчала.

Маркел обещал Ермачихе пудовик ржаной муки да старые женины коты.

Как раз пришел Ефим, высоченный белесый мужик с вытаращенными мутными глазами, которые казались пустыми. Ефим не сразу понял, что от него требуется, и Матрене пришлось долго разъяснять ему, что значит быть свидетелем на суде.

— А выпивка будет от вас? — тараща глаза, спрашивал Ефим.

— Будет, будет, — отвечала Матрена, злясь про себя на этого межеумка.

— Уж ты еще поучи его, Ермачиха, — наконец, умявшись, попросила Матрена. — Не даром ведь стараться будете. Пусть он прямо наизусть, как молитву, затвердит, что говорить надо на суде.

— Затвердит, матушка, будь спокойна, — обнадежила Ермачиха. — Он у меня послушливый, ему только на водочку дай.

Корзунины тут же дали Ефиму на водку. По дороге к дому Матрена бранила «жадного межеумка», которому пришлось «загодя подносить», но Маркел не жалел об этом.

Дома старик с довольным видом разгладил бороду и объявил:

— Есть двое свидетелей. Хоть не очень важные, но все ж не с пустыми руками на суд пойдем.

— Ничего, мы еще и других найдем, — снова раззадорилась Матрена и предложила Прасковье:

— Завтра воскресенье... Айда, потолкаемся у завалинок... авось еще кого-нибудь из деревни позовем.

Но надежда эта не сбылась. Снохи подсаживались ко многим завалинкам и наводили ухо: о Корзуниных хороших разговоров не слыхали, зато Баюкову все сочувствовали.

— Значит, Ермачихи надо держаться, — со вздохом говорила Матрена. И тут новая догадка осенила ее. — Слышь-ка, Марина! Вой, реви побольше, когда мы поедем прошение в суд подавать.

Когда Марина поехала в город вместе с Корзуниными, все они хором учили ее, как она должна себя вести. Она так устала и оробела, что, очутившись в учрежденческой комнате, совсем забыла, что должна делать. Маркел и большаки злобно глянули на нее, а Матрена предельно ущипнула ее за руку. И тогда Марина заплакала. А чем больше расспрашивал ее юрист, тем горше она заливалась непритворными слезами о своей загубленной жизни.

Этот же юрист согласился вести корзунинское дело и посоветовал Маркелу побывать в городе через неделю.

Домой Корзунины возвращались веселые, полные надежд на удачу. А за ужином допоздна разговаривали

о том, как «ловко обернется дело» против Баюкова.

Через несколько дней Маркел опять поехал в город и вернулся такой довольный, что даже погладил Марину по спине холодными твердыми пальцами.

— Верное наше дело, молодка! Говорил я в городе с аблакатором. Разлюбезный гражданин! Советский, григ, закон на стороне женщины... Житье вам, бабам! «Не только, говорит, корову получите аль свиней, а и все, что бывшими супругами Баюковыми вместе нажито, разделить придется пополам». Слыхала? Пополам!

Потом Маркел позвал большаковых жен и, погрозив длинным крючковатым пальцем, приказал:

— Вы не больно на бабу эту орите, дуры! Через нее в наш двор прибыток идет. Работы сверх меры на нее не валите, а то она на нас как на волков глядеть начнет, а от этого нам какая польза? — и он хитренько засмеялся.

Сегодня старик вообще был доволен ходом своих дел. На базаре ему удалось выгодно перепродать более двухсот пудов пшеницы, которая в возмещение за долги притекала к нему постепенно и так же исподволь свозилась в город, «к верному человечку».

— Ничего, ребятки, иной раз и нас грешных бог милует! — довольно побрякивая, говорил он старшим сыновьям, когда все уже сидели за обедом.

— Есть еще люди, которые долги старому Маркелу платят!.. И в этих нонешних потребилках тоже есть люди-человеки, которых можно денежкой ублаготворить, а они какое тебе надо вспоможенье сделают... И вот в кармане у тебя не просто деньги, а твердая валюта.. называется еще: червонец... Вот он, голубчик!..

Маркел смахнул крошки с клеенки, потом вынул из кармана толстый засаленный кошелек, вытащил из него пачку новеньких червонцев, ловко выложил их веером и наставительно сказал:

— Вот, ребята, теперь всегда старайтесь все другие бумажки на червонцы обменивать. Вот он какой отменный: мужика с кошелкой изобразили, сеять вышел...

— А по мне кой прок в этом самом червонце? — насмешливо произнесла Матрена. — Прежде червонец-то золотой был, его на зуб пробовали...

— Дура! — добродушно оборвал свекор. — Червонец

этот не дурашный какой, а тоже золотом обеспечен, что тебе прежняя красненькая!

— Ох, царская десятирублевочка! — сладко молвил Семен.

— Ничего-о, — одобряюще протянул Маркел. — И этот червончик нам сгодится... да и нэпа эта самая тоже нам подходит... Советской власти, видно, тоже крепкие хозяева нужны... Да! Небось какой-нибудь Степка Баюков со своего дворишка немного товару соберет, чтобы на базар свезти... а вот без нас, крепких хозяев, базар заревет... ей-ей!

Маркел торжествующе подмигнул сыновьям и невесткам, которые уже давно не видали его в таком радужном настроении.

Встав из-за стола, старик истово перекрестился и с шумным вздохом заключил:

— Дай-то, господи-владыко, нашу дворовую тяжбу выиграть!

— Уж тогда Степке Баюкову не придется нос задирать! — бойко ввернула Матрена. — Уж и осраим же мы его тогда перед всем селом!

— Верно говоришь! — весело одобрил Маркел и добавил другим тоном: — А эту, как ее... Марину вы пока что не трожьте... Поняли?

Теперь можно было Марине и присесть среди дня, передохнуть, постирать на себя. Снохи ругались и корили теперь поменьше, но Марине что-то не верилось, что это надолго.

За этот короткий срок нагляделась она вдосталь на жизнь в корзунинском дворе. И, казалось, только теперь научилась думать и примечать. Самое же горькое было сознавать: от старого двора ушла, а к новому не прибилась.

— Ох, когда же это, Платоша, в своем углу заживем?

— Да-а... К зиме вот нам с тобой и спать-то негде будет.

На сеновале после дождя пахло плесенью, и казалось Марине, что не только тело, но и горькие думы ее пронизывает этой бесприютной сыростью.

— Взялись за справедливое дело, так надо его вперед двигать, — строго выговаривал Финогену Демид Кув-

шинов.— На том я утвердился, того и от Баюкова желаю. И зря ты меня и других людей к нему не допускал: «Погодим да обождем, пожалеем да посочувствуем...» Тьфу! Даже зло берет, что тебя мы послушались.

— Ох, господи! — расстроенно вздыхал Финоген. — Да что ж всамделе, посочувствовать хорошему человеку нельзя, когда у него на дворе этакое несчастье стряслось? Хоть кого возьми — легко ли такое переносить? Верил человек жене, как своей душе, а жена этакий обман да разор устроила! Небось, случись бы такое с тобой, тебе бы тоже не до людей было.

— «Не до людей»! — сердито передразнил Демид и даже приостановился, стукнув оземь палкой. — А ежели люди эти поверили Баюкову, пошли за ним, как за передовым... как же это можно ему о нас не помнить?! А?

— Да ведь только на время, пока сердце у человека успокоится... — бормотал Финоген.

— Насчет сердца — это как ему там угодно, а дело забывать не смей! — и Демид грозно посмотрел вперед, в сторону баюковского дома. Потом, морщась и тяжело передвигая больные ноги, направился к Баюкову. — Гляди на меня, Финоген Петрович... уже мне бы вроде, по всем законам, лежать на печке можно, а я не сдаюсь, потому как злой я до дела... и другому спуску не дам... Ты говоришь: время да покой... А время-то ведь идет, за собой заботу несет. Уж ежели мы решили тоз образовывать, так, значит, надобно ныне же людей, тягло и всякое прочее к севу готовить... Ведь нам трактором обещают вспахать... Чуешь ты это?

— Еще бы, этакое знаменитое дело!

— Так вот, я тебя упреждаю, буду я сейчас с Баюковым так беседовать, будто ни о каком его семейном злосчастье и знать не знаю. Там пусть он сам управляется, а общественное дело — наперед всего!

Придя к Баюкову, Демид немедленно приступил к деловой беседе, и действительно с таким видом, будто решительно ничего не знал о недавних событиях на баюковском дворе.

— Вот, Степаи Андрейч, новый список тебе показываем, еще объявились желающие вступить в наше товарищество. На-ко, прочти.

Степан взял список и невольно улыбнулся: в списке он увидел фамилии тех своих односельчан, которые сна-

чала недоверчиво и даже насмешливо отнеслись к его пропагандистским речам о пользе тозов для крестьянства.

— Ага! Дошло-таки до них! — довольно сказал он, и его осунувшееся лицо вновь осветилось улыбкой удовлетворения. — Значит, нашего полку прибыло!

— А ведь ты, Степанушко, того и хотел, — ласково сказал Финоген. — Ты все говаривал: «Эх, людей бы нам побольше!» Вот они, люди-то, и пришли...

— Люди-то пришли, — повторил Демид и метнул в сторону Финогена суровый взгляд, — да ведь ими заниматься надо.

— Конечно, конечно, — торопливо согласился Степан. — Надо все разъяснить людям. Это я сделаю.

— Вот тебя мы об этом и просим, — продолжал Демид. — Завтра вечером к тебе народ желает прийти, поговорить.

— Завтра? — тревожно переспросил Степан. — Нет, завтра к вечеру я еще не вернусь из города.

— А ты отложи... городское-то свое дело, отложи, — посоветовал Демид, испытующе глядя на Баюкова.

— Нет, отложить никак невозможно, — упрямо произнес Степан, и лицо его потемнело.

— Это что ж... насчет твоих семейных дел? — медленно и неохотно спросил Демид.

— А-а... да разве только семейное тут дело? — вскинулся Баюков, и лицо его исказилось, словно от боли. — Дошло до меня, что Корзунины на суде хотят меня извергом выставить, словом — опозорить... Как же я могу сложа руки сидеть?

— Эта... кулацкая шатня тебя хочет опозорить? Чего захотели... а? — гневно заговорил Демид и встал с места. — Эти... враги рода человеческого на тебя кидаются?

— Верно ты сказал — кидаются, Демид Семеныч! — взволнованно подтвердил Степан. — Уже свидетелей себе нашли... подкупили, ясное дело. Они, значит, будут готовиться на меня разные подлые небылицы возводить, а я?.. Я, сами понимаете, не могу дурачком сидеть... Я на Корзуниных встречный иск подам, я не позволю свое честное имя трепать...

— И мы не позволим! — вдруг властно сказал Демид и ударил кулаком по столу. — Не позволим кулачью тебя позорить! Ты для нас дорогой, нужный человек.

— Да ведь что еще... Ты же, Демид Семеныч, сам сейчас слышал, что Корзунины уже свидетелей себе нашли, — напомнил встревоженно Финоген. — Они, смекаешь, со свидетелями...

— А мы все в свидетели к Степану пойдем! — сказал, как отрубил, Демид, и его носатое лицо приняло строгое и торжественное выражение. — Это я не только от себя заявляю, а и от всех уважающих тебя людей, Степан Андреич. Не хотел я вступать в семейные твои дела, но... честь нам твоя дорога.

— Уж это да! — растрогался Финоген, радуясь и тому, что мог сейчас, не опасаясь сурового взгляда Демиды, ободрить своего любимца. — Уж мы, Степанушко, за тебя горой будем стоять. Уж с нами тебе нечего корзунинских подкупленных свидетелей бояться!

— Спасибо вам! От всей души спасибо! — и Баюков низко поклонился обоим. — Ваша общественная поддержка для меня сейчас особенно... сами понимаете, как много значит... Трудно, горько, но знаешь, что ты не один.

Лицо его просветлело, в глазах снова зажегся знакомый обоим яркий огонь мысли, упорства, живой готовности каждому открыть что-то новое, — каждого понять, ободрить, жить одной жизнью со многими людьми. И, радуясь возвращению этого огня, Финоген горячо обнадежил Баюкова:

— Мы переборем их, чтоб не мешали настоящим людям большие дела творить... Да вот меня возьми, к примеру, — я хоть сейчас на подводу с тобой рядышком... и покатым в город... А?

— Бери шире! — вдруг громко ухмыльнулся Демид. — Для нас, свидетелей баюковских, несколько подвод потребуются... — вот как ты народу нужен, Степан Андреич!

— Спасибо на добром слове, спасибо, Демид Семеныч. Но ведь ехать-то завтра...

— А ты все-таки обожди, — серьезно посоветовал Демид. — Суд ведь не завтра и не на неделе. Это раз. А второе: ежели мы, народ, за тебя хотим постоять, так и ты нам встречу иди, покажись, словом с нами перемолвись. И — слышь, Степан Андреич! — не будем завтрашнюю беседу откладывать, прими людей, которые до тебя нужду имеют, обговори с ними душевно все, с чем

они к тебе придут... они тоже за тебя доброе слово скажут... И, глядишь, денька через два-три всем обществом с тобой вместе в город поедem.

— Верно, верно! — воскликнул Финоген. — Демид Семеныч дело говорит, Степанушко!

— Что же, я согласен, — сказал Баюков, и опять лицо его просветлело.

Со двора вдруг донесся плачущий крик Кольши: «Да ну вас, ну вас, бесовестные!».

Потом с грохотом затворилась калитка, замычала корова.

— Что случилось? — и Степан выбежал из комнаты.

Посреди двора стоял Кольша, взъерошенный, красный, держа дрожащую руку на рыжей спине коровы Топтухи.

— Что случилось? — повторил Степан.

Кольша поднял худенькие мальчишечьи кулаки, погрозил ими в сторону улицы и заговорил срывающимся голосом:

— Всё они, подлые... Корзунины!.. Сейчас гоню домой Топтуху, а Матрена Корзунина ка-ак закричит на всю улицу: «Глядите, люди добрые, у Марины Баюков корову отнял, глазищам-то его не стыдно корову на своем дворе держать!» Тут Матрена страшно изругалась, подскочила ко мне... и замахнулась было на меня... но люди ее оттащили. Я погнал Топтуху быстрее, а Матрена за мной гналась, как ведьма...

— Что делается... а? — прохрипел Баюков, глаза его потускнели, ноздри короткого носа раздулись, как от удушья. — Далась им, проклятым, моя корова!

— Ничего, ничего, — успокаивающе промолвил Демид. — Перемелется, все перемелется, по-нашему выйдет.

«Ох, пока-то перемелется!» — вдруг опасливо подумал Финоген и мигнул Демиду, как бы говоря: «Ты иди, а я еще побуду здесь — надо же человека успокоить!»

— Чего стоишь? — прикрикнул Степан на брата. — Заводи Топтуху под крышу... да возьми из амбарушки замок и навесь как следует.

— Мы же никогда не запирали... — начал было Кольша, но старший брат крикнул зычно, явно желая, чтобы его услышали на корзунинском дворе:

— Запирай, говорю! Да покрепче, чтобы ночью воры

не подобралась да нашу Топтуху на свой двор не увели... Теперь корсвушка у нас под замком будет всегда, только под замко-ом!

Степан с такой яростью выкрикнул последнее слово, что даже поперхнулся и закашлялся.

— Ох, уж зачем же так-то? — мягко укорил Финоген, поднося ему ковшик. — На-ко, воды выпей... Этак, ей-ей, голос наовсе можно надорвать.

— Будь они прокляты! — шумно выдохнул Баюков.

Финоген посмотрел на его осунувшееся, сразу подурневшее лицо и пожалел вслух:

— Боюсь я, изведешься ты совсем с этой тяжбой, Степан Андреич.

— Да... уж пока дело не выиграю, покоя не будет, — тяжело дыша, ответил Баюков.

Финоген помолчал, а потом просительно сказал:

— А все-таки, Степан Андреич, от сердца советую тебе: брось ты все это дело, не связывайся с Корзунными — тошныые люди, жадюги, кулацкие души. Они, подлые, не тебе одному, а и людям готовы навредить. Затянет тебя сутяжное дело, а наше общественное в сторону отпадет.

— Зачем же, я свои обещания помню, — сурово возразил Степан.

— Ты не обижайся, прошу! — взволновался Финоген. — Опасаюсь я тяжелой той заботы, как бы она душу в тебе не съела. Потому-то, тебя уважая, советую: уж отдал бы ты им эту коровенку... да и отступился бы... ну их к чертям... Потом еще учти: по закону ведь жене половина имущества полагается.

— У меня, Финоген Петрович, не тот случай, — помрачнел Баюков. — Меня обкрадывали, обдирали, как мертвого... обманывали...

— Эх, Степан Андреич, голубчик, да разве когда люди добром расходятся? — сокрушенно продолжал Финоген. — Все равно Марина с тебя требовать может. Сколько хлопот да тревог у тебя впереди будет с этим делом... Да коснись меня такая тяжба, я не стал бы себе печенку портить — отдал бы, да и отступился.

Степан вдруг вскипел:

— Будто не знаешь, как крестьянину все достается?.. К примеру, хомут, шлея, дуга — безделка на первый взгляд, а их еще отец мой заводил. А тут, на-ко-ся: ко-

рову отдать!.. Хозяйство, трудом нажитое, разорить за здорово живешь. Нет, добром я ни-че-го не уступлю! Я на них встречный иск подам!

— Ну... а вдруг на суде-то корова как раз отойдет к Марине?

Степан сверкнул глазами из-под насупленных бровей.

— Не соглашусь! Дальше буду судиться! Докажу, что я прав, а не Корзунины. Воры, мразь кулацкая... Кровопийцы!..

Баюков вскочил с места и быстро заходил по двору, пугая кур.

— В Красной Армии я в активе числился — знаешь? Главный наш командир — орден Красного Знамени у него на груди, с Лениным знался, как вот мы с тобой, большой человек, словом, — так он всегда меня отличал: «Ты, говорит, Баюков, наш будущий деревенский переделовик. Ты, говорит, сам по новым формам поведешь хозяйство и других можешь научить». Вот я прочел книжку о культурном животноводстве, так я по книжке свиньям построил жилье и корове такое же сделаю... вот через год поглядите-ка на мою скотину, — у меня книжка, наука! Как же я могу такие мечтания в корзунинскую пасть бросить?

И, опять вскипев негодованием, Баюков топнул изо всей силы и сжал крепко кулаки.

— Дудки! Я встречный иск подам, я не сдамся! Корзунины из меня живое мясо хотят зубами рвать, да как бы волку зубы не сломать!

Финоген глянул бочком на его нахмуренное, побагровевшее от гнева лицо и почуял во всем неодолимое упорство.

— Чего ж, Степан Андреич, уж ежели тебя так заело твое дворовое дело, надо его скорее с плеч спихнуть, — раздумывая вслух, заговорил Финоген. — Навалимся-ка мы все на это дело... да как приедем вот целой кучей свидетелей в город... пусть-ка разные там ходатаи попробуют с нами поспорить!.. Пусть все твои недруги увидят, какой ты для нас нужный человек... А кому Корзунины нужны?.. Господи-и, да лучше бы их, бесов жадных, век не было!

Через два дня, как и предполагалось, Финоген, очень довольный, сообщил Баюкову: из будущих членов тоза

набралось двадцать человек, которые согласились быть свидетелями Степана Баюкова на суде.

В коридоре городского суда Степан столкнулся с Маркелом. Тот пробормотал хрипло:

— А... И сюда пришел...

Острый стариковский взгляд заметил, как держался Степан: шел прямо, уверенно, окруженный своими свидетелями, а он, Маркел, шел в следовательскую комнату, готовя спину для низкого поклона.

Степан вошел первый, а за ним приехавшие с ним односельчане. Дверь в комнату следователя была приотворена, и Маркелу Корзунину слышно было все с первого до последнего слова. Каждый приехавший вместе с Баюковым заявлял о своем желании быть свидетелем в его деле «по встречному иску» против истца Маркела Корзунина.

— Подать-то мы подали на Баюкова, — тихонько пробурчал Андреян отцу, — а вот силенки не рассчитали... Эка, сколько за ним горлопанов привалило!

— А мы его, Баюкова, бабу приютили, поим, кормим... Он со двора ее выгнал, а мы к себе взяли, — строго прошептал Маркел, а сам с опаской посторонился, услышав, что разговор в комнате уже подходит к концу. — Мы опосля зайдем — справиться, как и что... пусть уж они все, баюковские-то, выйдут... — опять зашептал Маркел, но в эту минуту дверь распахнулась. Баюков, окруженный людьми, быстрым шагом прошел мимо.

Маркел почему-то растерянно посторонился.

Когда Степан и пять подвод с его свидетелями уже выехали далеко за город, стало слышно, что кто-то нагонял их. Проехали лесок и на тракту увидели подводу Корзуниных, которая догоняла их. Платон, сидя у передка, правил, стараясь не глядеть по сторонам. Маркел сидел посредине, держась за края телеги. Позади виделось румяное, пухлощекое лицо Матрены.

Маркел, выгибая голову вперед, крикнул зычно, будто в горле у него завывала труба:

— Сутяжничать приготовился? Надо бы уж всю деревню в свидетели записать!

Степан, натягивая вожжи, крикнул гулко:

— Небось у вас столько не найдется!

— Ну их к лешему! — опасливо зашептал Баюкову Финоген, подталкивая его руку, натянувшую поводья. — Хлестни-ка ты коня покрепше, да и покатым себе...

Но Степан уже ничего не слышал, видя перед собой только ненавистных людей, которые разбили его счастливую жизнь. Маркел, будто мстя за сегодняшнюю свою растерянность в городе, теперь задира с ухарским молодечеством: прищелкивал языком, хохотал трескуче, как колотушка.

— На воров, баешь, подал? На воров? Где же они, такие?

— Где?! Видали вы таких бесстыжих, люди добрые? — выкрикнул Степан. — Еще и спрашивают да оглядываются!

Степан ткнул свернутым кнутом в сторону Платона.

— Вот оно, ворованное... глядите все! Сапоги-то на нем чьи? Мо-и!.. Рубаха сатиновая, штаны... чьи? Мои-и!..

Матрена, вторя свекру, пересела на край и показывала кукиш.

— Врешь, врешь, нищими отродясь не бывали... Все свое носим. Попробуй-ка сыми, сыми!..

Степан презрительно плюнул.

— Не я сниму, суд позаботится!

Платон, беспокойно ерзая на месте, ненужно зачмокал на лошадь.

— Куды гонишь?.. Дур-рак! — и Маркел со злостью дернул его за плечо.

Степан раскатился злобным хохотом.

— Людям в глаза глядеть стыдно! Жарко, поди, в чужой-то одежде?.. На тебе не только шапка горит, а и все горит... до последней ниточки!

Первые дни, думая о Платоне, Степан представлял себе его только рядом с Мариной и испытывал невыносимое оскорбление. Сейчас он помнил и видел только сапоги и одежду, что приобретены им, Степаном, а носит их Платон, — и поэтому радовался, что так сейчас находчив и зол на слова и что они бьют врага наверняка.

— Когда износишь, голова, где опять возьмешь?.. Гляди, новые невесты еще не выросли!

— Будя, будя! — предостерегающе прогудел Демид над ухом Баюкова. — Зазорно этак переругиваться... мы не собаки... Будя!

— Ладно, — глухо сказал Баюков и, будто опом-

нясь, повернул лошадь ближе к обочине дороги. И другие подводы с баюковскими свидетелями тоже начали поворачивать в сторону, чтобы объехать корзунинскую подводу.

— Что-о? Испугались? — взвизгнула Матрена. — Знать, совесть-то не чиста?

— Баюковские прихвостни! — орал Маркел и всех свидетелей Степана тут же наградил бранными словами. А Матрена не только свидетелям, но и женам их надавала зазорных прозвищ.

Лошади, будто чуя хозяйскую гневливость, мотали гривами и косились назад. Хозяева же кричали, надсаживая грудь, вслед отъезжающим все дальше вперед подводам «баюковской стороны», что «суд все выведет на чистую воду».

Вдоль тракта лежали поля, глянцевито-черные, — земля опилась дождями и спокойно растила сочные и обильные всходы. Зелень уже были густы, стояли мирно, прямо, а над ними гулко гремели и гудели людские голоса, рождая вдали ухающее, путаное эхо.

Маркел, приехав домой, весь вечер проходил насупясь и что-то бормоча себе под нос. Чтобы рассеять мрачное настроение свекра, Матрена за ужином принялась высмеивать Баюкова и его «без малого целую деревню свидетелей». Маркел сердито остановил говорливую сноху:

— Нам бы вот столько свидетелей иметь... Зря язык распустила — хвастаться-то нечем!

Перед сном старик долго нашептывал молитвы, стоя на коленях и держась левой рукой за край стола. Поднимался, хрустя суставами, откидывал назад голову, надолго задерживал крепко сложенное двуперстие на сморщенном лбу, кланялся часто и низко, потом с кряхтеньем и вздохами опускался опять на колени, прижимаясь головой к полу.

Старые половицы скрипели и вздрагивали. Стекляная лампадная плашка покачивалась на медной цепочке, лениво откидывая блеклый луч на иконные доски. Спас, прослуживший уже несколькими мужицкими поколениями, глядел с доски мутноглазым, давно не мытым лицом. Он был густо обсижен мухами, которые не пощади-

ли и больших круглых белков Спасовых глаз, — оттого был он некрасив и коряв, как старый бобыль.

Маркел молился и каялся, поверяя темноликому, рябому Спасу неубывающие свои доуки. Ох, не надо было потворствовать хождениям Платона к Марине Баюковой. К пошатнувшемуся, как прогнивший в земле плетень, корзунинскому житью-бытью прибавилась проруха с Платоном. Ох, грешен, грешен старый многоопытный Маркел, ноготлядел, недодумал! Теперь еще и новый нежеланный человек появился на корзунинском дворе — Марина Баюкова. Если удастся высудить в ее пользу половину баюковского добра, — тогда ее появление на корзунинском дворе, понятно, к благу. А если высудит дело Баюков, тогда как быть?

«А она молодая, еще ребятишек принесет, — что с ними делать, господи Спасе? В кадушке, как грибы, ребят не засолишь, а места на дворе для них не заготовлено, добро все переделено, до последнего гвоздя, за большими, их женами и детьми числится».

Сколько лет держался на дворе твердый порядок, а теперь пошатнулся, и в умах у всех Корзуниных смятение. У них все по старинке, а у проклятого Баюкова все по-новому, по-нынешнему. Баюков и грамотнее и хитрее всех Корзуниных. Как наденет свой красноармейский шлем со звездой, так будто и самого черта не боится... Они, Корзунины, всего двух свидетелей наскребли, а с Баюковым целая толпа заявила в город!.. Рано, слишком рано начал надеяться на благополучный исход, — с дошлым человеком он тягаться вздумал!.. И что еще этот проклятый Баюков может придумать, никто не знает. А ему все ходы-выходы известны, всюду он найдется что сказать, в то время как для Маркела любое учреждение в городе хуже леса темного.

«Ох, господи Спасе, на печаль и горе нам появился этот Баюков! Жил бы да служил солдатом в городе, так нет — словно сам нечистый его принес сюда!.. Только на тебя, Спасе, вся надежда наша... прости грехи наши и помоги... Ох-хо-хо..»

Лицо Спаса было непроницаемо, и, неизвестно было, о чем он думал. Маркел, томясь неизвестностью, низко кланялся и прерывисто шептал. Его большая тень доходила до потолка, обламывалась в углу, прячась в паутину за иконами.

Крестясь и бормоча, Маркел не замечал пары бессонных глаз, что следили за ним из-за печки. Больная старуха Корзунина, уже седьмой год лежавшая неподвижно за занавеской в углу, смотрела на мужа острым и жарким от ненависти взглядом. Глаза ее, как угли, горели в полутьме, а губы кривились злой и презрительной усмешкой.

Когда Маркел кончил моление и пошел ложиться, старуха закрыла глаза — будто спит.

Марина мыла посуду. Всего труднее было управляться с большими чугунами, где парили белье. Молодая женщина изо всей силы шваркала прозоленной мочалкой по закопченным крутым бокам чугуна, который раз чуть не покатился на пол. Марина от испуга даже закрыла глаза. Еле успела опомниться, как опять вздрогнула, даже побелела от испуга: перед ней стоял Маркел.

Маркел с минуту смотрел на дрожащую Марину, потом испытующе заглянул ей в глаза:

— Справляешься, сношка богоданная?

— Справляюсь, — потупилась она.

Маркел вдруг постукал костлявым пальцем по ее плечу.

— А забота тебя, баба, не берет?.. Молчишь? А меня вот берет забота. Нарвались, видно, мы все на задиру большого, каков есть Степан Баюков... От этакого скоро соломинки не получишь... Верно, молодка?

— Да... оно... верно... — тупея, шепнула Марина.

— То-то вот и есть... Забота, говорю. А ты, на случай, не тяжелая?.. Не тяжелая, говорю, а?

Марина открыла рот и одурело сказала:

— Нет... ничего... не примечала я...

Старик облегченно вздохнул, но опять насторожился.

— Вот и хорошо. Придется вас, ребята, пока что развести: ты в сенцах теперь будешь спать, а Платошка на сеновале... Неровен час, понесешь опять — лишние хлопоты, и без того горько. Платошке ужо сам прикажу.

Марине стало до того стыдно, что жар разлился во всем теле. Казалось, Маркел сейчас сдернул с нее платье, и вот все увидели ее голую, жалкую, опозоренную, выгнанную мужем со двора. Маркел уже кричал на кого-то во дворе, а Марина все стояла, заливаясь румян-

цем, и дышала пересохшим ртом. Только тут уразумела, что у нее отымают последнюю отраду: хоть ночью с глазу на глаз перемолвиться душевным словом с единственным в мире родным человеком. Она гордилась, что Платон, обоимденный и достатком и удачей, только с ней, Мариной, узнал счастье. Эту гордость отнимал у нее Маркел. И разве можно на такое руку накладывать? А Маркел вот наложил — и будто полжизни отнял.

Марина тихо плакала, в чужой избе никого не было. Чужая изба прибрана ею, Мариной, без радости, ради страху одного.

Марина села на лавку и тихонько завывала:

— О-о... батюшки... обида-то!

За печкой заколыхалась линиялая занавеска. Старая Корзуниха, приподнявшись на здоровой руке, кивала Марине, морща лицо понятливой усмешкой.

— Ревешь, бабонька, опять?

Марина всплеснула руками и беспомощно заморгала.

— Ой... ты, Дарья Кузьминишна... забыла я...

О старухе действительно часто забывали. Корзунины давненько называли ее полумертвой и смотрели на нее так, будто дивились, что она еще жива.

Марина же считала, что Корзунина все готовится к смерти, молится и глядит к себе в душу.

Марина быстро вытерла слезы — так ее поразило сейчас старухино лицо. «Смертного» в нем ничего не было: искрились глаза, поблекшие губы дерзко улыбались.

— Ревешь, молодушка?.. Поди, опять Маркел чего наговорил тебе, а?.. Иди-ко сюда...

От голоса ее шла теплота. Марина вдруг осмелела, под села ближе и начала рассказывать, что приказал старик, как ей обидно, горько от такого приказа, какие тяжкие пришли дни.

Корзунина хмурила брови и слушала. Волосы у нее спереди поседелли, но на макушке были еще красивого медновато-каштанового, молодого цвета, брови же до самой немощи остались молодыми — ровные, темные и густые.

— Давно я на тебя смотрю... Не надо ныне бабе кривой тропкой ходить, женщины ныне с мужьями в равных правах... и тебе надо было правдой напирать...

— Как... тоись? — виновато спросила Марина.

— А так, надо было тебе все Баюкову открыть. Прости, мол, супруг мой уважительный, желаю я быть от тебя свободной... Сразу, напрямки можно ныне делать...

Дрожь прошла по ее пожелтевшему, как вялый лист, лицу.

— Меня бы на твое место, девка, меня бы!.. Рано я молода была, надо бы мне сейчас молодеть... Мне кривой тропкой пришлось ходить... Я это чуяла, волосы на себе рвала, а ничего нельзя было поделаться... Ох, помоги-ка ты мне... сяду поудобнее, каждая косточка болит... Во-от... так... так...

Начала Корзуниха ворошить в памяти давние годы, когда, здоровая, румяная, езживала она по базарам продавать лен и лыко, и как в успеньевскую ярмарку продала она весь воз своего льна мастеру с текстильной фабрики Семену Емшанову. Короткий, как бегучий ручей, был у них разговор на мягком льняном возу, а дело вышло для Дарьи Корзуниной большое — перемена всей жизни.

— Я ведь за Маркела тоже ради угла замуж шла... Мать-вдовуха слезно молила... А тут начала я, таючись, с Сеней жить... Все бы в дому этом оставила, ничевошеньки не жаль, — человек-то был Сеня золотой...

— Что ж... не пошла к нему?

— Уходила-а... Не боязлива была — хотела на фабрику поступить, в прядильный цех...

Отучневшее от долголетнего лежания тело тяжело дернулось, расшатав скрипучую кровать.

— Так уцепился за меня дьявол-то, му-уж! Я бойкущая была, работа в руках словно горит, за что ни возьмусь — все хорошо выходит... «По этапу, кричал, тебя приведу, с позором домой верну»! А сам распоследними словами бранит меня, да еще издевается: «Разве, говорит, можно со двора такую работницу отпускать?»

— Ну... а... Семен-то?

Старуха собрала щипком рубаху на груди.

— О-ох! Взяли как раз Сеню-то, взяли... Против царя он шел... Вырвалась я потом в город, в тюрьму пошла... Говорят мне: в Сибирь угнали.

Старуха смахнула пальцами слезу, крепко растерла грудь.

— Вот и осталась я жить... Для чего? Руки на себя наложить силы хватило бы, да жизнь во мне крепко сидела, не выбьешь... да и Платошка родился...

— Его... Семенов он?

— Его-о... Только не по мне и не по Семену он уродился: слабым вышел Платон — в черных думах его выносила. Думала я: авось старость мужа постылого возьмет, а я крепче его, переживу, не дам сынка бедного в обиду. Живу, молчу, сердце кипит, деваться ведь некуда, своего часа жду-дожидаясь... Платоша тихий рос, будто с пеленок тяготу чуял... По бумагам Корзунин, а так — только мой. Зато большаки оба в отца. Жа-адные, злые, а ума будто и вовсе нету... все жадность съела. Будто чужие они мне.

На морщинистом лбу старухи выступил крупный пот, пальцы здоровой руки дрожали.

— Когда советская власть пришла, на глазах все меняться стало,— хотела я уйти от них, постылых... На седую голову свою не поглядела — рванулась... Ан силы-то уж нет: трахнуло меня параличом... Лежу вот колода колодой... лежу-у...

Старуха закусил губу еще крепкими зубами и замесалась в бессильной тоске. Платок сполз ей на шею, надо лбом растрепались запыленные сединой пряди курчавых волос, и только свалывшаяся на затылке каштановая, с медным отливом коса еще хранила в себе остатки прошлой жизни.

— Чего глядишь, беспомощная?.. Думаешь, это я... каюсь?.. Нет!.. Себя жалею, о пропащей жизни тоска ест... будто ржавею я вся...

В ней смерть и жизнь сцепились в бесшумной и невидимой другим упорной борьбе.

Когда Марина вышла во двор, показалось, что отовсюду несет затхлым, мертвенным духом, а заборы и стены служб обступили безвыходно, как гробовые доски,— вот здесь год за годом гибла Корзуниха.

В растворенную дверцу, через неровные гряды в корзунинском огороде, взгляд Марины перемахивал к зеленым пышным грядам баюковского огорода. И екало сердце женщины, а в ушах больно и зловеще звенело. Марина всхлипнула:

— Господи-и... что ж делать-то мне-е?

Вечером за занавеской было тихо, только хрипло

дышала старуха, молчаливая, недвижимая, и опять, казалось, готовилась к смерти.

Приезжая в город, Корзунины прежде всего направлялись в народный суд узнать, когда будет разбираться их дело.

Маркел до последней черточки уже изучил озабоченное лицо делопроизводителя в нарсуде, даже частенько во сне его видел.

— А что, дорогой гражданин... дело-то наше когда будут разбирать?

Делопроизводитель досадливо листал какую-то тетрадку.

— Не скоро. Дела со встречными исками выделены особо.

Маркел растерялся:

— Когда же это, гражданин доро...

— Сказано, кажется, ясно? — повысил голос делопроизводитель. — Не скоро, осенью.

У Маркела заняла вдруг спина, затрясло руки. На базаре стоял у воза со старой картошкой оглушенный, отупевший. Сдавая кому-то сдачи, просчитался на пять рублей, из-за чего Прасковья долго и обиженно ворчала.

Маркел редко чувствовал себя виноватым, а тут опустил голову. По дороге домой вдруг совсем ослаб и даже слег, вытянувшись на сене во всю длину.

Прасковья остановила лошадь и обеспокоенно наклонилась к темному лицу свекра.

— Ты чего, тятенька? Ведь будто здоров из дому поехал?

Маркел глянул мутно.

— Суд-то, Прасковья, суд-то осенью, говорят.

— Что ж? Видно, ждать придется.

— Ждать... А Ермачиха-то...

— Чего Ермачиха?.. Скажет что надо, немало ведь мы ей посулили.

Маркел горько свистнул.

— Не желает она суленого ждать. Давай, грит, сейчас. Подлая старушонка... Ныне раненько встретил ее — хмурится, да и на уме еще что-то держит.

Он тоскующе взглянул в нежно-золотое небо.

— Боюсь я... как бы надбавки не запросила... Скажет: «Мало, еще давай».

Прасковья дернула вожжами и беспокойно завози-лась на месте.

— Как это еще? Чай, неплохо даем ей... Даем пудовик муки да коты, еще добрые вообще.

— А ты вот поговори с ней,— уныло сказал Маркел,— такая яга...

— Поговорю-ю! — угрожающе протянула Прасковья, и коротенькие ее брови запрыгали.

Прасковья нетерпеливо подхлестывала лошадь и составляла в уме гневную речь, обращенную к Ермачихе.

— Вот... ужо уйму я тебя, яга жадная, уйму-у!

Но унимать Ермачиху не пришлось. Она будто наперед знала, зачем пришла к ней Прасковья. Встретила она корзунинскую сноху неприветливо, прислонясь спиной к давно не беленой печи, и даже присесть не пригласила:

— Неча, матушка моя, зубы мне заговаривать... Дура я была спервоначалу, что за этакую безделку согласилась грех на душу брать... Все бедность моя, сиротство... сын-некудышный...

Прасковья, сдерживаясь, чтобы не закричать, сказала с укором:

— Ты за пряжей, что для людей прядешь, небось все ляжки себе отсидела,— а чего тебе дают? Много ль?

— А хоть сколь дают — не твое дело! Душой зато не кривлю! — отрезала Ермачиха.

Прасковья тяжело вздохнула и погрозила:

— Ой, не юли! Сразу ведь знала, чего от тебя нам надо... Да ведь и все знают, что Марину Баюков на улицу выгнал.

— А все знают, так и поди к ним,— опять отрезала Ермачиха.

Прасковья испуганно вспыхнула.

— Ну, ну... я ведь так... Ты скажи прямо — чем недовольна?

Ермачиха отошла от печи и хныкающим голосом заговорила:

— Сами знате, какая моя жизнь. Только вот ручень-

ки и кормят... Мне бы вот сейчас мучки-то получить, чай, посулами не накормишься... Коты-то я подожду, летом и босиком ладно... А вот хлебца-то у меня нету... Да и то сказать, милая, всего-то один мешок муки. И опять сиротство мое помянешь... Когда приварок-то плохой, мы с Ефимом муку быстро съедим... Ох, дешево, касатка, совсем дешево выходит...

Прасковья побледнела — самые худые предчувствия старика оправдались: не только сейчас дай, но еще и мало.

— Что же ты, Ермачиха, матушка... пока товар не отдадут, деньги, говорят, не получают.

— Ве-ер-но-о! — ядовито пропела старуха. — Так мой товар вам вовсе другой... Вона где он у меня сидит! Чай, я его другим-то не готовлю.

Она раскатилась дробненьким смешком и похлопала себя по лбу.

— Товар мой я вот где храню...

И вдруг, оборвав смех, приказала:

— Притащи-ка сейчас хоть пудовичок... У меня квашню ставить нечем... Вот и принеси, голубушка!

— Чай, сама можешь прийти! — одурев от неожиданности, сказала Прасковья и тут же спохватилась: батюшки, сама старуху к закромам подводит!

Ермачиха заторопилась:

— Ладно, ладно. Дай платок накинута.

Прасковья будто не своими ногами пошла с Ермачихой домой. Невыносимо больно было глядеть на пустой мешок в руках Ермачихи. Как это она, Прасковья, допустила такое? Когда обещанное вперед раньше выполненного дела отдадут — не будет от этого добра...

Матрена трясущимися руками держала безмен. С крючка свисал мешок с мукой.

Маркел и Семен стояли в дверях амбара, молчаливые, опустив плечи под тяжестью необычайного: в первый раз ни за что ни про что уходило со двора их кровное добро. Прасковья, вся сжавшись, сидела возле высокого мучного ларя.

Андреян, мрачный, со страдающим лицом, сосчитал точки на старинном железном безмене и отрывисто сказал:

— Будет. Пуд.

Ермачиха сощурилась:

— Пуд ли, голубчики?

И сама начала рассматривать точки на длинном тяжелом рычаге безмена. Матрена, глядя на Ермачиху ненавидящими глазами, казалось, хотела пронзить насквозь старушечий затылок.

— Этак палец переломишь. Верно ведь, не обманывают тебя... господи-и!

В ее голосе непритворно зазвенели слезы.

Старуха, покачав головой, взвалила мешок на плечи. Ее жующие губы выражали сомнение. Она стояла и неторопливо встряхивала мешок плечом, будто не замечая злобных взглядов, которыми провожали ее. Выпрямляясь и кряхтя, сказала весело:

— То ли мучка легкая, то ли я, старушка, еще крепкая — что-нибудь одно!..

Ей никто не ответил ни слова.

Первым разразился Андреян.

— Это по какому праву ты распорядилась, Прасковья? Все равно как по ветру добро развеяли!.. В жизнь свою этакой дуры не видывал!

Матрена, уперев руки в бока, надрывалась:

— Губами прошлепала, как кобыла дохлая... Этакую муку, сухую, добрую, как на свадьбу, и всякой прощелыге отдавать!

Она еще шире раскрыла рот, но Маркел круто повернул ее за плечо.

— Во дворе не орать — людям слышно! Айда в избу!

Прасковью ругали все, а муж не заступался — Прасковья провинилась.

Напоследок Матрена как ножом пырнула:

— Не по праву и полезла ты с Ермачихой говорить. Ты младше меня сноха. Надо место свое знать!

Прасковья тут не сдержалась:

— Как так? Я на пять годов тебя старше.

— Знаем, что перестарком тебя взяли, — да ведь Семен-то второй сын, а мой мужик — самый старшой.

— Ах ты подлая! — вскипела Прасковья, багровея тонкогубым лицом. — Знаю я, как ты парням на шею вешалась...

— Я? — задохнулась Матрена.

— Ты-ы!.. Оглохла, что ли?.. Все парни тебя боя-

лись... Язык да руки у Матрены-де такие, что слабенького мужика в первую же ночь прибьет.

Не успела Прасковья злорадно хохотнуть, как Матрена сбила с нее платок.

Снохи запутались пальцами в волосах друг у дружки и, одичало сопя, чуть не упали на пол, тут же разнятые властными мужичьими руками. Маркел, отодвигаясь и бешено грозя пальцем, шипел:

— Чертовки долговолосые! Чисто с цепи сорвались... Только посмейте задирать еще, на мужьев ваших не погляжу, сам за волосы оттаскаю. Только в грех вводите... Брысь!

Большаки толкнули к рукомойнику своих растрепанных жен.

— Ступайте, глаза промойте. Еще кто увидит вас этакими... срам!

Матрена, громко всхлипывая, гремела в сенцах рукомойником. Она была вспыльчива и в сердцах свирепа на язык. И сейчас только собралась сказать Прасковье что-нибудь оскорбительное, как вдруг увидела во дворе Марину.

Марина не знала, что произошло, и шла размеренной походкой, неся на коромысле две тяжелые корзины выполосканного белья.

Матрена мигом вспомнила Ермачиху, мешок, уплывающий из двора на ее спине, и вновь злобно вспылила:

— Вот из-за кого страдаем!.. Ишь, она ходила тряпье свое полоскать, а мы тут мучайся, обижай друг дружку...

Марина, побелев и часто дыша, поставила корзину на верху лестницы и обратила ко всем напряженное, осунувшееся лицо.

— Чего опять?.. Ведь своего-то я почитай ничего и не стирала... все ваше.

Прасковья махнула рукой.

— Добро из-за тебя пропадает — вот что.

Все заговорили враз, наперебой, наседая на Марину. Маркел, всех выше, седой, косматый, с бородищей торчком, как старая матерая коряга; большаки, одного роста, бороды черны, густы, груди и плечи широкие, как неотесанные плахи; Прасковья, тонколицая, высокая, как жердь; Матрена, приземистая, крепкая, круглобокая, — все они наступали на Марину, окружая тесным,

душным кругом, как крепко сколоченные заборы корзунинского двора.

— Все из-за тебя, бессовестная, к Ермачихе-ведьме наше кровное добро утекает!

Вытянув вперед руки, будто боясь, что ее вот-вот сейчас задушат, Марина крикнула:

— Что вы, что вы? Я разве просила вас к Ермачихе-то идти? — и, оглушенная треском голосов, закрыла лицо руками, будто лишилась слов.

— Сколько ты добра-то нам стоишь, — а от тебя где оно? — взвизгнула Матрена.

Марина вскочила на ноги, будто ей ожгло спину.

— Где у вас совесть-то? Сколько добра с моего двора к вам перешло... а?

Поднялся шум. Большаковы жены, забыв недавнюю ссору, сыпали слова, как горох сквозь прохудившееся решето, сближали по всякому поводу имена Марины и Платона, обливали их грязной руганью и попреками.

— Будет вам, будет! — раздался вдруг позади дрожащий от гнева голос. Все обернулись — и увидели Платона. Он стоял на пороге, весь трясаясь, как в лихорадке. бледный, с блуждающим взглядом, упираясь ладонями в дверные косяки и будто боясь упасть без этой опоры.

— Вы что же это тут делаете... а? Не всякий зверь на беззащитного кидается, а вы живую душу так топчете, так терзаете, что от вас хоть в петлю или в воду бросайся... Не троньте ее... Марину мою! Она мне жена... Она жена моя... и не смейте больше ее терзать... Я... я... в сельсовет пожалуюсь! — И вдруг, задохнувшись от непосильного напряжения, Платон пошатнулся. Марина подбежала к нему, обхватила его обеими руками, прижалась головой к его груди и воскликнула со смелостью отчаяния:

— Да, да! Бежим на улицу, будем кричать на весь белый свет... нету нам жизни!..

— Верно-о! Кричи на весь белый свет, кричи! — вдруг гулко прозвучал голос старухи Корзуниной. — Зверье в логове хоронится, а настоящие люди на свету живут.

И все сразу замолчали. Из-за печи, раздвинув одной рукой вылинявшую занавеску и страшно перевалившись тяжелым парализованным телом над краем кровати,

смотрело на них грозное лицо Корзунихи — с такими глазами выходят люди на последнюю, смертную схватку с врагом.

— Дьяволы широкопастые!.. Жадность в вас всю душу съела... Вам бы только хватать, копить да лютовать... Человек для вас дешевле гвоздя... Только в лапы вам попадись, так вы, словно воронье, в клочья раздерете... Платошенька, сынок, уходи ты от них... уходи... Мне уж недолго... а ты — забирай Марину и уходи...

Задыхаясь, она ловила воздух пересохшими губами и свалилась бы на пол, если бы Платон и Марина не поддержали ее.

— Будя! Наслушался! — прогремел Маркел и шагнул к старухиной кровати.

Корзуниха не мигая встретила его взгляд.

— Чего тебе еще надо, погубитель?

Старик сумрачно глянул в жаркие, ненавидящие глаза жены и, тяжело отчеканивая слова, сказал среди наступившей тишины:

— Неча тебе рыпаться. Нет более твоей возможности — отвоевалась. Будешь буянить — в амбар отнесем, живи там.

Старуха тяжело всколыхнулась вся, кровать под ней тягуче заскрипела. Приглушив голос, старуха будто напоила каждое слово жгучей насмешкой и ненавистью.

— Удивляться, что ли, буду?.. Да ты бы и заживо в яму меня бросил, досками бы закрыл... Только закона боишься, кулачище подлый, погубитель!

Маркел вырвал из руки ее занавеску и, плотно задернув, сказал:

— У меня крест на груди есть — такую колодищу человечью не трону. Наказал тебя бог за грехи, пришиб, лучше не надо. Лежи, о кончине думай — вот твое дело.

Но все чего-то испугались, и перебранка сразу утихла.

Когда по приказу Маркела все вышли во двор, старик с наигранной укоризной обратился к Платону и Марине:

— Побойтесь вы бога, — разве вас кто гонит отсюда? Зачем лишний шум поднимать? Вам же хуже будет — неужто смекнуть такое не можете?.. Вот тяжбу выиграем, и сразу вам обоим легче станет: и пожени

гесь по-людски, и дом себе начнете ладить. Так ли я говорю... а?

— Оно, конечно, так... — забормотал Платон, усталый, размякший после своей неожиданной вспышки.

Марина, тоже снова оробев, только кивнула головой.

— Да куда ж они пойдут? Кто их пригреет? Кроме нас, некому, некому... — затараторила Матрена. — Уж как батюшка-свекор вам посулил, так оно и будет!

Перед сном старик опять поверял своему домашнему Спасу нескончаемые тревоги и заботы: неладно стало в доме, порядок держится как на ниточке — чуть дернуть легонько, все повалится с грохотом, все как с ума сойдут. Невиданное дело: даже забитый Платон и эта бездворовая, «богоданная сношка» Марина подняли голос. Сегодня Маркел уgomонил их, а завтра — неизвестно, удастся ли это ему.

В первый раз явственно, своими словами, а не молитвами чудотворцев, высказывал Маркел долголетнему корзунинскому Спасу-помощнику новую мольбу: пусть умер бы от лихой какой болезни Степан Баюков. Маркел не особенно испугался этой своей мольбы — видно, бродила она раньше в темных неведомых тропках его сознания и только теперь вышла наружу. Опять ему было неизвестно, о чем думает узконосый, корявый Спас, — и Маркел, жалобно сморщив лицо и обмахивая себя крестами, до тех пор отмерял земные поклоны, пока не устал до головокружения.

Когда подошло горячее время жатвы, Степан Баюков сказал брату:

— Нечего и думать нам с тобой, Кольша, все споровить самим по дому... надо нам домовницу искать.

— Что и говорить: голодные насидимся, кто-то должен по дому распоряжаться, — согласился Кольша, загорелый и окрепший и, улыбнувшись, добавил: — Жениться бы тебе, Степа!

Степан нахмурился.

— Сейчас, браток, не до того. Вот прикончим тяжбу с Корзуниными, тогда и о невесте можно подумать.

Степан не признался брату (зелен еще), что стал присматриваться к девушкам, но ни одна не задела его сердца. Он поделился с Фйногеном своей заботой: надо пока что пригласить хорошую домовницу.

— Есть, есть! — обрадованно заявил Финоген. — Как раз к нам моя сродственница приехала из города. Двоюродного моего брата дочка, одна как есть сиротка на свете. Может, она и согласится на время.

Финоген рассказал, что девушке девятнадцатый год, звать Олимпиадой. Отца у ней убили в начале гражданской войны, и Олимпиада пять лет прожила в детском доме; года ее вышли, ей дали свидетельство об ее школьном образовании и хорошем поведении. Девушке захотелось повидаться с родными, и она приехала погостить в деревню.

— Из нынешних, комсомолка. Городская, а деревенской работой не гнушается... ни-ни... И на поле, и по дому все делает в лучшем виде. Все тебе разъяснит с терпением, уважительно. А как все сделает, сейчас за книжку... и, скажи пожалуйста, так тебе все перескажет, что будто вот ты сам эту книжку прочел.

— Это хорошо, — похвалил Степан. — Но...

— Чего там «но»!.. Девушка сурьезная. Это я только к тебе, для уважения, отпускаю Олимпиаду... всем нам она уже полюбилась. Говорю тебе, только в помощь тебе, ценному человеку, такую возможность предоставляю. Уж поверь, домовница будет хорошая, сам увидишь. Лишь бы согласилась.

Степан еще колебался.

— Городская барышня... пожалуй, не понравится ей у нас.

Но так как Финоген уверял и хвалил девушку (да и не хотелось его огорчать), то Степан сказал:

— Пусть придет — тогда поговорим.

Девушка пришла с утра, вытерла ноги о половичок в сенцах, поклонилась быстро, по-городски.

— Здравствуйте!

Стриженные волосы ровной светло-русой скобкой падали на чуть веснушчатые, бледные щеки. Братьям она показалась слишком щуплой и малосильной.

— Справитесь ли, девушка? Работы по двору да по дому порядочно, а мы целый день на пашне, — посомневался Степан.

Девушка негромко засмеялась.

— Напрасно беспокоитесь. Это я на вид только такая, а силы у меня хватит, и к дисциплине в работе я привыкла.

В довольных смеющихся глазах брата Степан прочел: «Говорит-то как, грамотная!»

Оказалось, Олимпиада окончила школу-семилетку, любую домашнюю работу знает, за скотом ходить умеет. Из детдома дали ей, кроме того, свидетельство на мастерицу — может все скроить и сшить.

— Конечно, попросту, но люди были моей работой довольны.

В заключение с выражением милой, совсем детской гордости на лице она добавила:

— Умею шить на ручной машине и на ножной хорошо шью.

— А почему же вы, молодая девица, имеющая образование, не остались в городе? — несколько испытующе спросил Степан. — О родных соскучились... или другая была причина?

— Причина-то простая, — не задумываясь, ответила девушка, — и о родных соскучилась, да и работы в городе не нашла. Искала, искала — нету! Вот, говорят, через два года начнут там строить большой завод — тогда сразу тысячам людей работа найдется.

— Понятно, понятно, — согласился Степан.

Кольша опять подмигнул брату: «Деловая! Подойдет!»

Потом братья заговорили об обязанностях домовницы, — и выяснилось, что Олимпиада все очень толково себе представляет. Степан запнулся было, не знал, какое назначить домовнице вознаграждение. Она спокойно разъяснила, сколько ей должны Баюковы заплатить «по кодексу законов о труде».

— Ого! — удивленный такой осведомленностью, произнес Степан Баюков. — Вы из молодых, да ранняя, даже параграф из кодекса о труде знаете!

— Да почему же мне его не знать? — ответила девушка с легким упреком. — Мне надеяться не на кого, я должна жить своим умом... и, понятно, не хочу, чтобы меня при оплате за работу кто-нибудь обсчитал да обманул.

Ее темно-голубые глаза уже смотрели серьезно и важно, а поза ее была полна скромного достоинства.

Степан вдруг решился и слегка хлопнул ладонью по столу:

— Так жалованье, говорите, вам подходит?

— Подходит. Только еще надо в волости договор подписать, а сначала я запишусь в союз сельхозрабочих.

Степан опять подсадовал вслух:

— Что же, вы нам не доверяете?

Она, будто угадав его мысль, сказала твердо и убежденно:

— Так полагается по закону. А потом... — она строго усмехнулась, — этак лучше и для меня и для хозяев. Нареканий и пересудов лишних не будет.

Степан понял, согласился, досада исчезла. Эта бледненькая, тоненькая девушка делала все как надо. И он уважительно, как опытного серьезного человека спросил:

— Как прикажете звать вас?

Она кивнула, будто разрешая.

— Можете просто Липой звать.

Степан сказал весело:

— Ну, Липа, значит... бьем по рукам. Будете у нас за хозяйку!

Но все же потом с некоторым волнением смотрел на девушку: пришел во двор новый человек. Исподтишка наблюдал, как разместилась Олимпиада за деревянной перегородкой, как бережно развесила на гвоздики несколько простеньких, старательно выглаженных платиц. Потом сняла ботинки и начала осторожно шлепать босиком. Выйдя из-за перегородки, прошлась сощуренными глазами по углам — нашла где-то непорядок.

— Паутину вот надо снести.

Когда Липа вернулась с травяным веником на палке, Степану показалось, что она уже давно пришла в баюковский дом.

В первый раз за столько дней Степан с Кольшей выехали на пашню без заботы о доме — в доме была женщина, глаза и руки у нее были надежные.

В корзунинском дворе о домовнице узнали на другой же день. Матрени раззадорилась и пошла за водой в баюковский двор.

— Пойду погляжу на девку, никого она еще не знает. Попрошу воды из ихнего колодца.

Вернулась озабоченная.

— Девка-то из этих, нынешних, городская. Стриже-

ная, говорит гладко, нос дерет высоко — не тронь, мол, наших. Я воду накачиваю, а она двор мести бросила, да еще и учит меня. «Поскорее, говорит, гражданка, воду качайте, боюсь вам в воду напылить, а дела мне еще много».

— Тьфу! Хитрущая, людей не хочет допускать, вот что,— возмущенно догадалась Прасковья.

Марина слушала, закусив губы. Подробно рассказывала Матрена про деваху в баюковском дворе и особо заметила, что домовница не из красивых. Однако Марина успокоиться не могла: само появление домовницы на баюковском дворе несло с собой для Марины какие-то неприятности. Марина подсмотрела домовницу из огорода. Видела, как деваха окапывает гряды и напевает себе что-то под нос, а ее русые волосы так и вьются по ветерку.

Домовница напевала что-то веселое. А Марина, сгорбясь за кустом, остро ощущала заскорузлые свои ноги и руки, грязное платье — и вдруг возненавидела в работающей за хозяйку девахе все: и лицо, и белый выглаженный платочек на стриженной голове, и ловкие руки.

«Ишь, тебе песни, а мне слезы... Распелась, бесовестная, в чужом дому».

Деваха показалась Марине полной самых черных мыслей, самой ужасной хитрости.

Вернувшись в избу, Марина вдруг сама начала разговор, сделалась необычайно словоохотливой, горечью и злой догадливостью своей заразила всех.

— Думаете, зря этакая продувная в чужое хозяйство пришла? Только и видит, поди, как бы ей Баюкова окрутить. В городе-то такие все вольные да хитрые... Вона... какое старанье девка показывает, к хозяину подъезжает!

Появление домовницы в баюковском дворе наполнило беспокойством корзунинский двор.

Ужинали все вяло. Не разошлись спать, как обычно, а остались сидеть во дворе, переговариваясь приглушенными голосами.

Все были согласны с Мариной, что «стриженная» пришла во двор Баюкова неспроста: подольстится к Баюкову и женит его на себе.

— Такой не больно баской мужик, как Баюков, на

лицо глядеть не станет, коли бес его заберет,— горячилась Матрена, и опять все с ней согласились: домовница хоть и не из красивых, но молодая, а Баюков теперь один, крепок и здоров.

Таких единомышленных разговоров давно не бывало в корзунинской семье. Один начинал, другой дополнял, остальные поддакивали.

Если домовница не успеет скоро окрутить Баюкова, это еще полбеда. Но вот ежели он начнет с ней жить скоро и она власть над ним заберет, тогда будет совсем худо. Тогда не один будет держаться за добро, а двое. Баюков начнет двигать дело дальше, будет упорствовать — и, глядишь, у Корзуниных не выйдет ничего.

Марина вдруг взвизгнула длинно, ноюще, как зверушка, попавшая в капкан:

— Видно, руки на себя наложу-у!

Ее плечо толкнулось в грудь Платона, и в робкой душе его что-то больно и зло содрогнулось; вспомнилось блаженное время, когда Баюков не жил дома. Платон сипло сказал:

— Видеть его, краснорожего, не могу! Сколько зла может один человек другим устроить!

— Это верно,— мрачно согласился Андреян.

Марина, громко сглатывая слезы, метнула сжатым кулаком в ту сторону, где пышно цвел огорд на ее бывшем дворе.

— И ведь живет, зловредный, не подавится!

Маркел, вдруг почему-то оживясь, хохотнул, закашлялся. Его дрожащий, торопливый голос, казалось, родил какие-то особенные, легкие, скользкие слова. Казалось, каждое из них проплывало в темноте и юрко исчезало, оставляя после себя ядовитый следок.

— Хо... этакому подавиться!.. Сказала ты, бабонька... Этакий здоровущий да занозистый мужик два века может прожить. Для него надо смерть десятью глотками скликать али прямо на плечи ему посадить — только тогда, глядишь, сдастся!

Все вдруг замолчали, а Маркел тягуче зевнул и закрестил рот.

Уже меньше стали говорить деревенские о распри двух соседних дворов. Все уже привыкли видеть, как понурая Марина, невесело гремя ведрами, обходит ко-

лодец за две улицы, чтобы не идти мимо бывшего своего двора. Привыкли и к тому, что Степан Баюков и вся семья Корзуниных при встречах огрызаются, отплевываются и перебраниваются.

Крепче всех задира́л старик Корзунин, изобретая новые попреки, ухмылки, выискивал самые злые и обидные для Баюкова слова. Сыновья не отставали от отца, и в их маленьких глазах горела тяжелая ненависть.

Степан тоже не оставался в долгу и усвоил себе один способ «уедать» Корзуниных: бросить сквозь сжатые зубы рывком одно-два слова, посмешнее, поглумлявее, и пройти мимо, беспечно насвистывая.

Платон, как и Марина, старался не попадаться на глаза Степану. Недогадлив, неговорлив был Платон, да и стыдно было чего-то перед Степаном.

На всяких бабьих сборищах судачила Матрена Корзунина, нигде не упускала случая насесть на баб.

— Кто лучше-то: мы или он, Баюков? Мы вот бабу пригрели, кормим, поим.

Ей возражали:

— Чай не даром. Работает на вас.

Матрена разливалась:

— И-и... милые! Какая тут работа по нашим нынешним достаткам! А в роду нашем еще одна баба уж и лишняя стала, по совести скажу.

Или уверяла всех горячо:

— Вот в свидетели к нам не хотели пойти. А чего боялись? За такие дела, как наши, советская власть горой!

— Залюбила ты ноне советску власть!

Бойкая баба не сдавалась:

— Как хошь назови, а только и мы тоже обхождение настоящее ценим. Поглядим вот, как баюковские дружки опростоволосятся, приедут из суда-то несолоно хлебавши.

Бабы, идя домой, говорили:

— Ах ты батюшки мои, вст язык-то!

— И секет, и рубит — не остановится.

— Откуда что берется? Прямо чисто митинг завела.

Прошел сенокос. Завалили все вышки пахучими охапками свежего сена,— высокие уродились ныне травы на поемных лугах.

Степан, уминая последнюю охапку сена, потный, красный, не сдержал удовольствия и подмигнул домовнице. Она слегка вспыхнула и нахмурила тоненькие брови на белом лбу,—загар не льнул к ней.

— Что ж тут особенного? Постарались — и земля дала что надо,— и Липа замолчала, поведя бровью,— такая у нее привычка, если что не так сказано.

Степан не обиделся — домовницын нрав он уже знал. Иногда он даже побаивался ее неторопливой, раздумчивой насмешки, ранней самостоятельности.

Не спрашиваясь, она сама кончала работу, старательно умывалась, меняла платишко.

— Ну! Теперь до вечернего удоя свободна.

Или:

— До ужина все сделано.

Знакомых девушек у нее было мало, потому за ворота выходила редко, а в свободное время садилась на крылечко с работой. Или подперев щеки кулаками, низко глядела в книжку близорукими глазами. Кольша удивлялся:

— Куда вам столько ума, Липа?

Она отвечала сухо, дергая худенькими плечиками:

— Привыкла я, люблю книги.

Поворачиваясь спиной, она всем видом своим показывала, что недовольна: зачем мешают, кажется, она свое дело знает.

— Не лезь, говорят! — сердито обрывал Степан брата, досадуя, сам не зная на что. Может быть, из-за того, что в такое время Олимпиада как бы отдалялась, уходила в свой мир и не желала никого туда пускать.

Однажды она сказала, поежив губы усмешкой:

— Хороший вы человек, Степан Андреич, а все-таки не нравится вам, когда женщина хочет по-своему жить, своим умом раскидывать.

— Ну что вы, право, выдумываете,— смутился Степан.

— Чего выдумала? Не скоро это старое мнение уйдет, будто вот только у мужчин голова может варить.

Степан, слегка растерявшись, проворчал:

— В деревне бы прожила — такой зубастой не была.

Липа повысила голос:

— Деревне еще умнеть надо много.

Степан только крикнул — с такой девахой немного наспоришь.

Но, хоть иногда и досадовал на нее, уважение к домовнице все росло.

Как-то в разговоре с братом Кольша предположил: «А вдруг Олимпиада уйдет?» Степан даже испугался, сам не зная чего. Не мог себе представить, как это во дворе вдруг не будет Олимпиады. И, вспыхнув по уши, подумал, что выход один: жениться на домовнице. Но поди докопайся, что у нее на уме. Как она о нем думает?

Когда Баюков видел в зеркальце свое большещекое лицо с облупившимся от солнца коротким, толстоватым носом, волосы цвета поздней соломы, маленькие глазки, хмурился и бормотал: «Нда-а», — старался не глядеть на Липу и мрачнел.

Без женщины уже брала тоска, но мысль о гулянке гнал, хотел жениться.

В сравнении с Мариной Липа казалась бледной, слишком худенькой, но зато в ней было немало такого, чего у других Баюков не замечал. А какая она хозяйка! В огороде пышно принялись овощи, при ней посаженные: картошка розовая, крупная, цветная капуста, белая «слава» и брюссельская, мелкая, нежными завитушками, горошек зеленый «мозговой». Все это никогда еще не росло в его огороде. Это все по почину домовницы — хорошо и в хозяйстве и в городе такая овощь идет.

Все тверже Степан думал: «Вот после суда непременно скажу, что намерен жениться».

Когда Баюков брал за себя Марину, знал, что она выйдет за него обязательно, но не знал, какая она, Марина, — глупая или умная, хитрая или прямая. Он просто дурел возле нее, кровь его нетерпеливо кипела. С Липой же выходило совсем по-другому: выискивал у нее в глазах теплоту, дорожил каждым приветливым словом, дорожил ее мнением о себе, хотел проникнуть в ее думы, упорно присматривался, заглядывал: «Залетная ты птица под моей крышей или думаешь вить гнездо?»

Ничего не сказав Липе, Степан вскоре съездил в город и подал заявление о том, что желает развестись с Мариной Баюковой.

О готовящемся разборе его встречного иска Степан еще ни разу не разговаривал с Липой, да и она его ни о чем не спрашивала.

«Не замечает — ну и пусть! — решил он про себя. — Мне самому эта история осточертела!»

Но Липа, как вскоре оказалось, не только все замечала, но и составила свое мнение о непримиримой вражде двух соседских дворов. Услышав очередную перебранку между столкнувшимися на улице Кольшей и Матреной Корзуниной, Липа неодобрительно сказала Баюкову:

— Остановите вы брата, домой позовите!.. Ведь он еще мальчишка, а бранится, как пьяный мужик... Нехорошо!

Баюков позвал брата домой. Но по выражению лица домовницы он видел, что она продолжает думать о чем-то своем.

«Такая востроглазая, ясно дело, ничего не пропустит», — размышлял он, уже тревожась о том, что думает Липа о нем.

После ужина Степан нарочно завел разговор о дворовой распре. Липа выслушала его короткий рассказ и раздумчиво вздохнула.

— Конечно, бывает так в жизни... может человек другого разлюбить... но все-таки нехорошо.

— Что нехорошо? — забеспокоился Баюков.

— Зачем же все так свирепствуют? Словно звери, право.

— А!.. Молоды вы еще, Липа... мало еще в жизни видели, чтобы так сурово судить, — обиделся Степан. — Вы еще не знаете, как это горько, если человек...

— Да разве тут в человеке дело? — прервала она, смотря на Баюкова упрямо поблескивающими глазами. — Я этого не вижу. Я другое вижу: из-за добра, из-за собственности вся эта распря разгорелась.

— Из-за собственности... хм... Слышишь, Кольша?

— Так ведь и верно, Степа, — наивно поддакнул младший брат. — Мы — за наше добро, а Корзунины — за свое...

— Вот, вот! — с коротким смешком ввернула Липа. Баюков заговорил еще горячее:

— Вы вроде упрекаете — собственность, добро крестьянское, из-за которого, мол, люди свирепствуют...

Об этом только говорить легко, а на деле иное получается: вот я — крестьянин, хлебороб, живу от своей пашни, огорода, коровы и так далее... Возможно ли мне, как и всякому другому, без самого необходимого прожить? Городскому человеку не нужны плуг, борона и многое другое по хозяйству, а я, крестьянин, без всех этих вещей ни шагу, мне без этого просто дышать невозможно. Как же не дорожить мне всем этим, как не беречь нажитое честным трудом?

— Я не о том, — тихо, будто с сожалением произнесла Липа и снова вздохнула. — Пожалуйста, имейте все, что нужно для хозяйства, живите культурно... разве я против? Но чтобы все было по-человечески!

— О-очень интересно получается! Мне по-человечески относиться к Корзуниным, к этому кулацкому гнезду? Полноте, Липа!

— Я вот слышала, что многие женщины жалеют, что ваша жена...

— Она мне больше не жена!

— Ну... бывшая ваша жена попала, люди говорят, будто в ад какой-то, что у Корзуниных ее обижают страшно...

— Сама в этот ад сунулась... Знала, с кем спозналась. Мне до этого никакого дела нет... А вам, девушка, нечего заступаться за нее... подлую обманщицу... И давайте лучше прекратим этот разговор! — задрожавшим голосом закончил Степан.

Липа покорно кивнула и ушла к себе.

«Погрустнела», — ревниво отметил про себя Степан. Он думал теперь о ней все с большей нежностью, но и с досадой: к чему ей тревожиться об этой дворовой распре, если это ее совсем не касается.

«И уж хоть бы до суда не встречаться совсем с Корзуниными!» — пожелал он себе.

Но Корзунины, как назло, не упускали случая напомнить о себе. На другой же день Матрена, увидев сидящего у окна Степана, злобно крикнула:

— Ишь, святой какой сидит, газету читает... а сам себе уже завел... — и далее произнесла по адресу домовницы столь непотребные слова, что внутри Степана все закипело.

Он высунулся из окна и, не помня себя, ответил Матрене такими злобными и бранными словами, что и

эта языкаястая баба поперхнулась и поскорее отошла.

— То-го! — передохнул наконец Степан, садясь на место, и увидел в дверях комнаты Липу. Она стояла молча и внимательно смотрела на него.

— Что? Слышали? — спросил он неровным голосом. — Вот как враги мне жить не дают... да и вас еще смеют задевать... а я этого уже спустить не могу, сами понимаете.

— Спасибо, конечно, что заступились за меня, — сдержанно сказала Липа. — Да только я этих скверных людей не боюсь: пусть болтают что хотят — душа моя чиста.

Она замолчала и, прислонившись к косяку двери, о чем-то задумалась.

— Как же это выходит у вас, Липа? — начал Степан. — Только что вы утверждали, будто все корзунинские нападки для вас ничего не значат, а сейчас вы чем-то недовольны и даже вроде запечалились... Как и понять вас?

— Я не о себе, а о вас сейчас подумала, — быстро и твердо ответила Липа.

— Обо мне? Что же... что же вы подумали? — снова взволновался Баюков.

— Вы... член партии, Степан Андреич? — спросила вдруг Липа.

— Член партии. Еще в Красной Армии вступил.

— Член партии... вот видите.

Липа помолчала и вдруг устремила на Баюкова строгий, прямой взгляд.

— Я вас уважаю, Степан Андреич, и поэтому мне горько, что вы, член партии, ставите себя... — как бы это выразиться? — ну, вот будто вы на одной доске стоите с этой, например, Матреной: она бранится, а вы — еще пуще... Нехорошо!

Баюков побледнел и закусил губу, не найдя что возразить.

— Вот что... — вымолвил он. — По-нят-но. Да, нехорошо... признаю это. Ладно. Таких перебранок с моей стороны больше, ей-богу, не повторится... И брату то же самое закажу.

— Спасибо, — улыбнулась Липа и вышла из комнаты так, будто выпорхнула.

Дочерна загорелая старая нищенка, присевшая в те-

ни корзунинской бани, хлебала вчерашние щи из глиняной плошки и терпеливо слушала жалобы Марины на горькую жизнь.

Нищенка спросила осторожно:

— Да как же, родная, ты этак очутилась-то?

Марина, потупясь и вздыхая, рассказала, как «слюбилась» с Платоном.

— Самое себя теперь ненавижу!.. Дура, дура просто-волосая, все для мужика забыла... А что вышло? И Платона, и меня все попрекают, словно только для баловства это было, на короткое времечко... Да ведь, может, так и есть, дурь все это... а вот работа, хозяйство — на всю жизнь... Не ценила я ничего, от сытости башку глупую с плеч сняла... Вот впилась в меня тоска, впилась, как клещ... и не пускает... Лучше бы мне помереть!..

Было время, Марина тосковала о Платоне, злобясь на мужа,— но что значила в сравнении с прошлой эта новая упорная тоска?

Марина металась в бессоннице, мечтала о ранних вставаниях под петушью задорливую песню, как бы вновь и вновь видела суетливых кур, клюющих просо, свиные рыла, парные от свежего пойла, мягкую морду Топтухи — всю привычную жизнь своего бывшего двора. Мычанье Топтухи, сытое похрюкивание свиней казались ей теперь напевнее самой заливчатой гармонии. Кажется, позови ее сейчас Степан, просто для работы по двору,— пошла бы, только бы не томиться здесь. Но на баюковском дворе уже распоряжалась другая, которая вот-вот станет хозяйкой дома. Об этой чужой, враждебной ей женщине, которую пока что все звали домовницей, Марина не могла думать без боли и тоски, от которой замирало сердце.

Наконец Марина не выдержала и решила пойти на баюковский двор. Сама не знала, чего ей нужно, но шла, истомленная одной жаждой — увидеть, опять увидеть свой бывший двор. Подойдя к дому с улицы, Марина была уверена, что Степан с Кольшей на пашне. Так и оказалось — их дома не было. Марина толкнула калитку, перешагнула через подворотню — и в груди захолонуло.

Двор чисто выметен, выровнен, земля похожа на туго прибитый половик. Длинные жерди сверху сняты,

и солнце свободно, золотыми потоками гуляло по двору.

В дверях хлева стояла Топтуха, тяжелая, с тучными боками. Марина подумала: «Стельная ходит».

Она протянула дрожащую руку, чтобы потрепать жирную Топтухину шею, но корова фыркнула, повела мордой и отошла — забыла, забыла скотина Марину, свою хозяйку.

Дверь в избу была открыта. Тяжко дыша пересохшим ртом, Марина поднялась по ступенькам.

В сенцах под рукомойником умывалась домовница. Она была без кофты, в юбчонке и голубой сорочке. На табуретке лежал кусок розового мыла, от которого пахло, как от ярмарочных леденцов.

— Здравствуй! — холодно и неприязненно бросила Марина. — Чтой-то рано начала мыться, день-то долгий.

Домовница намылилась еще раз и, отфыркиваясь от пены, сказала спокойно:

— Не ходить же неряхой весь день.

Марина, кивнув на мыло, злобно спросила:

— Богато, видно, живешь?

— На свои покупаю.

— Как... тоись... на свои?

— Жалованье получаю.

Марина поджала губы — чем бы ущемить наглую девку?

— Жалованье получаешь... А корова пошто дома снует?

Домовница, неторопливо утираясь, возразила:

— А чего зря стельную гнать по жару? Дома хорошо поест.

Девушка накинула на себя белую кисейную кофточку и, застегиваясь, спросила:

— Да вы кто такая?

На щеках у нее от умывания пробился легкий румянец, а голубые глаза были чисты и прозрачны, как стекло.

— Вы не слышите? Чего, говорю, вам надо?

Марина вдруг захрипела, будто что душило ее.

— Кто я?.. Баюкова Марина! Хозяйка вот двора этого... Вот кто!

— А-а... — слегка оторопев, сказала домовница, но тут же нашлась: — Если поговорить пришли с Баюко-

вым, так подождите, он скоро с пашни обедать придет. Сядьте вон у ворот и подождите.

— С-спа-си-и-ибо-о! — с рыдающим смехом крикнула Марина, одурев от бурного удушья ненависти. — Гонишь меня, как собаку... за ворота... Ты, ты... вошла сюда на готовенькое, мной накопленное... да еще издеваешься надо мной. Ты... воровка... Да!

— Вы... в уме ли? — и домовница побледнела, как холстина. — Какое имеете право оскорблять меня? Уходите, уходите, пожалуйста!

Марина, тяжело дыша, стояла против той, что уже наверняка, как ей вдруг представилось, готовилась стать хозяйкой дома. Эта голубоглазая вдруг стала так ненавистна, что Марина грубо выкрикнула ей в лицо:

— Спишь уж, поди, с ним... Тихоня!

— Что-о? — уже грозно повысила голос домовница. — Уйдешь ты или нет?

И она легонько, но решительно отодвинула Марину локтем.

Марина словно ожглась и вдруг, прыгнув вперед, бешено зажала в цепких пальцах стриженные девичьи волосы, скрутила их и потянула вниз.

Домовница вскрикнула и, ловко извернувшись, вырвалась из рук Марины.

— Ах... ты! — зазвенела она, залившись гневным румянцем. — Еще и дерется!.. Так я тоже сдачи могу дать!

И, чувствуя себя незаслуженно оскорбленной, девушка с такой силой толкнула обидчицу в спину, что бывшая хозяйка баюковского двора еле удержалась на ногах.

— Вот, вот! — шумно передохнув сказала Липа. — Зря на человека не кидайся... и уходи, уходи подобру-поздорову!.. Хозяева мои обещали домой обедать приехать... я пироги ныне пекла для них.

— А-а! — взвизгнула Марина. — Ты пироги, а я сухую корку со слезами ем!.. Ишь, разъелась тут на чужих хлебах!..

И, ничего уже не помня, сна налетела на Липу, сбила ее с ног и протащила по земле, ломая худенькие руки домовницы.

И вдруг будто невидимой силой Марину так подняло за плечи, что все в ней замерло. Над ней наклонилось

страшное, с горящими глазами лицо Степана. Его пальцы еще раз встряхнули ее и с силой отбросили к воротам.

— Ты... еще драться пришла?! Мало вы, дьяволы, крови мне испортили.

Что-то говорила избитая домовница, а Степан уже поднимал ее, гладил растрепанные волосы, а потом, осторожно обняв, повел в дом.

Полуобернувшись и не глядя на Марину, он бросил зло и твердо.

— Проваливай! Чтоб духу твоего здесь больше не было!

В открытых воротах стоял Каурый и смотрел на Марину косым взглядом, как на чужую. Марина, шатаясь, вышла на улицу.

Уложив Липу в постель, Степан долго не мог опомниться от потрясения. Бросив все дела, он только и сидел около домовницы, менял холодные компрессы на ее исцарапанном, избитом лице, на шее, на руках, а сам повторял:

— Липа, Липушка... из-за нас пострадала, из-за нас... И как это я, дурак, недоглядел?.. Как это я мог забыть, что и на тебя мои враги накинута?..

Липа, отдышавшись немного, уже сама стала его успокаивать.

— Да ничего, Степан Андреич, пройдет... Вы только не смотрите на меня... нехорошая я сейчас с этими ужасными синяками...

— Ты всегда хороша, всегда! — горячо уверял Баюков и, вдруг, наклонившись, поцеловал руку домовницы.

Кольша чуть не вскрикнул от удивления — никогда не видел он, чтобы старший брат поступал таким необыкновенным образом!

А когда, успокоившись, Липа заснула, старший брат, еле дыша, тихохонько снова поцеловал руку девушки.

«Вот как она ему мила! — сочувственно подумал Кольша. — Да и разве Липу сравнишь с Мариной? Липа меня обижать не станет... она ведь умная и добрая!»

Пока Липа спала, братья Баюковы условились между собой: до выздоровления Липы Кольше придется взять на свои плечи все заботы по хозяйству.

— Ты дома, а я на поле, — сказал старший брат. —

Уж ты, Кольша, о ней... о Липе заботься как следует, по-братски!

— Для Липы все сделаю! — с горячей готовностью пообещал Кольша. — Знаешь, Степа, она для меня и впрямь как старшая сестра!

Весь день Корзунины, особенно Маркел, на разные лады попрекали Марину:

— Людей бы тебе скликать: вот, мол, изверг-то мой... Есть ли кто дурней этой бабы?.. Досталось этакое чадушко на нашу шею, господи, отец наш небесный... видно, за грехи какие...

Вечером, когда Марина месила квашню, старуха хрипела ей из-за печи:

— Ох, все ты не так делаешь... Нет разума в тебе, мечешься зря... Вот ежели бы такое дело со мной было...

Марина в ответ только беспомощно зарыдала.

Утром Степан вышел за ворота и обомлел: ворота были жирно вымазаны дегтем. Кто-то так постарался, что даже вся земля под воротами была закапана дегтем.

Сбежались соседи. Степан бил оземь сапогами и кричал:

— Они это, они... дьяволы проклятые!.. Вот, будьте все свидетели... видите, что делается!

Финоген разъярился и махнул всем рукой:

— Айда туда... к этим злыдням!

Никогда еще Корзунины не слыхали такого стука: в ворота будто грохотал гром... Толпу возмущенных людей встретил невозмутимый Андреян.

— Хоть везде обыщи, у нас даже и дегтя-то нигде нет... Идите, сами поглядите!

Андреян с готовностью распахнул калитку и даже пошутил:

— Вона, гляньте сами... телега уж давненько не мазана стоит... ужо в городе дегтя придется купить.

Телегу осмотрели и отошли в сторону. Кое-кто пробормотал: «А шут их знает!»

Степан замолчал, хотя в груди у него все кипело — ясно, что это Корзуниных дело, только концы в воду спрятали.

Выходя, он не заметил, как зажглась злоба в насупленных Андреяновых глазах.

Лихо заломив выцветший на деревенском солнце красноармейский шлем, Степан, еле сдерживая гнев, вразвалку зашагал по улице. Поупрямиться бы Степану и заглянуть в огород — из запертой корзунинской бани услышал бы он медвежий храп. Это спал пьяный Ефимка, сын Ермачихи. Не только руки, но и лысеющая его голова были в дегте.

Дома горько и жалобно плакала оскорбленная домовница. Степан, не сдержав взволнованного сердца, бросился к ней, прижал ее к себе и заговорил жарко и отчаянно:

— То есть... Липа, не обращайтесь внимания на этих негодяев! Я без вас жить не могу, люблю вас... Люблю тебя, Липа!.. Я во всеуслышанье объявляю, что считаю вас своей невестой... ежели вы только этого факта пожелаете. Липа, я всем об этом расскажу... Чтоб никто, никто не смел обидеть тебя, Липушка моя дорогая!

Вечером зашел Финоген. Пораженный известием о новом происшествии на баюковском дворе и больным видом племянницы, Финоген сделал и свое заключение:

— Ох, Степан Андреич, тут не только синяки, а и козни кулацкие! Желательно им, подлецам, мешать тебе всячески, душу твою мутить... чтобы у тебя не только свое, но и общее дело валилось из рук!.. О-хо-хо... не упустить бы нам наши сроки, Степан Андреич... успеть бы нам наше товарищество по всем статьям узаконить... Нельзя нам дольше мешкать с этим делом!

— Это верно,— смутился Степан и покраснел. — Замешкались мы... да все вот вражья сила мешает...

— В город надо немедленно поехать, поторопить прохождение наших бумаг, а то люди наши сильно тревожатся,— настаивал Финоген.

— Верно, все верно,— опять покраснел Баюков. — Я бы хоть сейчас в город поехал, да, вот видишь, несчастье какое у нас с Липой приключилось...

— Что, что? — вдруг удивительно свежим голосом отозвалась Липа и, приподнявшись, сняла со щеки и со лба повязку, пропитанную свинцовой примочкой.

— Да что вы! Обязательно и немедленно поезжайте!.. И ты, дядя (она кивнула Финогену), все другое отложи... и действуй вместе с товарищем Баюковым...

А обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь... Наоборот: когда я буду знать, что вы оба важное для народа дело продвигаете, мне все легче будет, я `скорее поправлюсь.

Ее голубые глаза смотрели требовательным и вместе с тем ласково-сияющим взглядом, от которого лицо ее, несмотря на синяки и царапины, показалось Степану таким красивым и родным, что сердце в нем забилося с новой радостной силой.

— Липа! Обещаю! — торжественно заявил он, встав с места и выпрямившись, как на смотре. — Обещаю вам, что сделаю все для того, чтобы мы, товарищество по совместной обработке земли, могли бы засеять в срок под озимь нашу новую пашню.

— Эх, хорошо! — не выдержал Финоген. — Уж так-то, братцы мои, хорошо!.. Завтра утречком выедем с тобой в город, Степанушко.

Так и сделали. В городе все дела по товариществу были закончены, и теперь ожидали прибытия комиссии по землеустройству. Степан навел также справки и на-счет своего бракоразводного дела; ему сказали, что скоро ему и Марине пришлют повестки.

По дороге к дому Баюков посвятил Финогена в свои «сердечные планы», сказал, что полюбил Липу и хочет жениться на ней. Правда, она еще не ответила ему, любит ли она его и согласна ли стать его женой.

— Ну... да когда ты все это выпалил — подумать надо! — засмеялся Финоген. — Девушка от побоев еще опомниться не успела, а ты ей с маху: жениться, мол, на вас желаю!.. Уж ты погоди, дай ей поправиться... Да ведь она у нас, сам видишь, какая: будешь ей по душе, пойдет за тебя, а не по душе, так она и...

— Буду стараться, Финоген Петрович, чтобы она полюбила меня. Без Липы мне жизнь не в жизнь... вот как я ее полюбил, — страстно говорил Баюков.

— Кто спорит, девушка того стоит, — спокойно соглашался Финоген. — Только ты ее не торопи и уж ни-ни... приставать не вздумай... Она не из таких: мигом соберется — и была такова.

— Что ты, что ты! — испугался Степан. — Да она для меня больше чем икона.

— Вот и правильно.

Однако больше всего Финогена занимали мысли о будущих, совсем близких переменах в хозяйственной

жизни. И успешное продвижение дела так радовало его, что в деревню он въехал с песнями. Стоя рядом с Баюковым и смешно побалтывая ногами в порыжелых сапогах, Финоген громко напевал дребезжащим тенорком:

Улица ты, улица широкая моя,
Травушка-муравушка зеленая-я...

Маркел Корзунин глянул на улицу и тут же отпрянул от окна.

Ишь распелся, старый козел... видно, с какой-то удачей едут.

— Господи... и когда эти заботы адовы кончатся? — вдруг заплакала Прасковья.

Забота, беспокойство и ссоры прочно поселились в корзунинском дворе. Одной из самых докучных забот оказалась Ермачиха. Старуху будто подменили. Давно ли она за все угодливо благодарила, кланялась низко, выговаривала уважительно, прислушиваясь к каждому чужому слову. А теперь возомнила о себе невесть что, начала прекословить, даже явно задирала. Не однажды на неделе заявлялась Ермачиха на корзунинский двор. То просила «черепушечку масла», то трясла замызганным мешочком и просила «насыпать крупки», то ее «на капусту соленую потянуло» — словом, лезла, липла, как грибная сырость.

Будто не замечая перекошенных лиц и свирепых глаз хозяев, она с добродушной ужимкой еще приговаривала:

— Не скупись, матушка, клади смелее... Чай, человеку идет, а не собаке... Скушаю за твоё здоровье.

Она приходила развязная, с веселым хихиканьем, в полной уверенности, что отказать ей не посмеют.

Уходя, она подмигивала и прятала под фартук «да-янье радетелей».

— Прячу уж, голубчики, прячу от людей. Еще скажут: с чего это Корзунины ей надавали, чай, они не из щедрых. А я... ни-ни... никак вас выдавать не желаю...

В корзунинском дворе ее возненавидели дружно, свирепо, как коршуна, что нападает на кур среди бела дня. Все вздрагивали, менялись в лице, когда видели ее семенящую походку.

— Ермачиха идет!

Однажды снохи заперли на засов калитку. Ермачиха

поняла, что ее не пускают. Она яростно застучала в окно и показала темный жилистый кулак.

— Вот как людей цените... выжиги! Я за вас грех на душу беру, а вы меня в шею... Дождетесь, осрамлю, все обскажу про вас!..

И снохи оторопело отворили калитку. Через некоторое время старуха опять пошла домой с черепушкой масла и мешочком гречи. Тут не стало больше сил даже у молчаливой Прасковьи — взвыла скупая, прилежная баба:

— Ой, да что же это будет, голубчики? Ведь разор же это, прямой разор!.. И без того времена для нас тяжелые, а тут еще эта карга навязалась! Как за своим приходит, а добро из дому — словно вода сквозь решето... Когда ж это кончится, господи-и?..

— Завыла! — презрительно бросил Маркел, но все видели, что он согласен с Прасковьей.

В этот вечер Корзунины особенно долго говорили о своих горестях и кляли Ермачиху.

— Разорит она нас, проклятая...

— Пока суд да дело, она нас, как коза, обдирать будет.

Мрачнели мужики, горюнились бабы, и казалось, не вечерняя только тьма густеет над двором, а ползут, копятя, как мрачные тучи, новые, непредвиденные беды, перед которыми все они бессильны.

Очередные новости о том, что делается на баюковском дворе, принесла сегодня Матрена. Сначала она рассказала, что домовница уже поправляется, что Баюков по этому поводу рад-радехонек, — она сама слышала, как он с младшим братом говорил об этом в огороде.

— Вроде не мужичье дело в огороде-то копать, — осудила Прасковья.

— А это Баюковы свою красотку берегут от лишней работы, — с ехидным смешком разъяснила Матрена. — Она, вишь, в избе лежит-полеживает, синяки свои разными примочками отмачивает, а Баюковы, ее жалеючи, сами бабью заботу справляют...

— При мне такого никогда не бывало, — ревниво произнесла Марина.

— А тебя, голубушка, так не берегли, как эту! — отрезала Матрена. — И, скажи, чем эта девка Баюкова

приворожила? Стриженная, худа как палка, только глазищи одни горят, как плошки.. О-хо-хо... дура ты, Маринка, неумеха-а! — И Матрена, вдруг лихо махнув рукой, заключила: — Надо бы тебе тогда вдарить девку чем-нибудь по башке... Тут бы ей и крышка! А для нас бы — одним недругом да одной заботой меньше...

— Девка — что, она ведь пришлая, да и городская... не поглянулась — вот она и укатила, — осторожно начал Маркел. — А вот сам Баюков... то дело другое. От него, дьявола, все беды наши, от него и разор пошел нашему двору. Жил бы себе в городе, служил бы в солдатах... умник партейный, так нет, принесла его нелегкая вобрат в деревню, только на горе!

Маркел надсадно вздохнул и, помолчав, продолжал:

— Видел я на днях, как Баюков у себя в огороде старое дерево-сухостой повалил. Силен работать, подлец... в руках у него все так и кипит... А я глядел на него и думал: «Эх, чтоб тебя деревом-то насмерть бы придавило!» Вот бы радость была, вот бы облегчение великое! Большаки... а, как по-вашему?

Большаки повторили широкий отцовский вздох.

— Уж что и говорить!

— Тогда бы ни суда, ни разору бы не было!

— Ох, тогда бы одна любота! — мечтательно заговорила Прасковья. — Никакая тебе Ермачиха со своим Ефимкой и носа бы показывать не смела в наш двор.

— Мелко берешь! — жестко усмехнулся Маркел. — Тогда бы рядышком с нами целый двор появился... во-о! Богатства хотя в нем и нету, а все справно, все к месту прилажено.

— Вот бы счастье-то было для нас с Платоном! — вырвалось невольно у Марины. Но Маркел, будто этого только и ждал, подхватил ее слова и громко повторил их:

— Да, вот уж счастье-то было бы для вас, будто вы оба на свет божий внове родились!.. Ты бы, вдова, сразу к миру... ну... к обществу, как ныне говорят... Так, мол, и так... божья воля. Мужики смирение да покаяние любят... и простят тебе прегрешения твои, баба.

— В ноги бы должна миру пасть, всех упрашивать, — поучал Марину такой же важный Андреян, — простите, мол, грех мой бабий, не корите меня...

— Вымолила бы! — жарко прошептала Марина. — В ноги бы всем поклонилась, а вышло бы по-моему.

Семен поддразнил:

— А потом что бы перво-наперво сделала?

— Перво-наперво, — выдохнула Марина, — девку долой! Осрамила бы и прогнала.

— Верно! — довольно хохотнул Маркел, — а с Кольшей бы, бабонька, как?

— А мы бы его женили, — живо подхватил Платон.

Все ввязались в беседу, каждый со своими пожеланиями.

Кольшу женить, конечно, пустяковое дело. Немного затратиться, парня прифрантить, сваху подкупить, невесту можно взять и такую, что засиделась в девках, — и пусть Кольша идет в «дом», и дальше нет о нем никакой заботы. Потом Корзунины представили себе, как Марина и Платон останутся одни во дворе.

Прасковья сказала:

— Можно бы из нашего в ваш огород дверки изладить и прямо бы к вам за водой ходить... куда бы хорошо...

— Что ж, ладно, нам не жалко, — с готовностью согласилась Марина.

— В баньку бы вашу ходили мыться... — крикнул Маркел. — В нашей пол прохудился, дует в ноги... Надо бы подновить.

— А все, тебе, тятенька, денег жалко, — лёгонько съязвила Матрена.

Большаки подтвердили:

— Зимой в нашей бане хоть не мойся.

Болезненная Прасковья заохала, что от зимнего мытья у ней всегда спина и руки ноют.

— А вот в вашей баньке я уж попарилась бы всласть!

Марина и Платон со всем соглашались, вдруг сразу раздобрев на многие обещания.

Все так увлеклись, что никому в голову не приходило, какой смысл заключался в этой беседе: каждое слово звучало как смертное заклинание, призывающее гибель на одного, виноватого во всем, и никто не скрывал, чего он хочет. В будущем все выходило хорошо — только бы умри Степан Баюков.

— Вот ведь, — вздохнул Маркел, — за иного бога

молят, чтобы жил дольше, а для этого у бога смерти никак не докличешься...

Из избы вдруг вырвался хриплый, надсадный голос старухи Корзуниной:

— Да с вами и бог и черт запутаются — каждая пасть свое требует!

Все вздрогнули, даже в темноте почуяли, как перекосило лицо у Маркела. Он быстро поднялся со ступеньки и затопал в избу.

— Ты что, колода, выговариваешь опять? Богохульница, карга постылая!

За печкой скрипела кровать, а старуха надрывалась гневным криком:

— Вы бы уж до последствий говорили, что вам Баюкова убить охота!..

— Чего, чего? — заорал Маркел. — О доме мы говорили, о дворовой заботе... Не все такие, как ты... Тебе смолodu свой двор был как чужой, ты подол по ветру держала; я и взял-то тебя такую...

И, озлобась без меры на старуху, буйствующую в своем бессилии, Маркел выкрикнул ей в лицо зазорные слова.

— Врешь! — дико взвизгнула Корзуниха, и все услышали ее шумные, хриплые вздохи. — Я за тебя неволей шла, я честная была... Твой двор меня погубил, будь он проклят... будь ты сам прокл...

Старуха вдруг захрипела длинно и жутко.

— Эй! — крикнул испуганно Маркел. — Свету дайте, старухе худо!

Когда зажгли лампу, за печкой было уже тихо. Старуха лежала, распластавшись на кровати, — вторым ударом добило ее насмерть.

Застыла Корзуниха быстро, еле успели обрядить.

Стараясь не глядеть на мертвое лицо свекрови, Прасковья долго держала на правом глазу покойницы медный пятак, оттягивая вниз темно-желтое веко. Но глаз не закрывался, словно старуха и после смерти не хотела никому покоряться.

Народу на похоронах было много. Наверно, всем вспоминалась страдальческая жизнь Дарьи Корзуниной.

— Отмучилась бедная, — громко жалели ее в толпе.

Старуха лежала в гробу большая, широкая, носки врозь, руки, остывнув, своевольно и неловко остались ле-

жать вдоль тела. На желтом лбу покойницы темнели круто сдвинутые брови, зубы угрожающе блестели из-под приоткрывшейся верхней губы, будто и в могилу унесла с собой Корзуниха последнее, проклятие своему постылому двору.

Маркелу, кажется впервые в жизни, стало не по себе. Давно мысленно приговорив к смерти старуху, он был уверен и в том, что люди уже забыли его непутевую жену и, значит, похороны ее пройдут незаметно. А проводить Дарью до кладбища собралась вся деревня. Среди людей, косо посматривающих в его сторону, Маркел заприметил баюковских свидетелей.

И недоброжелательные взгляды, которые бросали люди в сторону Маркела, большаков и снох, и разговоры, которые довелось ему слышать, встревожили его.

— Сколько их за Баюкова стоят — целая орава! — ворчал он, сидя дома за ужином.

— Еще прицепятся, черти, и к старухиной смерти... вона ведь что на похоронах болтали: горькая, мол, была ее доля, замучил, мол, Дарью муж, вышиб, мол, из нее здоровье... и тому подобное... Это, положим, мое было дело, мне сам бог велел Дарью учить, насчет этого я уж давно перед Спасом моим ответил... А вот эти, нынешние... они для меня сатаны хуже... господи, прости меня, грешного!

Встав из-за стола и перекрестившись на темный лик икон, Маркел сурово приказал домашним:

— Молитесь крепче! Одна у нас надежда: на помощь божию. Молитесь!

— Уж как молимся-то, тятенька! — плаксиво промолвила Прасковья. — Уж как страждаем! Скорей бы только это погибельное дело избыть.

Но пришлось «избыть» еще одно дело, о котором все Корзунины как-то забыли. На имя Марины Баюковой прибыла повестка, приглашающая ее явиться в город «для расторжения брака со Степаном Баюковым».

— Вишь что делает! — только и нашелся Маркел.

— Это он жениться задумал, — шипела Матрена. Большаки гудели:

— Ох, что-то будет... На суде-то Марина уж не жена окажется, а вовсе чужая.

— А это Баюкову и на руку.

Решено было, что в город с Мариной поедет Матрена.

Всю дорогу Матрена изводила Марину попреками:

— Свалилась ты камнем нам на голову... не жилось тебе, дура, с мужем... в своем дворе, опозорилась, проворовалась, вот и выгнали тебя, как паршивую собаку. Коли своего ума у тебя не хватало, с людьми бы советовалась, межеумок несчастный.

— Я и советовалась с вами, со всеми,— горько отвечала Марина.— Вы за советы свои хорошо с меня получали.

— Те получки уже давно зажиты: кто тебя поит кормит-то ныне? Мы, Корзунины, твои благодетели.

— Не задарма, чай, кормите,— всхлипнула Марина.— Работую на вас хуже батрачки, позже всех ложусь, раньше всех встаю... Господи-и!

— Она еще и отвечает, она еще и смеет!.. Ах ты... мышь бездомная!.. Вот как сброшу тебя с телеги, топай пешком в город! — мстительно крикнула Матрена, и Марина замолчала, глотая слезы.

Пышная, румяная заря поднималась на небе, но Марина не замечала ее.

Женщины вернулись из города уже поздно вечером. Как ни устала Матрена, а все-таки переполнявшая ее злость толкала рассказать, как прошло «расторжение брака».

— Будто на смех съездили: дела-то всего на час оказалось... Худого слова не говоря, скорехонько развели мужа с женой. Мы с этой вот бабой,— Матрена презрительно кивнула на Марину,— притащились как сдуру, как безъязыкие — слова сказать не умеем... А Баюков свою просьбищу как припечатал — ой, хитер, умен, проклятый... И все по его вышло, все по его. Не желает, мол, жить с такой-то... И на тебе — получай, мужик, свободу!

— Но ведь и я не хотела с ним жить... — начала было Марина.

— Молчи! — рявкнула Матрена. — Лучше бы жила да жила с мужем, бессовестная! Чего только и надо было дура малоумной?.. Так нет, разврату захотелось, бесстыдница ты!

И каждый из Корзуниных добавил к этим жестоким словам еще новые оскорбления.

Когда наконец все замолкло в доме, кто-то тихо вошел в сени и тронул плечо Марины.

— Платошенька! — шепнула она и, забыв обо всем, прижалась к его худой груди.

Только начала она бессвязным шепотом рассказывать Платону о своих печалях, как дверь распахнулась, и в сени вошел Маркел.

— Будет! — прошипел он и, как щенят, отбросил в разные стороны Марину и Платона.

— Вы чего тут?.. Ишь... нищие оба, а тоже — охота беса тешить!.. Ваших ублюдков кормить некому!..

Марина долго лежала во тьме, дрожа, давясь слезами и ненавистью к Маркелу и ко всему корзунинскому двору.

«Запалить бы их всех...» — думала она, бессильно томясь и задыхаясь от ужаса.

Вернувшись из города, Степан не удержался и сказал Липе:

— А у меня большая новость! Я теперь свободный человек, Липочка!

Липа неторопливо подняла на Баюкова серьезный взгляд.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— С женой я развелся, свободный теперь человек... можете меня поздравить! — и Степан хотел было рассмеяться, но выражение лица девушки остановило его. Темно-голубые глаза ее еще строже посмотрели на него, а румянец, окрасивший ее бледноватые щеки, показывал сердитое недоумение.

— А зачем вы мне об этом объявляете, Степан Андренч? Кажется, я никогда вас ни о чем таком не спрашивала.

«Не торопи ее!» — вдруг вспомнился Степану совет Финогена, и Баюков, спохватившись, растерялся.

— Конечно, конечно, Липа, — виновато заговорил он. — Но кому же я могу о таком деле рассказать, кроме как вам... и прежде всех?.. Ведь я же вам тогда... в тот день, помните, душу свою открыл... И я думал, что вы на такую новость не рассердитесь, а даже наоборот... и потому я...

Степан, окончательно запутавшись, умолк и огорченно махнул рукой.

Липе стало жаль его, она сдержанно улыбнулась.

— Сердиться мне зачем? Но, Степан Андреич, подумайте обо мне... Ведь я к вам поступила как домовница, я от вас жалованье получаю... я, сирота, своим честным трудом хлеб себе зарабатываю... и хочу, чтобы и вы, и люди меня уважали...

— Липа, голубушка, да что вы...

— Нет, погодите, Степан Андреич. У вас сейчас так получилось, будто я ожидала того, что вы мне объявили.

Девушка покраснела до слез, и Баюкову стало так совестно, будто он хотел обидеть ее.

— Липушка, милая! Да ведь вы же знаете, что я вас люблю... вы мне свет в окошке... Вот опять повторяю вам: выходите за меня, будьте моей женой!.. Ну, хоть завтра же... чем скорее, тем...

— Нет, так торопиться не следует,— рассудительно сказала Липа.— Мы среди людей живем... и всякий о нас с вами скажет: сегодня с одной развелся, а завтра уж на другой женился... А тут еще этот суд предстоит... Ах, Степан Андреич...

— Понимаю! — громко и торжественно произнес Степан.— Понимаю, Липа дорогая!.. Нет, я так не поступлю, чтобы вас люди уважать перестали. Наоборот, я так сделаю, чтобы все увидели, как вас уважать надо за вашу добросовестную отличную работу! Да, да!.. Так оно и будет!

— Подъехал кто-то! — прислушалась Липа. Баюков взглянул в окно.

— Батюшки! Сам секретарь нашей волостной партячейки... Николай Петрович Жерехов прикатил... Обещал — и вот приехал! — торопливо говорил Баюков, обдергивая на себе гимнастерку и приглаживая волосы.— Милости просим, Николай Петрович! — радостно кричал он уже во дворе.

Секретарь волостной партячейки Жерехов, сухощавый, долговязый блондин с заметно редющими на макушке волнистыми волосами, приостановился на крыльце и, обмахиваясь фуражкой из сурового полотна, с улыбкой оглядел баюковский двор.

— А ведь без жердей-то куда лучше стало, товарищ Баюков! Пожалуй, ты первый в деревне придумал двор осветлить... а?

— Не совсем так оно выходит,— с улыбкой замялся

Баюков. — Я поддержал и согласился, а придумала наша домовница Липа. «Что это, говорит, целый день ходи в полутьме... просто, говорит, тут ослепнуть можно».

— Домовница? — повторил Жерехов, испытующе покосившись на Баюкова.

— Ни-ни! — решительно произнес Степан, и лицо его приняло строгое выражение, родственное тому, которое бывало и на лице Липы. — Девушка эта, Николай Петрович, отменная, прямо сказать — дороже золота!.. Комсомолка, умница, работающая.

— Так, так... Сколько жару, однако, товарищ Баюков! — еще острее покосившись на него, усмешливо произнес Жерехов. — Ты ведь, я слыхал, с женой разводиться хочешь?

— Да уж развелся, — вздохнул Степан.

— А, вот как. Тогда, значит, ты можешь жениться на девушке, что «дороже золота»?

— С ней это не так-то просто, Николай Петрович. Сейчас она еще не пойдет за меня.

— Это почему же?

— Только после разбора моего дела с Корзуниными мне разрешено поднять этот вопрос.

О твоём этом пресловутом деле, об этой дворовой распре

— Значит, не желает девушка лишних пересудов. Да! уже и у нас в волости знают.

— Откуда, каким образом? — с досадой спросил Баюков. — Я, кажется, никому об этом деле не рассказываю... осточертело оно мне во как!

— Ты не рассказываешь, так люди рассказывают... ваши деревенские, члены будущего тоза. К примеру, Демид да Финоген, твои ближайшие помощники, в прошлый раз, когда у меня были, выражали беспокойство.

— Это насчет чего же?

— Нетрудно догадаться, товарищ Баюков: люди тревожатся, чтобы эта дворовая распря не тянула из тебя силы, не мешала большому общественному делу.

— Это дело мне, как и всем, дорого, товарищ Жерехов, — заметно смутился Баюков. — О нашем тозе я вначале ни на день не забывал, двигал его вперед. Волостная партячейка... и вы, Николай Петрович, в первую голову все это отлично знаете. Но потом действительно... — Баюков замялся, — когда стряслось все это на

моем дворе, было время, закружилась моя голова, закипело сердце, и я... тово... ослабил работу насчет нашего товарищества. Но теперь, сами видите, взял себя в руки.

— Верно, товарищ Баюков, по тозу дела продвигаются вперед. Вот сегодня, например, я к тебе завернул по пути, как обещал, с хорошей новостью.

— Насчет трактора? — обрадованно вскрикнул Баюков.

— Да. Угадал. Трактор вам, тозу, будет предоставлен, трактор вам вспашет всю вашу землю.

Жерехов вдруг круто повернулся к Степану и, устремив на него живой и острый взгляд ярких темно-карих глаз, спросил:

— Ты представляешь, товарищ Баюков, какое значение для всей дальнейшей жизни села будет иметь появление такой необходимой машины, как трактор?.. Прежде о тракторе знали только понаслышке, а тут своими глазами его работу увидят!

— Да уж люди его прибытия как праздника ждут! — радостно сказал Баюков.

— Понятно, понятно! — подхватил Жерехов, но его худощавое лицо с мелкими морщинками вокруг живых, остро поблескивающих глаз быстро изменило свое выражение на серьезное и даже строгое.

— Только вот что, товарищ Баюков, я обязан тебе сказать... и для этого также я заехал сюда: прошу тебя и всех вас учесть, что пока не так-то просто предоставить трактор. Известно, что до революции в России тракторного производства не было, и, значит, нам, большевикам, предстоит создать его. Придет время, когда у нас будут многие тысячи тракторов и других машин, а сейчас пока их немного. А тозы уже есть и еще организуются в разных местах нашей волости... значит, выбирать придется, кому раньше трактор предоставить, на сколько дней... и все такое.

— Понимаю, Николай Петрович... в таком важном деле все надо рассчитать точно.

— И не только это, а и с вашей стороны все должно быть рассчитано, чтобы к приходу трактора все у вас было готово.

— Оно так и есть, можете даже проверить, товарищ Жерехов, все в полной готовности! — воскликнул Степан. — Списки всех желающих вступить в тоз вам из-

вестны. Да и весь сельскохозяйственный инвентарь, наличие семенного материала — все как есть переписано... хоть проверьте.

— А что ж, проверить полезно,— живо отозвался Жерехов. — Когда мы обсуждали на волячейке вопрос о тракторах, я за ваш тоз ратовал еще по одной причине — ты, как главный закоперщик, ведь мой однополчанин.

— Об этом я всегда помню, Николай Петрович,— приосанившись, ответил Баюков.

— Вот о том и речь шла. Я, как бывший командир роты, говорю, что помню, как Степан Баюков храбро дрался в гражданскую войну... уж надо полагать, что и сейчас он не подведет...

— Да уж будьте уверены, товарищ командир! — и Баюков, с широкой улыбкой на лице, вытянулся по военному.

Жерехов глазами улыбнулся ему и спросил:

— А где же мы с народом поговорим? Здесь, у тебя?

— Н-нет... — замялся Баюков, — здесь неудобно... Наша домовница Липа еще не совсем поправилась.

И, боясь, чтобы Жерехов не подумал дурно о Липе, Степан счел за лучшее рассказать все, как было, о недавней безобразной выходке Марины на баюковском дворе.

— Та-ак,— недовольно протянул Жерехов. — Вот как далеко зашла ваша дворовая распря, товарищ Баюков... Может, полезнее было бы для тебя самого прикончить своей рукой эту надоевшую тяжбу... выделил бы своей бывшей жене какую там можешь часть хозяйства... и живи бы она как хочет...

— Нет... уже невозможно прикончить это,— помрачнел Степан, упрямо трясая головой. — Ежели я вот так, как вы советуете, возьму да пойду на мировую, Корзунины всюду срамить меня будут: что я суда испугался, дело приглушить захотел... и тому подобное... И выйдет, что не я обличу на суде весь их подлый обман и воровство — о чем давно все соседи знают,— а Корзунины меня будут позорить. Нет, кулачью измываться над собой я не позволю!

Жерехов взглянул на него, пожал плечами и заметил суховато:

— Что ж... делай как знаешь... тебе и ответ держать.

Решили, что собраться лучше всего у Финогена Волисполкомовскую бричку завели во двор, прибросили коню сенца, а сами неторопливо направились к Финогену. По дороге Жерехов начал вспоминать некоторые боевые случаи, в которых Баюков участвовал вместе с ним. Вспомнил, как повелось в их части «за счет Деникина» пополнять боеприпасы, как несколько таких лихих вылазок было подготовлено и выполнено при самом горячем участии Степана Баюкова.

— Помнишь, Степан Андреич, как в ту ночь белогвардейский пулемет притащили?

— А как мы целый продовольственный обоз, товарищ командир роты, от белых прямо из-под носа увели?

Оба опять расхохотались. Хорошее настроение у обоих держалось весь вечер, пока в низенькой, но довольно просторной и чистой избе Финогена шло собрание членов тоза. После собрания все долго не расходились, еще хотелось поговорить о будущем. Располагало к разговору и веселое лицо Жерехова — он был удовлетворен проверкой, которая показала, что подготовка к переходу на товарищеское земледелие ведется всерьез. Хотя Жерехов прямо не хвалил Баюкова, но всем было ясно, что он доволен им. Недаром несколько раз он называл Степана то «ваш ближайший руководитель», то «ваш наверняка будущий председатель».

Баюков чувствовал себя в этот вечер так, будто не потемневший от времени дощатый потолок Финогеновой избы нависал над его головой, а бескрайное и бездонное небо простиралось над ним, озаряя своим сиянием землю. Эта с детства знакомая земля с ее вековыми межами и узкими, как домотканый холст, полосками теперь представлялась Баюкову сплошным зеленым ковром озимых всходов — первого посева сообща, товариществом. Он видел на знакомых лицах оживление, такое же обновленное, как и земля, в котором читалось светлое, как солнечный луч, нетерпеливое ожидание перемен. Он видел обращенные к нему дозерчиво-ласковые и одобрительные взгляды своих односельчан. И радость сознания, что он трудился для них, словно пела в нем, расширяя грудь. Он совершенно забыл о дворовой своей распре, о Марине, о Корзуниных, как будто всего этого и не бывало никогда.

Уже совсем стемнело. Желтоватое блюдечко луны

то скрывалось за дымчато-белыми тучками, то скользило в просветах между ними. Редкие звезды, как крупинки соли, теплились на тучевом небе, предвещающем дождь. Но Степану Баюкову это небо казалось полным лунного света, оттого что светло и уверенно было у него на душе. Беседующие расположились как пришлось: кто на завалинке, кто на скамье у ворот, кто на длинных бревнах, раскатанных для просушки Финогеном на полянке перед избой.

Лиц не было видно в темноте, только рыже-красные вспышки самокруток временами освещали то чью-то бороду, то кончик носа, то оживленно поблескивающие глаза. Но Баюкову казалось, что все эти знакомые лица видны ему, и каждое с тем особенным выражением, которое отражало собой большие мысли и надежды, владевшие людьми в этот вечер.

Попыхивая самокруткой, Демид говорил Жерехову: — Вот теперь сами видите, Николай Петрович, как охота народу к хорошей жизни подняться. Но, скажу напрямик, охота бы также скорее своими глазами видеть, как дело вперед подвигается.

— Я понимаю, товарищ Кувшинов,— отвечал сидящий рядом Жерехов, в голосе которого Баюкову послышалась улыбка. — Вам, уважаемые члены тоза, охота на свои будущие пашни поглядеть? А?

— Угада-ал! — довольно протянул Демид. — Нас Степан Баюков так на это дело разохотил, что уж не терпится... скорей бы своими глазами увидеть, своими руками пощупать!

— Понимаю, понимаю,— уже засмеялся Жерехов. — Вам охота скорее землеустроителей у себя в гостях видеть... В начале августа... а это уже скоро... землеустроители будут у вас.

— Ждать будем... во как! — весело выкрикнул дребезжащий тенорок Финогена.

— Уж как встретим-то! Пусть только приедут в срок! — подхватили оживленные голоса.

— Чтобы, значит, отсеяться нам по-людски, ко времени, как следует быть! — торжественно подчеркнул Демид.

— Да, да! Говорю же вам: как обещано, так и будет! — громко подтвердил Жерехов. — В первых числах августа землеустроители будут здесь...

Потом Жерехов заговорил о том, что члены товарищества должны во всем подавать пример, как «люди организованные и сознательные».

— И во дворах у вас, уважаемые, всюду должны быть чистота и порядок, и скот должен содержаться культурно, чтобы, например, были не коровенки, а коровы...

— У нас такой любитель уже есть! — задористо выкрикнул Финоген.

— Какой такой любитель? — не понял Жерехов.

— Да насчет улучшения породы скота... коровы, к примеру... Вот Степан Баюков уже не первый месяц свою коровку улучшает — и дело выходит, по-моему... Моя сродственница, что у него домовницей, сильно хвалит это, говорит: важный, мол, опыт... — начал объяснять Финоген.

— Ну-ка, ну-ка? — оживился Жерехов. — Это очень интересно, товарищи. Ты что же, Степан Андреич, мне, однополчанину, о таком опыте не хочешь рассказать?

— Да что вы... Я как-то не додумался... — бормотал счастливый Степан.

— Нет уж, брат, придется тебе показать этот твой опыт... уж наверно в нем есть немало полезного для других. Я на днях специально заеду к тебе... Ладно, а?

— Пожалуйста, Николай Петрович, рад буду...

Жерехов заехал к Баюкову через неделю, дома была одна Липа. Вначале девушка стеснялась, но Жерехов умел быстро знакомиться с людьми — и Липа поняла: этому белобрысому долговязому человеку с живыми карими глазами можно все рассказать.

Липа рассказала, как Баюков посвятил ее в свои планы «сельскохозяйственной пропаганды» на примере своего двора, как со временем мечтал показать своим односельчанам, как он называл, «живой урок культурного ведения животноводства».

Руководствуясь новыми знаниями по животноводству, приобретенными в сельскохозяйственном кружке, еще в Красной Армии, Баюков задумал «преобразовать» свою Топтуху: из «совсем средненькой коровки, путем правильного режима питания и ухода, сделать хорошую, многомолочную корову». Липе это намерение по-

нравилось, и она стала деятельно и точно проводить «курс преобразований». Вначале девушку немного смешила привычка Баюкова выражаться по-книжному, да еще с оттенком наивной важности, будто у него во дворе происходило нечто совершенно необычное. Потом она привыкла к этому иногда приподнятому тону и объясняла его по-своему: «Это он увлекается новыми знаниями, что ему Красная Армия дала... Да ведь и в самом деле таких новшеств, какие он у себя завел, еще ни у кого на селе нету... А кроме того, он себя пропагандистом считает... и ведь, право, все новое и полезное в народе пропагандирует». Так и решила она помогать Баюкову.

Когда братья Баюковы приехали с пашни домой, Жерехов уже все знал.

— Что ж, товарищ Баюков, полезную штуку ты задумал. Твой «живой урок», как ты мечтаешь, дело нужное и полезное.

— Значит, вы и записи на каждый день видели? — спросил довольный Степан.

— Все прочел и все осмотрел... и вижу: дело идет как нужно, чтобы передать опыт другим... Ведь много есть у нас в деревне всякого бескультурья и отсталых привычек... А как бороться со всякого рода пережитками прошлого? Прежде всего личным примером...

— Уж того, что Степа придумал, еще ни у кого нету! — высунулся Кольша, горделиво глянув на старшего брата.

— Цыц! — прикрикнул на него Степан. — Не встревай в серьезный разговор!

— Да, товарищ Баюков, разговор и в самом деле вполне серьезный, — и Жерехов устремил на Баюкова многозначительный и острый взгляд. — Тут ты и как член партии отвечаешь, учти это.

— И как член партии? — повторил Степан. — Что-то я не пойму, при чем тут...

— У коммуниста все при чем, — решительно сказал Жерехов. — Ты член нашей вслостной партячейки, и мы тебя, понятно, считаем первым проводником политики партии и советской власти во всех делах.

— Само собой, понимаю.

— Так вот... этим «живым уроком», который ты готовишь, ты, так сказать, рапортуешь нам о своих достижениях, и не только в границах своего двора... — Жерехов

очертил в воздухе небольшой круг,— но и перед обществом, перед партией. Как секретарь волостной партийной ячейки, напоминаю тебе: члены нашей партийной организации, рассеянные по деревням, укрепляют значение нашей общей работы в народе (Жерехов очертил широкий круг) прежде всего своими передовыми делами, своим опытом.

— Опыт мой, конечно, скромный,— раздумчиво заговорил Степан.— Сказать по правде, товарищ секретарь, не приходило мне это в голову. А теперь вижу, ответственное дело получается... Так уж, может, повременить пока?

— Зачем? Напротив. У тебя уже есть результаты и даже накопился интересный материал... И, значит, уже можно и нужно назначить время, когда можно будет этот «живой урок» на твоём дворе провести. Знаешь, когда лучше всего это сделать? После того, как землеустроители проведут свою работу. Тогда границы вашей тозовской земли будут уже точно определены:

— Настроение у народа еще поднимется, Николай Петрович...

— Да, да... вот тут-то и хорошо. будет устроить этот показ! — оживленно воскликнул Жерехов. — Ударим, что ли, по рукам, Баюков... и вы, уважаемая домовница-комсомолочка, а?

И Жерехов, широко улыбаясь, и глядя молодо и настойчиво поблескивающими темными глазами, протянул руки Баюкову и Липе.

— Ударим по рукам! — весело повторил Степан.

— Буду стараться изо всех сил! — подхватила Липа, и все трое в крепком пожатии соединили руки...

— Вот какие дела завариваются, Липа! — возбужденно говорил Степан, проводив Жерехова. — Наша с вами работа выходит, как говорится, на широкую дорогу... И знайте, Липа, я желаю, чтобы мои односельчане имели возможность любоваться вашей работой, вашим умением, вашими способностями. Вот еще почему я и желаю показать, как вы преобразили Топтуху!

— Но ведь не я выдумала всю эту историю с Топтухой,— с улыбкой возразила домовница.

— Да разве без вас, Липа, у меня получилось бы что-нибудь? — бурно возразил Баюков. — Мы с Кольшей на поле, а ведь по дому распоряжались вы, за ре-

жимом наблюдали вы, животное в чистоте содержали вы!.. Значит, как же после всего этого не поклониться вам? Как не полюбоваться на такое старание ваше?

— Ох, сколько же вы наговорили! — смутившись от его явно любующегося ею взгляда, пробормотала Липа. — А вдруг я не сумею на виду-то у всех результаты показать?

— Вы? Не сумеете?! Да ни в каком разе этого быть не может! — воскликнул Баюков, и в голосе его прозвучала такая страстная вера в нее, Липу, что девушка, тронутая, побежденная, с невольной лаской в голосе сказала:

— Ну конечно, я все должна суметь... и как я обещала, так оно и будет, Степан Андреич.

— Рад-радехонек буду за вас, Липа! — воскликнул растроганно Баюков. — Помните, я недавно говорил вам, все, мол, сделаю для того, чтобы люди уважали вас, члена Ленинского комсомола... и замечательную девушку!..

— Ну-ну... — мягко предостерегла Липа. — Уши развесить на похвалу... это комсомольцам не полагается... А затем — ужинать пора.

Пока Липа собирала ужин, Баюков втихомолку любовался ее легкой походкой, точными, бесшумными движениями, ее бледненьким, но таким милым лицом с опущенными ресницами и строго сжатыми розовыми губами.

«Самостоятельная! Умница моя!» — думал он, боясь в то же время обнаружить перед ней свои чувства и от этого еще больше дорожа и любуясь ею.

После ужина к Баюковым зашел Финоген, и Степан на целый час засиделся с ним на скамье у ворот, рассказывал о посещении Жерехова, а больше всего говорил о Липе.

— Только ее и вижу своей женой, Финоген Петрович! — горячо шептал он. — Знай об этом... И ежели ты с моим намерением согласен...

— Я, конечно, согласен, Степа, — ласково прервал Финоген, — но ведь сам видишь, какая она, Липа-то наша... молода, а норовиста — силком да нажимом ее, брат, не возьмешь.

— Ох, да разве я не знаю!.. Но вот надеюсь я сильно, что после того, как «живой урок» пройдет на моем

дворе, уж тут я приступлю к ней с сердечной моей просьбой... А ты меня, Финоген Петрович, поддержи. Ладно?

— Само собой, Степа, поддержу.

Потом Степан еще посидел один, покуривая и глядя на звездное небо, среди теплой, родной тишины. И, как все чаще с ним случалось за последнее время, он опять совершенно забыл обо всех неприятностях, связанных с корзунинским двором, как будто вообще их никогда не было.

Но у Корзуниных о Степане Баюкове помнили всегда. Бойкая проныра Матрена раньше всех других приносила в дом новости.

— Эх-х! — мрачно вздохнул Маркел. — Носит сорока на хвосте мороку... ни одной доброй вести!

— Откуда им быть, добрым-то вестям? Не те времена, — вздыхали сыновья.

— Ох, рано ты, тятенька, возрадовался, — суеверно бормотала Прасковья. — Рано ты о прибытке заговорил... Прибыток-то теперь мимо нашего двора ходит... А нажиток ныне к Баюкову во двор идет, к Финогену да прочим...

— Заныла! — оборвал Маркел. — Без тебя тошно!

— Видела я ныне Демидку худоногого, — злобно продолжала Матрена. — Фу-ты, ну-ты, идет так важно, будто не он это у нас в батраках корпел, на дерюжке спал.

— Им, голытьбе всякой, ныне почет да уважение. В старое время сам волостной перед Корзуниными шапку сымал, а ныне волостной приезжает на беседу с этими... Степкой, Демидкой, Финогешкой и прочими.

— А к Степке он и особо ездит, на крыльце с ним посиживает... Вечор я сама из огорода видела — калитка во двор открыта была, — уж так-то ладно волостной со Степкой разговаривал... — тараторила Матрена.

— Степка у волостного первый человек, — добавил Семен. — Слышал я, что они всю землю перевернуть собираются, в бесовский свой тоз народ сбивают... а землю, слышь, всю перемеряют, как холст... один-де край туда, другой — сюда...

— Землю!.. Ври, да знай меру! — рявкнул Маркел. — Земля — это тебе не армяк, сносил, мол, да бро-

сил... Не-ет, шалишь!.. Земля на веки вечные должна быть при мне, потому как я мужик.

— И я слышал, что землю будут переме... — начал было Андреян, но Маркел яростно затопал и замахнулся на сына кулаком.

— Молчать, дурья голова!

Ермачиха, которая по-прежнему редкий день не надоедала своими просьбами, явившись однажды к Корзуниным, тоже принялась было рассказывать о том, что «землю переделывать будут».

— Тише ты... господи-и! — зашептала Прасковья. — Тятенька и слышать о том не может.

Но Маркел, лежа на печи, все же услышал Ермачихино бормотанье.

— Уж хоть бы ты-то, карга, помолчала! — злобно простонал он, потирая ноющие к погоде ноги.

Однако у Ермачихи вдруг оказалось в запасе такое, что сразу привлекло к себе внимание Маркела. Старуха принялась рассказывать, как Баюков обидел недавно ее «злосчастливого сына Ефимушку».

— «Ты что, грит, бездельник, в лесу бесперечь из ружья палишь? А разрешение, грит, имеешь на руках?» Какое такое разрешение? В жисть такого спросу не было с Ефимушки, а вот Баюкову понадобилось!.. Да еще, как на грех, убогонький мой чью-то коровенку в лесу задел.

— Пил бы меньше, тогда кого след бы подстреливал! — ввернул Маркел, и так крякнул, что пугливая Прасковья вздрогнула.

— Ну-ну! — подзадорил Маркел старуху, вдруг проявив к ней внимание, которое даже поразило Прасковью. — Ну, что ж дале-то было?

— Ох, батюшка-а... — заныла Ермачиха, явно стараясь разжалобить Корзуниных. — Бóком ведь вышла та коровенка моему Ефимушке бедному... И всего-то он ей вот этаконький, — Ермачиха показала крючковатым пальцем, — кончик рога пулей состриг.

— Ловок, значит, стрелять! — похвалил Маркел.

— И-и, батюшка... рябцов или там куропаток он что бусинки на нитку нанижет... Охотой его мы и питаемся, сами знаете, милостивцы... А Баюков, на-ко тебе, за ту коровенку уцепился, в волости на Ефимушку что-то наговорил... и потянули моего горемыку к ответу...

— Ну-ну? И что же? — подзадоривал Маркел.

— Да что ж... в волость вызвали, штраф велели заплатить... лодырем обругали и запретили охотиться, пока разрешения не дадут... О-ох, с горя Ефимко мой напился, два дня глаз не продирает... и все грозился: «Убью я этого Степку, убью!»

— Страсти какие! — испугалась Прасковья. — Ты бы лучше молчала про такие его слова.

— Да ведь неразумный он у меня уродился, что дитя малое, — оправдывалась старуха. — Быюсь я с ним как рыба об лед... А расскажешь благодетелям про свое горюшко — глядишь, они, милостивцы, нас и пожалеют побольше.

Ермачиха ухмыльнулась, показав желтые клыки, и сказала другим тоном:

— Может, матушка, на горькую мою нужду наскребешь еще мне... вот этаконькую чашечку масла... а?

— В эту твою «чашечку» целый фунт масла войдет! — с ненавистью отчеканила Прасковья. — Ни стыда, ни совести в тебе, Ермачиха!

— Ладно, ладно... дай ей масла, — добродушно разрешил Маркел.

Через несколько дней утром Маркел, собравшийся было в поле, вдруг вернулся с улицы домой бледный, с трясущимися руками.

— Бабы! Палку мне!.. Палку!

— Что с тобой, тятенька? — с испугом вскрикнула Матрена.

— Волостной... волостной с землемерами на поля проехали, — глухо выговорил Маркел, стуча зубами.

— Тятенька! — растерялась Матрена. — Может, я с тобой поеду... поесть мужикам отвезла бы...

— До еды ли тут? — грозно прервал Маркел, застучав палкой. — Дайкось мне еще дробовик!

— Дробовик? Аль в лес поедешь, тятенька? — вдруг отупев, еще больше растерялась Матрена.

— Ду-ура богова!.. Дробовик, говорю! — загремел Маркел. — Для незваных гостей!.. Только посмей они близко к нашей пашне подойти, я их.. я их.. я покажу им!..

И, потрясая старым дробовиком, Маркел выбежал на улицу.

Проводив глазами телегу, обе снохи в полной растерянности переглянулись, а Прасковья, сама не зная почему, громко заплакала.

В полдень Марину послали отвезти обед на пашню.
— Ворочайся скорее,—приказывала ей Матрена,— лошадь нужна будет... Платошку на лесосеку пошлем.

Прошло больше часа, а Марина не возвращалась.
— Куда это она запропастилась?—злбилась Матрена, бегая от окна к окну.

Прошел еще час, а Марины все не было. Взбешенные вконец, корзунинские снохи накинулись на Платона, который чистил конюшню.

— Где это чертовка твоя гуляет?—закричала Матрена.

— Ума не приложу, где она,—растерянно ответил Платон.— Давно бы должна дома быть.

— Давно бы, давно бы!—передразнила Матрена.— Вам бы обоим только разорять нас... Дома, дома... Разве вы для дома стараетесь?

— Из-за вас, наоборот, добро из дому утекает!—связвила Прасковья.

— Одно слово, дармоеды! Пропаду на вас нету!—завела было опять Матрена, и вдруг Платон громко и возмущенно прервал ее:

— Дармоеды? Это мы-то с Мариной дармоеды? Он разогнулся и—чего еще никогда не бывало—глянул прямо в глаза корзунинским снохам.

— Мы на вас день-деньской работаем, а не только что доброго слова, куска хлеба досыта не видим.

— Да ты что это рот разинул!—окрысилась было Матрена, но Платон опять прервал ее:

— Вот я с самого раннего утра, спины не разгибая, работал, а еще ни ложки варева не дали мне... Зато собаке,—Платон кивнул в сторону собачьей будки,—уже дважды в плошку щец вчерашних подливали... Так, выходит, даже наравне с собакой вы нас не кормите...

— Да уж ладно, ладно—уступчиво сказала Прасковья.— Щи в печке стоят, выну вот... и принесу тебе сейчас.

— Вот и ешь, хоть подавись!..—выпалила Матрена и тут же замолкла—так вдруг посмотрел на нее Платон.

Он успел уже пообедать, когда с поля приехала Ма-

рина. Корзунинские снохи, едва взглянув на нее, сразу почуяли, что она привезла с собой необычные вести.

— Где шаталась? — хмуро спросила Матрена.

— Искала... Приехала на пашню, а там нет никого — ни людей, ни лошади... Поехала туда-сюда... потом нашла... обед отдала... — торопливо рассказывала Марина, но в усталых ее глазах, словно приглушенный огонь, вспыхивали робкие искорки какого-то нового выражения.

— Что было-то? — улучив минутку, шепнул Марине Платон.

— Потом скажу! — и она беспокойно блеснула глазами.

Вскоре, гораздо раньше обычного, вернулись с поля Маркел и сыновья. Тяжело топая по лестнице, Маркел гулко стонал, подвывая, как раненый зверь.

— Тятенька, тятенька... — беспомощно бормотали бородатые сыновья, суетливо поддерживая его под локти.

— Прочь! — взревел Маркел, оттолкнув их руки, грузно ввалился в кухню и грохнулся на широкую скамью у стены. Все со страхом смотрели на его мертвенно бледное лицо с горящими, как угли, глазами.

— Отрезали! — наконец прохрипел он. — Наши полоски, что у речки, отрезали-и!

— К-кто? — заикнулась Прасковья.

— Тоз!.. Все этот растреклятый тоз!.. — прогудел Андреян.

Маркел сидел, закрыв глаза, привалясь спиной к стене и слабо опираясь ладонями о скамью.

Сыновья и снохи переглянулись в молчаливом понимании: лучше так и оставить старика, пусть отдышится. А сами тихонько вышли во двор, где мужья и принялись рассказывать женам, что произошло на пашне.

Не подозревая ни о чем, братья поджидали отца. Он появился перед ними, размахивая дробовиком, похожий на сумасшедшего. По его приказу сели на лошадей и поехали следом за волостными бричками. А впереди всех ехала подвода, на которой сидели Степан Баюков, Финоген Вешкин и Демид Кувшинов. По проселку, кроме того, шли и ехали десятки односельчан. Маркел принялся громко убеждать «не быть дураками безмозглыми», «не поддаваться антихристам», не позво-

лять им «трогать божью землю». Одни просто отмахивались от него, другие насмехались, а третьи, оскорбленные им, отвечали бранью. На развилке полевых дорог, где был проведен митинг, Маркел, снова обозвав всех «антихристами» и совсем разъярясь, схватил было дробовик, но сыновья вовремя успели вырвать из его рук старое ружье и спрятать на подводе под охапкой сена. Тогда Маркел начал дурным голосом всем угрожать: уж если «беззаконие» начато, так пусть оно творится подальше от его пашни, а всякого, кто посмеет приблизиться к его полоскам, он встретит «по-свойски» и проклянет такими страшными словами, которые каждому «беззаконнику» принесут несчастье.

Волостной секретарь Жерехов спокойно прервал Маркеловы речи и заявил, что «кулацкие проклятия» никого не страшат и что все члены тоза посеют озимое впервые на земле без полосок и межей. А Степан Баюков тут же развернул большой лист бумаги — план нового землеустройства — и объявил Корзуниным, что их полоски у речки отойдут к землям тоза. А Корзуниным вместо этого дадут кусок у леса.

— Так это ж... на сколько верст дальше, и кругом болотина... — запричитала Прасковья. — О-ох, батюшки!

— Не о том говоришь... — раздался глухой и сдавленный голос. Маркел стоял на пороге, всклокоченный, темнолицый, в распахнутый ворот рубахи видна была мохнатая от сивого волоса грудь.

— Об одном помнить надо: пока Степки Баюкова здесь не было, не знали мы такой беды... Все Степка, все он, дьявол! — и Маркел, сжав кулаки, затрясся от лютой злобы. — Не было здесь Степки, и у нас на дворе все было ладно да тихо. Он, он, как бесовская сила, всюду смуту поднимает... и, гляди, все против нас... Теперь уж и не поживешь в спокойе...

Расстроенные Корзунины не заметили, что их беседу слышали два совсем нежелательных свидетеля — Платон и Марина, о которых на этот раз все забыли. А они, услышав тревожный разговор, происходивший во дворе, так и застыли на месте в глубине конюшни, уборку которой уже закончили.

Когда голоса Корзуниных затихли, Марина осторожно выглянула во двор. Там никого не было.

— Слыхал, какие дела? — прошептала она Платону.

В глазах ее, которые он столько дней привык видеть то заплаканными, то опущенными, вдруг вспыхнул огонек незнакомой Платону дерзости.

Они принялись выносить в огород навоз. Шагая позади Платона и сжимая в руках поручни тяжелых носилок, Марина возбужденным шепотком рассказывала:

— Маркел-то уж на что лют был ноне, а ничего не мог поделать, ни-че-го! И боится он всех, кто в товариществе... уж так-то боится-я... — и она тихонько засмеялась.

— Какая ты ныне... чудная, — изумлялся Платон, — словно бы тебя чем одарили.

Марина снова засмеялась, потом оглянулась по сторонам.

— Слушай-ко, что я узнала... Встрелся мне потом Финоген, поглядел на меня. «Ну что, молодка, — говорит, а сам посмеивается, — прищемили хвост твоему названому свекру?» А я вдруг осмелела. «Какой он мне, отвечаю, свекор! Первый он лиходей для меня и Платона!» А Финоген: «По тебе, говорит, видно, в какую трясину попала».

— Значит, пожалел он тебя? — оживился Платон.

— Ясно, пожалел... А потом сказал: «Уж больно вы с Платоном... недотепы оба... Видишь, какие дела делаются на земле-то?.. Без малого, говорит, все середняки, а беднота просто сплошняком к нам в тоз записалась».

— Ишь ты-ы... — догадливо протянул Платон. — Это он, значит, насчет того, чтобы и мы с тобой...

— Я сразу это смекнула, — и Марина, вывалив навоз с носилок, даже тихонько хлопнула в ладоши. — «Ой, я бы, говорю, всем служить стала, только бы от Корзуниных вырваться! Да только вот как же нам записаться-то с Платоном в это самое товарищество, когда мы безлошадные и бездворовые?»

— Вот то-то и оно...

— А Финоген... ох, добрый он человек, Платошенька!.. «Мы, говорит, безлошадных взять не побоимся... Были бы люди работающие».

— Господи... да уж мы бы!.. — горячо вздохнул Платон, любясь разгоревшимся лицом Марины, — никогда еще, со дня их беды, не видал он на ее лице такой уверенности.

Боясь неосторожным словом спугнуть ее настроение, Платон только улыбкой, взглядом и кивками подбадривал Марину. А она, быстро опрокинув наземь носилки, продолжала, смело поблескивая чуть выпуклыми серыми глазами:

— «А жить-то, спрашиваю, все-таки где нам?» Тут Финоген и сказал... ой!.. «А лесу, говорит, вам на избу мы, общество, у Маркела Корзунина вытребуем... Волостной секретарь и Степан Баюков сказывали, что мироедов все сильнее к ногтю будут прижимать... а потом, дойдет время, будет им и совсем конец!»

— Ай-яй, что делается-то! — то и дело восклицал Платон.

Ночью оба долго не могли заснуть — все строили планы, как дальше надо им действовать. Прежде всего обоим вместе надо идти к Финогену — он пожалел, он и совет даст.

— К Баюкову идти присоветует, с ним дело обговорить... ведь Баюков всему тут голова... — шептал Платон, впервые произнося имя Баюкова спокойно и даже с невольным уважением. Марина было расстроилась, боясь, как бы Степан опять не выгнал ее со двора. Но Платон рассудительно успокоил ее: да ведь теперь они оба придут к Степану с добром, а надо будет, так и повинятся перед ним во всем, что по неразумию совершили против него. Да к тому же Марина как разведенная, теперь Баюкову не помеха — он может жениться на другой, а когда счастье близко, человек бывает добрее.

На другой же день Корзунины всей семьей уехали в соседнее село на целый день — посоветоваться со своими друзьями и родичами. Платон и Марина воспользовались этим как нежданной удачей. Оба по душам поговорили с Финогеном, который еще позвал Демида. И тот обещал поддержать перед Баюковым просьбу Платона и Марины.

— Я главный свидетель, — гудел Деמיד, — что Платона у Корзуниных хуже батрака держали. А у нас в товариществе ты, брат, человеком станешь... А Баюков насчет тебя с Мариной препятствовать не будет... а он у нас — голова!

Оба обещали поговорить с Баюковым сразу же, как только тот вернется из города, — Степан поехал туда для «окончательного завершения всех хлопот в земот-

деле насчет прибытия трактора», как важно разъяснил Финоген.

После этой беседы, очутившись в непривычно тихом и пустом корзунинском дворе, Платон и Марина, впервые без боязни, крепко обнялись.

— Ну, Маринушка! Вроде уж конец нашим мукам завиднелся!

— Ох, и я верю, Платоша, верю.

Но когда, по возвращении Баюкова из города, Платон забежал к Финогену, оказалось, что старик еще не успел поговорить со Степаном.

— Лучше я потом поговорю с Баюковым насчет твоей просьбы,— объяснил Финоген. — Сейчас Степан вроде как в горячке: готовится у себя на дворе «живой урок» показать. Старается, хлопочет мужик, чтобы все хорошо сошло. А как это событие пройдет, Баюкову вольготнее будет меня выслушать.

«Живой урок» назначен был на воскресенье, но еще за два дня уже вся деревня знала об этом.

— Эко, гляньте, люди добрые,— издевался Маркел,— совсем захвастался Степка Баюков, закружился, как пес за своим же хвостом... Хочет, бахвал, народ учить, как за коровой надо ходить...

Платон и Марина не замечали, что старик с домашними, запершись на крюк, подолгу сидели в комнате.

— В воскресенье поедешь на лесосеку,— заранее приказал старик Платону. — Запряжешь пару коней... и чтоб воз наложить по-свойски. Понял?

— Ладно.

— А ты, сношка богоданная,— и Маркел ткнул пальцем в плечо Марины,— тебе в воскресенье дома работа найдется... и, значит, отлучаться не сметь! Поняла?

— Поняла.

— То-то.

Чем ближе подвигалось время к воскресенью, тем все беспокойнее чувствовал себя Степан Баюков.

— Интерес к моим нововведениям большой... учтите это, Липа,— говорил Баюков, даже надувая щеки от важности. — Народу придет много, учтите.

— Не беспокойтесь, Степан Андреич, учту,— отвечала домовница, сдерживая улыбку. — Сверх программы, как говорится, я еще целую бадейку квасу поставила, квас будет замечательный... учтите! — и тут домовница смешливо фыркнула.

— Липа! Вы моя опора! — восторженно крикнул Баюков и, забавно, по-петушиному, вскинув голову, затопал в новый коровник, еще и еще раз оглядеть его, все ли в порядке.

— Да уж будет вам! — кусая губы, говорила домовница. — Ведь уж все хорошо!

— Проверить надо, Липа дорогая! — важно отвечал он.

В субботу Степан даже раньше, чем обычно, вернулся с поля. Он был до такой степени озабочен всем предстоящим назавтра, что даже среди ужина ложка его часто словно застывала в воздухе. Липа и Кольша смешливо переглядывались, и наконец, девушка, лукаво морща губы, сказала:

— Уж хватит вам, право... этак скоро вы совсем от еды отобьетесь.

Баюков только отмахнулся, а после ужина вдруг предложил:

— Давайте-ка проверим еще раз, как себя ведет Топтуха.

— На ночь глядя, Степа? — усомнился младший брат. — Утром же лучше.

— Утром само собой, — упрямо ответил Степан. — Бери фонарь, Кольша!

В коровнике было в меру прохладно, приятно пахло отрубями и сеном. Корова стояла около кормушки и мирно жевала под ночным ветерком, врывающимся в полуоткрытое оконце. Баюков поднял над ней фонарь. Топтуха спокойно глянула на хозяина большим круглым глазом, будто выражая этим свое хорошее самочувствие.

Липа провела ладонью по теплomu выпуклому боку Топтухи.

— Ей-ей, добрая стала коровка! — довольно произнес Баюков и тоже погладил Топтуху. Рука его натолкнулась на легкие пальцы Липы. Он сделал было движение, чтобы нежно сжать их, но Липа спокойно отняла свою руку и ровным голосом сказала:

— По-моему, все здесь в порядке.
«Строга-а!» — уважительно подумал Баюков.

В воскресенье с утра Баюков провел репетицию «живого урока», еще и еще раз желая проверить, как будет выходить Липа, как под взглядами десятков глаз будет готовить Топтуху к дойке.

— Да знаю я все это, каждый день так делаю, — пыталась возражать Липа. Но Баюков все с тем же озабоченно-важным выражением лица убеждал ее:

— Надо, Липа дорогая, надо. Ведь наступает очень ответственный момент... Ну... еще разок покажите, как вы садитесь на скамеечку, как полотенцем орудовать будете...

— Ах... да что вы так волнуетесь, право! — чуть сердито засмеялась Липа. — Я свое знаю!

Но все-таки накинула на плечо полотенце, взяла в одну руку новенькое оцинкованное ведерко, а в другую низенькую скамеечку, пошла в коровник — опять и опять проверить, как будет вести себя Топтуха.

— Ну, видите же, корова стоит смирненько! — смеялась Липа.

За этим занятием и застал их Жерехов.

— Ага, репетируете? — догадался он, окидывая своим острым взглядом чисто убранный двор.

— Николай Петрович, здравствуйте!.. А мы тут вот опять... — и Липа, улыбаясь и вытирая руки, вышла навстречу секретарю волячейки.

— Ну что ж, понятно, — одобрительно сказал Жерехов, здороваясь с Баюковым.

— А, да вы, я вижу, и коровье жилье украсили! — заметил он.

Стены Топтухиного хлева, покрашенные охрой, наличники оконцев и двери ярко-зеленого цвета весело блестели свежей краской.

— Это я красил! — со счастливым лицом объявил Кольша.

— Да, да... всем работы хватало! — с широкой улыбкой подтвердил Баюков. — Ведь если хочешь свой культурный опыт показать людям, так уж все надо предусмотреть.

«Он иногда увлекается... ну, совсем как мальчон-

ка», — подумала Липа с ласковой снисходительностью; ей в то же время и нравилась эта черта в нем.

Рассказывая Жерехову обо всем, какие улучшения в своем хозяйстве он сделал «на основании прочитанных научных книг», Степан, как всегда увлекаясь мыслями о будущем, опять забыл о мучивших его неприятностях, о враждебном ему корзунинском дворе.

Но у Корзуниных всегда помнили о нем. Маркел приказал снохам подняться на чердак, откуда как на ладони было видно все, что происходило на баюковском дворе.

— Глядите во все глаза, бабы... и доносите мне, что там у Степки делается... — шипел он снохам. — Да чтоб Марина ни-ни... не сдогадалась бы!..

К Марине Маркел сегодня был даже ласков и жалостлив. Пока она мыла просторные темные сени и широкое крыльцо, Маркел временами приближался к ней и говорил:

— Старательная ты, бабочка... А что тебе трудно-то иногда приходится, голубушка, так это, сама знаешь... не из-за нас грешных... о-хо-хо... Ну, работай, милая, помогай тебе господь!

Марина изумлялась про себя, но ей было некогда доискиваться, отчего Маркел сегодня был так добр к ней.

— У Степки народу все прибывает! — шепотом докладывала свекру Матрена.

— Шумят, галдят... будто в гости пришли, — несколько минут спустя доносила Прасковья. — Домовница всех квасом угощает...

— Пусть, пусть пока попьют кваску! — тихонько бубнил в бороду Маркел.

Липа еле успевала подносить квас, чтобы напоить гостей, в баюковском дворе было полно народу и шумно, как на свадьбе.

— Ну... просто опились все нынче, — усмехалась довольная домовница, неся из погреба новый кувшин квасу.

Гости пили и благодарили за квасок и все льнули к одному месту: к широким дверям Топтухиного хлева.

Там было почти так же светло, как и в комнате.

В двух оконцах блестели чисто протертые стекла: Топтуха стояла возле новой, удобной, по ее росту, кормушки и по временам, будто спасаясь от людских взглядов, погружала морду в пахучее сено.

Баюков поспевал всюду, отвечая на вопросы и шутки, да и сам подшучивал. Его готовность все показать, его радушие и удовольствие, оттого что ему есть, чем поделиться с людьми, так и светились на его разгоряченном и потном лице.

Новый коровник гости оглядели со всех сторон, обстукали пол и стены.

— Ой, парень, насчет пола уж ты перестарался. Ну, к чему было такую работу производить? — заметил Финоген. — Деревянные болванки вколотил, будто корове плясать надо.

Сдвинув красноармейский шлем на макушку, Степан сказал важно:

— Неосновательное суждение! Вылей ведро воды на этот пол, махни метлой... р-раз... и нет ничего!.. А-а!.. понял, родной? Почему деревенское молоко часто в городе бракуют? Запах нехороший, от грязного хлева. Во-от, теперь на живом уроке сами видите, как можно такого факта избежать!

Женщины поддерживали Степана: так оно и бывает. Тут же некоторые сцепились с мужьями.

— По-вашему, можно корову держать как попало?.. Вот поучитесь, что надо изладить, чтобы скотина лучше стала!

Некоторые усомнились:

— Да ведь этакий порядок, поди, больших денег стоит!

— Дорого отдашь, так любо и смотреть.

— Дорого? На «дорого» у меня, человека среднего достатка, средств нету! Что вы, товарищи? — громко расхохотался Баюков и начал прикидывать, во что обошлось ему «нововведение в хозяйстве».

Высоко поднимая руку («пусть всем видно»), он то загибал, то разгибал пальцы и весело разъяснял.

— В умелых-то руках и суковатая доска принарядится! Значит, где уж тут дорого-то, друзья-товарищи? Каждому это возможно, только умение да старание приложи — и достигнешь, обязательно достигнешь удачи!

Всего больше толков, конечно, было о самой Топтухе: корове за половину отела перевалило, а она все доит и даже прибавила.

Степан по тетрадке вычитывал медленно, важно, как по псалтырю: тут ведь записана день за днем «новая Топтухина история».

— Двенадцатую неделю ее так воспитываем... В этом деле первостатейную помощь оказала нам с братом наша домовница, Олимпиада Ивановна. Воспитывалась эта молодая девица в городе — и, глядите, как быстро она превзошла вопросы сельского хозяйства! Исключительно добросовестная девушка, строгого поведения, умница, культурная, руки золотые!... Здесь находится ее дядя...

Баюков обернулся, нашел глазами Финогена и широко улыбнулся ему.

— Тебе, Финоген Петрович, особая благодарность от меня и брата за твою помощь в лице твоей племянницы Олимпиады Ивановны! Кланяюсь тебе при всем народе за то, что так замечательно воспитана твоя племянница, достойная самого высокого уважения,— и Баюков, приподняв свой красnozвездный шлем, низко поклонился Финогену.

— Что ты, что ты, право... — оторопел Финоген, попытавшись даже спрятаться за спины соседей. Но его добродушно, под смех и шутки, подтолкнули в передний ряд.

— Принимай, принимай похвалу-то!

— Она, брат, слаще меда!

От этой щедрой похвалы Липа вспыхнула до ушей и тихонько спряталась в уголок.

«Шуму-то сколько! Захвалил совсем...» — проносилось в ее голове, а сердце сладко замирало и голова даже чуть кружилась от радости за себя и за Баюкова. Она одна знала, как волновался поутру этот сильный, здоровый человек, который ходил на Врангеля и под обстрелом приволок от белых пулемет. Липа гордилась втихомолку, что именно она успокаивала сегодня разволновавшегося Степана, конечно, ее ободряющие слова вспоминал он и сейчас, встречаясь с ней беглыми, но выразительными взглядами.

Она смотрела на Баюкова, тайком посмеиваясь, но и

умиляясь тому новому и неожиданному, что открывалось ей в нем.

Сейчас, возбужденный общим вниманием, он, гордо выгибая грудь, оглядывался во все стороны, ловя замечания и вопросы, успевая везде, смеялся раскатисто, молодого, — и, белозубый, со сверкающим взглядом, румяный, впервые он показался домовнице почти красивым. Она подумала, слегка краснея: «А ведь он... ничего, право!»

Липа знала, что самое главное впереди, и, как было уже условлено, она ушла в избу.

Степан наконец поднес к уху руку с часами в кожаной браслетке, послушал, потом с нарочитым хладнокровием опустил рукав и, сразу остудив лицо торжественностью, крикнул густым, важным голосом:

— Пожалуйте, Олимпиада Ивановна, Топтуху доить! Шесть часов!

А потом опять зачем-то поглядел на часы.

И часы, и почтительное «вы» с Олимпиадой настраивали всех на какой-то особый лад. Демид, переглянувшись с окружающими, вдруг сказал:

— Вот, говорят, будет у нас к зиме сельсовет. Тебя будем выдвигать в председатели.

Степан побагровел, поперхнулся и громко крякнул — на большее его не хватило. О сегодняшнем дне думал он много, но такого почета не ожидал.

Олимпиада меж тем неспешно выходила из сеней. Солнце било в новешенький жестяной подойник, а сама домовница в чистом фартуке и белом платочке на голове показалась всем красивой и нарядной. В левой руке она держала ведро с теплой водой, а через плечо у ней было перекинута чистое холщовое полотенце.

— Полотенце-то зачем? — зашептались вокруг.

— А это чтобы коровье вымя после мытья обтереть.

— Скаж-жи пожалуйста!

Перед домовницей гости расступились, следя за каждым ее движением. Многие одобрительно подмигивали Финогену, как бы говоря: «Хорошо работает племянница твоя».

Гости смотрели во все глаза, а некоторые даже встали на цыпочки, держась за плечи соседа, чтобы видеть лучше. Сначала Липа обмыла коровьи соски теплой водой, потом крепко вытерла их полотенцем. Затем ополос-

нула свои руки, вытерла, придвинула ногой низенькую скамеечку и наконец сдавила тугие коровьи соски.

В толпе пошел тихий, но оживленный говорок. Молоко зацyrкало упругой белой струей, запенилось жирно-белыми хлопками густых пузырей, звонко ударяясь о жестяные стенки. Не одна хозяйка наводила ухо: не убавляется ли упругая молочная струя? Нет, в большом подойнике молоко уже поднялось за половину. Вот оно уже дошло до рожка — и только тут стала ослабевать струя, стала все тоньше и тише. В полный подойник упали последние капли, и толпа во дворе еще оживленнее загудела. Олимпиада подняла тяжелый подойник, полный изжелта-белого парного молока. Перед ней все расступились, как будто она несла что-то драгоценное. Это молчание было столь многозначительно, что у Баюкова сильно застучало сердце.

Молчание нарушил Финоген. Прислушиваясь к мычанию коров на улице, он сердито спросил свою жену:

— Слышь, бутылошница наша домой плетется?

Жена было обиделась:

— Ну, начал нашу коровку хаять...

— Бутылошница! — грозно повторил Финоген. — Половины отелу нету, а она еле две крынки молока дает... А у людей, которые коммунисты, гляди, какие дела получаются!

— Ишь, раззадорило нашего старичка! — засмеялся кто-то над обычно тихим и застенчивым Финогеном. Но тот не смутился:

— Я дело говорю. Вот как наукой своей Степан Андреич нас всех заразил!

— Верно, верно! — поддержали дружно несколько голосов, а Финоген совсем осмелел:

— И верно ведь, всем он, как урок, свой опыт наглядно показал!

Степан, красный, потный, даже слегка осипший, но бесконечно счастливый, торжественно обещал:

— Вот после теленка увидите, что будет: коровушка моя полтора ведра за один удой преподнесет... Заверяю вас!

Вдруг чей-то грубый голос прогремел:

— Заверяй, да не подавись добром своим, бахвал бессовестный!

Все оглянулись и увидели высунувшегося из калитки

Маркела Корзунина. Еще никто не успел рта открыть, как Маркел толкнул вперед растрепанную простоволосую женщину. Она упиралась в землю босыми грязными ногами, пытаясь закрыть худое, бледное лицо рваным дерюжным фартуком. Гости, тихонько ахнув, едва узнали в этой женщине бывшую хозяйку баюковского двора.

— Иди, иди! — грохотал злобным басом Маркел, толкая вперед понурую Марину. — Гляди, какой обиход твой обидчик завел! И вы, люди добрые, поглядите на нее... Была хозяйкой, стала хуже попрошайки... У добрых людей из милости живет...

— Позвольте! — опомнился Степан. — Это все нарочно сделано... это провокация, наглая провокация, товарищи, чтобы мне праздник испортить... Это кулацкие штучки, демагогия!

— Вона как он гуторит! — взревел Маркел. — Ты разными словесами народ не улещай... Народушко-то, он все-е видит: вот она перед ним, вся как есть, баба бездворовая, неимущая! Корова-то, глядите, как барыня, в чистоте да в обиходе, а баба несчастная у чужих из милости мыкается... Бабу, что тебе женой была, обеспечь сначала, а потом новшествами своими хвастайся, бахвал бессовестна-ай!

— Молчать! — грозно крикнул Степан. Он весь дрожал, лицо его побагровело. — Вот... видите, что делается! — задыхаясь от гнева и обиды, продолжал он. — Враги мои не мытьем, так катаньем хотят на своем поставить, хотят семь шкур с меня содрать, срам на людях устраивают. Н-нет, по вашему не выйдет! Вы от меня ничем больше не попользуетесь, кулацкие выродки!.. Убирайтесь отсюда!.. Ну!

— Уйдем, уйдем, кормилец, — с издевкой протянул Корзунин. — Вот только отблагодарим тебя... Ну, баба! Кланяйся, что ли!

Маркел с такой силой встряхнул за плечо Марину, что она рухнула на колени и вдруг, спрятав лицо в дерюжный свой фартук, заплакала навзрыд, беспомощно и безнадежно.

— Ой... не могу я! — вдруг громко всхлипнула Олимпиада и убежала в избу.

— Что, милая? Вчуже тяжело стало? — занял ей во след Корзунин и оглядел гостей горящими глазами, су-

жившимися, как лезвие ножа.— И вам всем, вижу, тоже не любо, соседushки...

Все молчали, только Марина, почти упав головой на-земь, безудержно рыдала.

— Будя! — и Маркел одним рывком, как собаку, поднял Марину с земли. Она пошатнулась, вода кругом мутным, словно обезумевшим взглядом.

— О господи-и! — всхлипнул женский голос, потом еще и еще кто-то надсадно вздохнул, как от внезапной боли.

— Ну, поди, поди... бездомная! — и Маркел, подталкивая Марину, затопал к воротам. Калитка с грохотом захлопнулась.

— Эх-х! — шумно вздохнул Степан и бешено погрозил кулаком вослед.— Ехидна кулацкая, враг мой заклятый!.. Выбрал-таки денек, ворвался ко мне... праздник на дворе моем испортил... Вот, сами видите, товарищи, на что эти люди способны... Для сзоей подлой корысти они готовы честного человека перед народом осрамить, душу ему наизнанку выворотить, всем его делам помешать...

— Степан Андреич! — прервая Финоген, глянув на Баюкова печальными, словно потухшими глазами.— Кто корзунинской семейки не знает?.. Сам видишь, что Корзунины с женщиной сделали!

— Нечего об этом говорить,— резко возразил Баюков.— Она сама себе такую жизнь выбрала.

— Ох, где уж там...— вздохнул робкий женский голос, и еще несколько женских голосов повторили этот жалостливый вздох.

— Да, получилось оно не так чтобы...— пробормотал кто-то и смущенно спрятался в толпе.

У дверей нового коровника уже никого не было, и только крутобокая Топтуха, шурша сеном, жевала под распахнутым оконцем. На нее сейчас никто не обращал внимания, все, казалось, даже забыли, для чего пришли на баюковский двор. Кто-то приоткрыл калитку и вышел на улицу, а через минуту гости стали расходиться. Финогена и Демида, которые уходили последними, Степан взволнованно задержал у калитки.

— Финоген Петрович, Демид Семеныч... да что ж это? Ведь после осмотра было намерение поговорить по вопросам хозяйства... И вдруг на-ко... все разошлись!

Финоген вздохнул и глянул в сторону.

— Что же поделаешь... не расположен народ...

Уходя, он торопливо пообещал:

— Ужо вот зайду к тебе.

Демид приостановился, тяжело вздохнул и сказал мрачно:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Степан задрожал всем телом, схватился за голову — и увидел Жерехова. Тот стоял в тени крылечка необычно тихий, засунув руки в карманы легкого светлого пиджака, на котором празднично поблескивал боевой орден Красного Знамени.

Степан растерянно взглянул на орден и бессильно всплеснул руками, не зная, что сказать и что дальше делать.

— Д-да-а... какие дела-а! — наконец с расстановкой произнес Жерехов, надел фуражку и пошел к воротам.

— Николай Петрович... да что ж это... — заговорил было Баюков, но Жерехов тут же остановил его:

— погоди. Не сейчас, а несколько позже поговорим. Пока же обдумай все, что здесь произошло.

Степан почему-то не посмел выйти на улицу проводить секретаря волостной партиячейки. Стук отъезжающих колес невыносимой болью отозвался в его сердце.

Он остался один, оторопело оглядываясь по сторонам и будто не узнавая своего недавно такого праздничного двора.

Кольша, бледный и дрожащий, робко высунулся из дверей дома.

— Что? Испугался? — глухо спросил Степан, и нестерпимая обида, гнев и боль охватили его.

— Будь они прокляты, корзунинское племя! Не люди, а какой-то яд, гниль, мерзость!.. Неужто не поняли люди, что старый подлец выслеживал меня и нарочно пришел срамить? И ведь добился своего: ушли мои гости, смутились... Да неужто всамделе по его, по-корзунински вышло? Неужто из-за его подлой провокации люди меня уважать перестанут... меня, передовика советской деревни?.. Нет! Шалишь!.. Я свою правду докажу, докажу!.. Верно ведь, Кольша?

Младший брат растерянно развел руками.

— Да уж, наверно, так оно и есть, Степа.

— Эх, зелен ты еще малый-неудалый,— усмехнулся Степан.— Липа, вы где? — крикнул он.

Домовница что-то неразборчиво ответила ему.

— Вы здесь, Липа? — повторил он, войдя в кухню, и замер на месте: Липа стояла спиной к нему, плечи ее вздрагивали.

— Липа! Что такое? — испугался Баюков.— Что случилось?.. Да скажите же... Липа!

Но Липа только мотнула головой и еще сильнее заплакала.

Степан робко дотронулся до ее плеча.

— Липа... поверьте, горько мне, в первую голову, что праздник наш этот подлец испортил... Да, поди, он и вас походя оскорбил? С него станется... Ведь все видели...

Домовница вдруг круто обернулась к нему. Ее распухшее от слез лицо залил жаркий румянец, который был так гневен, что, казалось, вот-вот хлынет на белый платок.

— Все видели, а только вы словно ослепли, хозяин!

— Как... то есть... ослеп? — опешил Баюков.

— А так! Соседи-то как со двора ушли? Радовались по-хорошему, а потом — на... без словечка ушли, все сразу... Что вы об этом думаете?

Степан опять возмутился:

— Так неужто же вы не поняли, девушка, что на глазах у всех ведь провокация произошла? Нарочно Корзунины ко мне ворвались. Так неужто же не понятно, что старичина Корзунин нарочно пришел меня срамить?..

— Нет! — крикнула, топнув, Липа.— Нет! Это вы не понимаете: совсем не Корзунин, а вы сами осрамитесь!

— Я... осрамился?! Я?!

Если бы Липа сейчас в сердцах даже замахнулась на него, Степан не был бы так поражен, как поразили его эти слова. И кто, кто говорил их? Та, которая с таким рвением помогала ему и во всем понимала его!

— Грех вам так говорить! — произнес он побелевшими губами.— Уж кто-кто бы такие слова обо мне сказал, но не вы, Липа... От вас я никак не ожидал.

Что-то дрогнуло в лице домовницы, она вытерла глаза и заговорила мягче, но с той же непримиримостью:

— Да поймите же, что я, может, больше всех за вас душой болею! Запомнили вы, как радостно люди к вам собирались?.. А как они от вас ушли? Со стыдом за вас...

да, да!.. Горько стало людям, что именно с вами такое приключилось.

— Да что, что со мной-то было? Ведь я только о хорошем, о полезном старался... и вдруг явился этот... этот кулацкий чертополох и у всех настроенье сбил своими подлыми словами...

— А-а! В них-то и дело, в словах этих! — словно торжествуя, крикнула Липа. — Уж на что не любят люди корзунинскую семейку, а старик такие слова сказал, что всех заставил призадуматься: корова-то, мол, красуется, как барыня, а баба злосчастная хуже нищей.

— Во-от вы о чем? — зло и горько усмехнулся Степан. — Н-ну, знаете... мне тут только дивиться и остается. Виданное ли дело: она... эта Марина вас била... синяки от ее кулаков у вас только что на лице зажили, а вы, вы же ее защищаете!

— Не в синяках дело, а в человеке!

— Да кабы это человек настоящий был, Липа... А то ведь...

— Несчастный, забитый она человек, вот что. Лучше бы вы сразу отдали ей половину имущества... не было бы этих безобразий! А то жальче, униженнее, чем она, Марина, не видывала я еще человека! Я даже не смогла смотреть на нее... затряслась вся и убежала.

— И даже... о синяках забыла... Н-ну, знаете, Липа...

— Дались вам эти синяки! — гневно крикнула она, вновь заливаясь румянцем. — Да, я забыла о них... да! Совесть же надо иметь!

— Эко!.. Совесть замучила! Да помилуйте, Липа, — за что вам-то совеститься?

Баюкову было нестерпимо горько, больно, а в то же время так мила была ему Липа с этим жарким румянцем и горящими упрямством глазами.

Они стояли друг против друга, обмениваясь взволнованными взглядами, которые выражали гнев, возмущение, боль, досаду. Они спорили, словно разделенные незримой, но остро ощущаемой каждой преградой.

— Вам легче моего, — укорял Баюков.

— Не хотите подумать, оттого и говорите, — резко отвечала она.

Кажется, никогда еще не переживал Степан подобной душевной боли, когда все в душе кипит и ноет, будто тебя ранили. И в то же время бесконечно хотелось пере-

убедить эту девушку, такую необходимую и дорогую, сломать в ней настроение, которое отдаляло ее от него и заставляло смотреть в его сторону чужим, недобрым взглядом.

— Зачем вы на себя, насчет совести, наговариваете, Липа! Ваша жизнь, ваша работа чиста, как стеклышко... Как вы только появились в нашем дворе...

— А-а!.. Двор, дво-ор! — вдруг простонала Липа, как от боли. — Не очень ли вы, хозяин, своим двором любовались, не очень ли хвастались двором своим перед людьми?

— Липа, да помилуйте! — даже пошатнувшись, заговорил Баюков. — Да как же это можно? Ведь все, что я задумал, вы сами же хвалили, одобряли. И что ж, разве плохо все было задумано? Хоть кого спроси, всякий грамотный человек скажет: вот, мол, полезная живая пропаганда. Пусть, мол, каждый демобилизованный так будет проводить в жизнь то, чему его Красная Армия научила. А сейчас, вот хоть убей, не понимаю!.. Ведь вместе же с вами мы старались над всем, а? И вы так работали, что любо-дорого было смотреть, а теперь вдруг...

— Работала! — и девушка яростно сверкнула чужими, недобрыми глазами. — А теперь не видите, что все насмарку пошло?

— Не может быть! Неправда! — словно защищаясь, крикнул Степан. — Не может такое старанье пропасть, если от этого люди могут полезному поучиться!.. Я выступаю в этом деле как передовик...

— Передовик!.. Поучиться! — повторила Липа и вдруг всплеснула руками, будто вконец отчаявшись в том, что оба они вообще когда-либо поймут друг друга.

Но все-таки много взяла на себя домовница: будто нагнала в дом студеного духа, и самой стало страшно. Она глянула вполглаза на побелевшее лицо Баюкова — и вдруг прижалась головой к косяку двери и заплакала навзрыд. Опять это была тоненькая зеленая девчонка из города: еще по-детски двигались беспомощно острые локотки, слезы лились ручьем.

— Липа... Липушка! — трепещущим голосом прошептал Баюков, не смея коснуться ее. — Родненькая ты моя... Да что же это такое?

Он заглянул было ей в лицо, но девушка замотала головой и тихо всхлипнула:

— Не надо... не подходите.

Степан оставил ее в покое и вышел на крыльцо. Охватив голову ладонями, он долго сидел у ворот — и казалось, уже никогда не успокоится его потрясенная душа. Он знал, что Липа не спит, но боялся даже подать голос, чтобы еще больше не расстроить ее. А Липа и верно, лежа с открытыми глазами, продолжала тихонько и тяжело плакать; большее всего было то, что ей только сейчас открылось, чего она, Липа, ждала от этого «живого урока». А день этот значил для нее больше, чем для самого Баякова.

«Ему, конечно, хотелось коровой похвастаться. А мне?.. Я доброго его слова ждала — перед всеми, да, да!.. Чтоб вот он прославил меня, уважение свое ко мне показал... чтобы все видели, что я не какая-нибудь просто только вот за жалованье нанятая девчонка, а работаю от всей души... И вот, все, все испорчено!»

Потом Липа стала думать, что ведь, кроме этого двора, у ней в жизни не было еще ничего, на чем она могла бы самостоятельно проявить свою энергию и способности.

«Да и привязалась я ко всему этому, будто этот двор в самом деле мой единственный дом, а Степан... Ох, да неужели я совсем вот по-настоящему люблю его?..»

Липа вдруг представила себе, что случилось бы с ней, случись ей уйти из баяковского двора: какой одинокой и несчастной почувствовала бы она себя, очутившись одна, без Степана, без его преданных глаз, без его то и дело прорывающейся наружу любви к ней.

«Боже ты мой, да я только и хочу быть с ним, жить здесь, хозяйничать, заботиться о нем! — думала Липа, вся дрожа от этих новых, так резко и прямо возникших в ней мыслей.— Он ведь любит меня... Он свободен теперь... Мы можем хоть завтра поехать в волость и зарегистрироваться... А дальше что будет? — с испугом вдруг подумала Липа.— Жизнь-то сразу ведь станет беспокойная: люди корить начнут за Марину, а нам со Степаном будет совестно, всякая радость будет не в радость... Нет, против совести жить нельзя, никак нельзя... Но как, как все это поправить, если Степан добром, без суда не хочет отдавать Марине имущества?.. Укоряет меня, что я

про синяки забыла... Ох, да ведь и я дралась с ней... Я вот лежу на своей постели, а Степан из-за меня страдает, и Кольша тоже меня жалеет, я знаю. А Марина... она у Корзуниных живет хуже собаки... Мы поженимся, а люди обо всем этом будут помнить... Нет, так оставить невозможно!.. Но как убедить Степана, как переломить в нем это упорство? Как?..»

Уже совсем измучившись от дум, от слез и тревоги, Липа заснула только под утро.

Баюков встал словно разбитый — и не только от бессонницы, а больше от гнетущего сознания, что все к нему отнеслись несправедливо, нанесли ему обиду, ужаснее которой он еще не знал за всю жизнь.

Утром у Баюковых завтракали без разговоров. Потом домовница принялась месить квашню, а сама все глядела в пол, крепко сжав губы. Только раз она бегло глянула в сторону Степана, когда подала братьям, как всегда опрятно завернутый в холстинку, обед.

Степан так же молча взял сверток, кивнул домовнице, и братья уехали на пашню. Но так тяжело было на душе, что Баюков просто себя не узнавал: еще никогда не работал он так плохо, а устал раньше, чем всегда.

— Сядем, что ли, поедим, — хмуро предложил он брату.

Ели молча, и вдруг Кольша беспокойно сказал:

— Уж не к нам ли Финоген Петрович торопится?

— И то... к нам, — заметно взволновался Степан.

Финоген поздоровался, как всегда, потом напомнил, что завтра в присутствии волостного агронома будут взвешивать и проверять семена для первого «товарищеского сева».

— У меня все готово, — невольно оживился Степан. — За мной, ты знаешь, общественное дело не станет. И в амбаре все вычищено, чтобы удобно было зерно проверять да взвешивать. Достали весы-то?

— Достали, а только... — и Финоген вздохнул. — Народ решил, знаешь, у Демида Семеныча на дворе зерно проверять... это мне и поручено тебе сказать.

— Вот как... Отчего же это вдруг перерешили? — глухо спросил Баюков, не скрывая обиды,

Финоген замялся. Его маленькое сморщенное лицо с реденькой бороденкой выражало страдание и жалость.

— Уж так Демид предложил... потому, видишь ли, что народу так способнее показалось.

— Уж скажи правду, Финоген Петрович, у Демида ныне показалось приятнее собраться, чем на моем дворе.

— Так ведь, Степа, сам понимаешь, после того случая...

— Да, да... — прервал Степан, и его осунувшееся лицо исказилось от злой боли. — Вот как эти волки мой двор опозорили, что люди его уже обегают!

— Ты о волке пока брось, брось! — быстро произнес Финоген. — Волка кляни, да правду не заслони — вот в чем штука-то, Степан Андреич... погоди, я сейчас все тебе обскажу прямо, без утайки. Марина, конечно, виновата, да ведь и у вины мера есть; за вину платить надо, так опять же не до смерти!

И Финоген отошел, будто решил оставить за собой последнее слово.

— Что это он... а? — недоуменно спросил Кольша, но старший брат хмуро промолчал.

Едва начали на дворе Демида Кувшинова собираться люди, как сразу стало тесно. У весов, где проверяли и взвешивали семенное зерно, люди толкались мешками, наступали друг другу на ноги, а некоторые, понетерпеливее, ворчали и огрызались.

— Чего бы лучше у меня на дворе все это проделать, — не утерпев, с обидой сказал Баюков Демиду Кувшинову, ожидая своей очереди.

Демид сидел насупившись и, казалось, не слышал.

«Вот как! Нынче и прислушаться не желает», — самолюбиво подумал Степан и, повторив громче уже сказанное, прибавил:

— Вот народ недоволен, что здесь толкаться приходится... Ей-ей, зря не захотели моим двором воспользоваться.

— Оно так и есть — не захотели, — ответил, не глядя в его сторону, Демид. — «Придешь, говорят, к Степану Баюкову, а у него опять какой-нибудь случай».

Демид вдруг обернулся к Баюкову печально и сурово нахмуренным лицом и, тяжело вздохнув, промолвил:

— А скоро сеять, товарищ Баюков... сеять скоро — по-новому.

— Об этом даже странно товарищу Баюкову напоминать! — строптиво вскинулся Степан. — Что? Будто я дело торможу или мешаю...

— Ан вот и мешаешь, — твердо проговорил Демид.

— Я?! Мешаю?! Да постыдись ты! — возмущенно поразился Степан. — Да чем же это, чем?

— А тем, Степа, как с человеком ты обошелся... с Мариной этой самой, — прошелестел за его плечом укоризненный шепоток Финогена.

Баюков вскочил на ноги и приблизил к Финогену покрасневшее от гнева лицо.

— Что это, право, уж вроде со всех сторон начали мне гудеть об этой... о Марине. Не пойму — с чего это вы, уважаемые мной люди, вдруг с Корзуниными в одну дудку загудели?

— Ну-ка... пройдем в избу! — повелительно произнес Демид.

Идя за ним, Степан успевал заметить десятки взглядов, которые проводили его. словно физически ощущая на себе острый холодок, идущий от этих взглядов, Степан вдруг почувствовал в них то же самое недовольство и суровость, что и во взгляде и словах Демида. Невольно поеживаясь спиной, Баюков вошел в низковатую кухню. Было в ней чисто, но неуютно. Бревенчатые стены и нависший потолок избы, прослужившей нескольким крестьянским поколениям, почернели от старости. Невестка Демида, молоденькая женщина с круглым, нежно-румяным лицом, бойко двигая худенькими локтями, мыла с дресвой толстую, выщербленную временем столешницу.

Демид указал Степану место рядом с собой на широкой лавке у окна и сказал снохе:

— Поторапливайся-ка, Настасья.

Молодая женщина еще быстрее задвигала локтями.

Демид, задумчиво усмехнувшись, обратился к Степану:

— Вот этак трижды на дню наши бабы столешницу моют — на ней ведь отродясь скатертки не бывало. А ведь охота и нам на скатертке или на клееночке кушать. Верно, что ли, Настасья?

— Да уж, конечно, так, — весело ответила сноха, смывая дресву со стола. — Вот в новом году такую ска-тертку тут постелем, что любо-дорого!

— Видишь? — кивнув ей вслед, молвил Степану Демид. — Кого ни возьми, каждый чего-то ждет от нашего тоза. Вот и не надо, значит, дух угашать в народе.

— Да разве я... — начал было Баюков, но Демид движением руки остановил его.

— Вот ты меня и Финогена попрекнул, что мы с Корзунинными в одну, дескать, дуду загудели. Эх, не то, брат, не то... У них своя линия, у нас — своя. Они хотят побольше содрать с тебя, чтобы кусок для их ненасытной пасти был пожирнее. А мы обсудили так: ежели видим, что человек, беспомощный, слабый, в корзунинской пасти пропадает, надо помочь ему из этой пасти вырваться. Вот ты и помоги, ты зачини, а мы, общество, каждый хотя и по малости, а к твоему даянию прибавим — и вызволим бедную бабу из ямы. Погоди, погоди... Горько нам, Степан Андреич, что ты всю эту погибель человечью видишь — и отворачиваешься. А ты ведь во сто крат сильнее и умнее этих двух разнесчастных — Марины и Платона. А почему нам так охота, чтобы ты обиду свою забыл, а людям помог подняться? Степан Андреич, дорогой ты для нас человек! Ты партийный, Красная Армия тебя образовала... Вот и хотим мы, чтобы ты был и умен, и силен, и чист был, как стеклышко... Понимаешь ты это?

— Как не понять! — усмехнулся Степан. — Но почему это вам, товарищи, охота из меня святого сделать? Неужто, по-вашему, так легко обиду забыть, когда она все еще у меня в сердце кипит?.. Легко ли человеку, когда его родная жена недругом стала, обманывала, двор разоряла?

— Эх, Степан Андреич! — горестно вздохнул Финоген. — Ты теперь не о том только помни, что она тебе жена была, — ты о том помни, что мы тебя вожаком считаем... что мы тебя уважаем и доверяем тебе.

— За это спасибо, Финоген Петрович. Доверие народное всех богатств дороже, я всегда так считал.

Степан замолчал и только сейчас ощутил в груди тепло, которое словно изливалось на него из неторопливой речи Финогена.

— А помочь Марине... что ж... я готов, — продолжал

он, сначала с заминкой, а потом все гверже.— Действительно, может, ваша правда: лучше Марине и этому... Платону уйти из корзунинского двора... Как я смогу этому помочь — уж разрешите мне подумать.

— Подумай, родной, подумай. Тебе больше дано, с тебя больше и спросится.

Лучшего момента, чем сейчас, передать Баюкову просьбу Платона и Марины принять их в товарищество не следовало и ожидать. Финоген пошептался с Демидом и передал Баюкову просьбу.

— Под твое, слышь, руководство, Степан Андреич, эти двое пойдут, прямо сказать, всей душой. Прием их... а?

Это было неожиданно. У Степана вдруг мелькнуло было сомнение насчет того, сумеет ли Платон сразу и с пользой включиться в это общее дело.

Но так хотелось сберечь в груди это влившееся в нее тепло, что Баюков не стал возражать.

Домовница ходила по чистому двору, не зная, куда приложить руки.

— У-у, несговорный... все из-за тебя убиваюсь... расстроил вконец...— мысленно говорила себе она.

Хотелось сердито думать о Степане, но жалко его было до того, что в горле щекотало, а на глазах то и дело выступали слезы.

Работая в огороде, Липа то горько вздыхала, то вытирала глаза,— ночные думы и тревоги все еще как боль томили ее.

Вздохнув, Липа наклонилась к грядке и принялась за прополку. Вдруг кто-то тягуче застонал за плетнем корзунинского огорода.

Сердце Липы заколотилось от тревожной догадки. Подойдя к забору, она позвала:

— Марина... ты это?

У крайней гряды ей было видно красное, мокрое лицо Марины. Сквозь спутанные волосы она глянула испуганно и зло на домовницу. Но девушка в белом платочке спокойно спросила:

— Плачешь все?.. Тяжело?

Марина оторопела, вытерла глаза и сказала:

— Куда еще тяжелее... Руки, что ли, на себя наложить? Или вот... запалить бы этот двор проклятый! — и Марина дико взмахнула руками в сторону крепко руб-

ленных служб корзунинского двора.— Душу они из меня вынули!..

— Тише, не кричи,— остановила ее Липа.— Вот о том я и хочу с тобой поговорить.

Марина от неожиданности замолчала и бросила недоверчивый, затравленный взгляд на бледное, чистое лицо девушки и спросила хрипло:

— А ты с чего спрашивать о тяготе моей вздумала?.. Хоть бы кто другой еще, а то ты. Чай, сама радехонька, что я хуже собаки теперь живу... Мы с тобой как две медведицы... одна в берлоге греется, а другая под ветром да морозом стоит... и всякий ее убить может.

— Мы с тобой люди,— спокойно прервала домовница,— и говорить нам надо друг с дружкой по-человечески.

Но Марина тупо глядела на нее и не верила, как и вообще она ничему теперь не верила.

— Ты... чего? — вскинулась Марина, громко глотая слезы.— Чего стоишь?.. Ну?.. Дорвалась до сладкой жизни... ну и ладно... Не измывайся над людьми!

— Зачем зря говоришь? — неспешно сказала Липа, выдерживая взгляд Марины.— Не похоже, по-моему, что я над тобой смеяться хочу. Мне тебя жалко.

Марина вся подалась вперед.

— Жа-алко? Меня?.. Да ведь я же тебя... вспомни-ко... я же тебя била, девка!.. Разве можно тебе меня жалеть?

— Это, конечно, нехорошо было, что ты на меня тогда кинулась... но ведь и я тебе тоже сдачи дала,— спокойно произнесла домовница.— Но потом я поняла, что ты это сделала не только от злобы на меня, но и по другой причине: уж очень голову тебе задурили, мечешься ты, как безумная... Вот-вот лоб разобьешь, а выхода не видишь.

— Выхода? — встрепенулась Марина и вдруг впервые без злобы загляделась на домовницу. Та смотрела ей навстречу серьезным и ясным взглядом голубых глаз, которым невозможно было не поверить.— Выход...— повторила опять Марина, цепляясь за это простое слово, как за протянутую ей руку.— А ты... ты разве знаешь, как этот выход найти?

— Знаю,— твердо произнесла домовница, и строгая, но благожелательная улыбка раздвинула ее неяркие гу-

бы.— Уж ты поверь мне, пожалуйста... я тебе добра желаю.

Марина оторопело пробормотала:

— Тебе что... и подобить можно — в сытости живешь.

Домовница упрямо покачала головой.

— И в сытости надо совесть иметь, я так думаю. Я, например, не найду своей душе покоя, если одно дело не выйдет...

— Какое дело? — бормотала Марина, следя за строгим, задумчивым взглядом этой замысловатой девахи.

А в груди домовницы что-то теплело, ширилось, как песня.

— Какое дело?.. Хочу сказать тебе и...

Тут Липа запнулась: неожиданная мысль, налетев на нее, как вспорхнувшая с дерева птица, заставила ее сомкнуть глаза, вздрогнуть и обратить к Марине уже иной, ясный и прямой взгляд.

— Хочу тебе и себе помочь, — повторила Липа твердым и ровным голосом. — Если тебе будет по-прежнему плохо, так и мне счастья настоящего не будет. Вот я и считаю: надо твою жизнь наладить. Дядя Финоген говорил мне, что вы с Платоном в товарищество проситесь. Вас примут, конечно. Заживете как люди. Иди ты за Платона, живите себе счастливо, по-человечески... вот тебе и выход, вот чего я тебе и желаю.

— Ты... ты... мне... А я-то тебя как! Да как же это... да с чего же это ты?.. — растерянno залепетала Марина, и слезы, обильные, жаркие, вдруг хлынули из ее глаз.

— Ох, чудная ты, — улыбнулась домовница и, протянув руку через плетень, положила ее на плечо Марины. — С чего, ты спрашиваешь? Да просто по справедливости так нужно сделать.

— По справедливости... — повторила Марина и теперь наконец поверила.

Кто бы посмотрел сейчас на них, диковинную картину увидел: стояли две женщины, бывшая хозяйка двора и входящая туда хозяйкой, стояли тесно, плечо к плечу, и разговаривали как сестры.

— Надо корову тебе обязательно дать, Марина, потом свинушек пару на разводку.

— Господи... вот бы счастье-то!

— Кур штук пяток отберу тебе, одну кохинхинской

породы, недавно в городе я их пару купила, яйца у ней, знаешь, с яблоко хорошее. Петушонок есть, правда еще молоденький, но задористый...

Все легче и легче становилось домовнице.

— Семян огородных потом тебе дам — хочешь? Верные семена, всхожесть замечательная...

— Родненькая ты моя-а! — заливалась счастливыми слезами Марина. — Ты для меня вон как стараешься. Прости ты меня...

— Ну, ну, ладно, — остановила ее Липа, потом строго нахмурилась и добавила: — Ты меня тоже прости — мне бы надо давно о твоём житье подумать, а я...

Марина прервала, изумляясь до стыда:

— Да брось ты... что ты-ы? Да ведь ты меня к жизни ворочаешь... Скажи кому — не поверят!

— А ты пока и не говори никому, не разбалтывай, — серьезно посоветовала домовница. — Я тебе свои намерения раскрыла и буду за них стоять. Думаю, что все-таки Баюков согласится. Я ему докажу, буду стоять на своем.

— Он согласится, — с беззлой уверенностью сказала Марина, — он ведь тебя любит... И-и, не отпирайся, девушка.

— Я не отпираюсь — может быть, это и так, но только... без совести и с любовью радости настоящей в жизни у меня не будет.

Так и условились, что Липа начнет настаивать на своем, а Марина должна пока помолчать.

— Тем лучше выйдет! — уверяла Липа. — Сразу корзунинскую жадность да злобу перед всем народом посрамим. А сначала я должна обо всем договориться с Баюковым. И договарюсь!

Будто не замечая, какое сейчас у Степана лицо, Липа начала рассказывать о встрече с Мариной в огороде и о своем решении вмешаться в ее судьбу и помочь ей.

— Да, да... помочь ей надо, — сразу же поддакнул Степан.

— Вот ка-ак! — радостно встрепенулась Липа и, забывшись, даже обратилась к нему на «ты»: — Значит, ты понял, сочувствуешь?

— Понял, Липушка, — ласково ответил он и, смело

взяв ее за руку, нежно пожал девичьи пальцы.— Важный разговор у меня с народом был.

Баюков рассказал и о том, какие после этого разговора появились у него мысли и в каком настроении возвращался он домой.

— Так что теперь, Липушка, все пойдет по-другому.

— Вот и хорошо! — просияла Липа и впервые крепко пожала ему руку.— Ну, слушай дальше.

Оба посмотрели друг на друга счастливыми глазами. Липа продолжала свой рассказ о том, что она на свой страх и риск пообещала дать Марине. В ответ на упоминание о курах, поросенке, огородных семенах и прочем Степан согласно кивал и даже кое-что еще добавил от себя. Но когда Липа упомянула о корове, он беспокойно вздрогнул и прервал:

— Погоди... то есть как это... дать Марине корову?.. Топтуху, питомку мою?

— Зачем Топтуху? — выдерживая его встревоженный взгляд, спокойно ответила Липа.— Топтуху можно оставить дома, а Марине другую корову купить.

— Другую корову...— повторил он и задохнулся от внезапного прилива тревоги.— Да ведь что это значит — корову купить? Что я, капиталист, кулак какой... что, у меня деньги пачками лежат под половицей? Вы же знаете, я человек небогатый...

— Верно, а хозяйство все-таки исправное,— возразила домовница, смотря на него прямым и строгим взглядом.— Чтобы корову купить, деньги все же наскрести можно.

— Это откуда же? — спросил Баюков задрожавшим голосом.— Какие же это запасы вдруг у меня во дворе обнаружились?

— Есть запасы,— произнесла Липа твердо, и голубые глаза ее глянули на него опять так строго, что ему оставалось только помолчать.

А она, неторопливо загибая пальцы, перечисляла, что можно сейчас продать, чтобы «наскрести денег Марине на корову».

— Если на дворе три свиньи, так две вполне можно продать... свиньи породистые, хорошо упитанные...

— Да ведь, вспомни, только к зиме я их хотел в оборот пустить... ведь тогда продать можно будет куда выгоднее...

— При чем тут вы-го-да,— презрительно отчеканивая слова, прервала домовница,— если дело идет о судьбе человека.

— Какого человека-то! — вскинулся было Баюков, но девушка опять так глянула на него, что он осекся, как виноватый.

— Я еще не все сказала, Степан Андреич. Ведь ты отлично знаешь, что без скотины Платон и Марина хозяйствовать не начнут. Да не худо бы... еще и жеребенка Марине дать...

— Еще и жеребенка?!

Баюков с размаху сел на стул. Он отчаянно взмахнул руками, точно готовился к защите,— наступление на его двор шло теперь с иной стороны. На него наступала Липа, которая внесла в его двор такое невиданное тепло, которая вошла в его сердце, выросла там крепко, как свежие корни в плодородной земле. И она же разрушала его планы, шла на него походом. Хотелось обхватить ее руками, как березку, прижать к себе, согнуть, покорить: думай же по-моему! Но она сейчас была опять так недоступна, что у Баюкова не доставало бы смелости даже подойти к ней ближе.

— Круто... ох, как круто решаешь ты все, Липа! — только нашелся он сказать и тяжело вздохнул.

— А вот так по справедливости и приходится поступать!

— Но ведь о себе забывать тебе совсем не следовало бы!.. Ведь ты сейчас и от себя отрываешь! Подумай, Липа, голубушка: точно вот нарочно ты все это разворачиваешь?.. И уж до того готова другому помочь, что свое же будущее добро разоряешь? Ведь ты... согласна ведь ты за меня идти? Да?.. Ты ведь уже как бы хозяйка над всем этим, что есть в этом дворе... Ты же знаешь, что я только и жду, чтобы передрыга эта наконец кончилась... и чтобы мне любить тебя, Липушка, милая ты моя!

Он было опять осмелел и протянул к ней руки. На миг лицо ее порозовело, взгляд смягчился; но, словно все еще борясь с ним и с собой, Липа отошла в сторону и прислонилась к двери, снова непримиримая и строгая.

— Ты все еще не хочешь понять,— заговорила она неровным от волнения голосом.— Да разве я смогу мягкий хлеб спокойно есть... любиться с тобой, радоваться,

а за плетнем, совсем близехонько от нас человека унижают, губят...

— Эх! Да стоит ли она, Марина эта самая, чтобы столько о ней говорить! — вырвалось у Баюкова. — Все-таки распутно она вела себя, было такое время.

— Да ведь не распутная она, нет! — прервала Липа. — С нелюбимым жила, с тобой-то. Легко ли?.. Человек она или нет? Имела право полюбить? Да, самое полное право... да! Не мотай головой, я верно говорю! Только вот темная она, неграмотная... не так она сделала, сама лишнюю кашу заварила! Я ей говорю: «Тебе бы сразу все Баюкову сказать, потребовать от него развода, а имущество пополам поделить».

— Вот уж как, ты против меня пошла... против моего двора...

— Вот, вот! — воскликнула Липа, и щеки ее запылали от гнева. — Опять двор!.. Даже ты, передовик, партийный человек, а и тебе двор душу мутит!

— Разлетелась-то как, батюшки!.. А на что нападаешь? Уж если на то пошло, давай обсудим, как говорится, на общем основании. Я тут тоже кое-что соображаю, — вдруг раззадорился Баюков.

— А! Желаешь прин-ци-пиаль-но вопрос поставить? — важно и в то же время задорно спросила Липа. — Ну-ну?

— Да, именно так! — продолжал Баюков. — Ты сообрази-ка, ведь трудовая собственность у нас не запрещена. Ага?.. Согласна?.. Так. И трудовой этой собственностью, скажем, я, крестьянин Степан Баюков, владею честно...

— Владей, пожалуйста!.. Только чтоб не она тобой владела! — отрезала Олимпиада. И, будто чувствуя, что сильно задела его, сказала еще резче: — Но вообще... я ненавижу эту... мужицкую душу!

Вдруг она топнула изо всей силы, а глаза заблестели злыми слезами.

— У-у, жадность эта деревенская, мужичья! Прежде я ее никогда не видала и не знала... И до чего я ее ненавижу — как стена человека обступила!.. Вот и тебя тоже...

— Ладно, — утомленно выдохнул Степан, — будет Олимпиада, хватит с меня... довольно уж, наслушался.

Глаза его потухли, губы сжались. Домовница даже

пошатнулась — так ударило ее крепко жалостью к Степану. Но отступать уж было никак невозможно. «Поддамся сейчас — потом ничего не выйдет!»

И тут вмиг надумала она конец этому тяжелому разговору. Выдержав взгляд Степана, она дернула его за рукав.

— Баюков... Степа... слушай. Помнишь, ты мне рассказывал, как всегда хвалил тебя командир, тот самый, которого сам Ленин знал?

— Ну... помню.

— Помнишь, ты рассказывал, что тебя и за то бойцы уважали, что тебя боевой командир хвалил? Помнишь?

— Ну? И что же, что же? — спросил Баюков и посмотрел на нее сбоку, не зная, куда опять гнет эта удивительная деваха. А она допрашивала, сияя большими глазами.

— Ну.. а скажи, скажи... ты Ленина-то уважаешь? Любишь Ленина-то?

— Смешная... Чего же спрашивать об этом?.. Лучше людей еще не бывало на свете, как Ленин.

— Ну вот, вот... — заторопилась домовница, а глаза все сияли и уговаривали. — А если бы Ленин жив был? Пришел бы вот к тебе товарищ Ленин, да и посмотрел... Похвалил бы он тебя сейчас или нет? Как ты думаешь?

Она заглядывала ему в глаза, требовательно посмеиваясь.

— Похвалил бы тебя Ленин, сказал: «Пр-ра-виль-но, товарищ Баюков, набивай карман крепче...» Или совсем иначе бы сказал? Ну, как ты соображаешь об этом?

Степан шумно вздохнул, отводя глаза.

— Ох!.. Ну и хитра!

Сунул руки в карманы и, выходя из комнаты, застучал сапогами по лестнице, будто вовсе не желая видеть, какое сейчас у домовницы лицо.

Ходил, посвистывал, ухмылялся.

— Ну и хитра-а!

Но внутри, как уже не однажды бывало в эти дни, будто что-то раздалось и беспокойные мысли тянуло куда-то, как лодку под ветром, с волны на волну.

А домовница, точно нарочно оставив его наедине с этими мыслями, занялась всякими мелкими делами: полила цветы на окнах, потом, раздув утюг, начала гладить сатиновые рубахи Степана и Кольши, — и все это

она делала удивительно неслышно, красиво и ловко, что и на этот раз заметил про себя Баюков. Ее легкая фигурка в ярко-синем ситцевом платье с белым горошком, русые подстриженные волосы, мягко лежащие вдоль чуть порозовевших щек, ее то чуть прищуренный, то озабоченно опущенный, то словно солнечный лучик, брошенный в его сторону, взгляд голубых глаз — все притягивало к себе Степана, и каждая его мысль неразлучно шла как бы рядом с Липой.

Она же, закончив все дела, наконец принесла плетеную в виде коробки корзинку с крышкой, где всегда держала вещи для чинки и штопки, и уселась на своем любимом месте, на верхней ступеньке крыльца, прислонясь плечом к стене. Краем глаза Степан увидел, что она штопала его старую рубаху. Выцветшая старая рубаха, словно только оттого, что лежала на коленях Липы, казалась ему легкой и светлой, как облачко. Сейчас эта забота Олимпиады о нем Баюкову особенно понравилась, даже растрогала. Он подумал: «Вот... шьет, будто простое дело, а тебе приятно... Да и что ни возьми на моем дворе, все хорошо, что Липой сделано, о чем она заботилась. Липа, Липушка, да ведь без тебя и двора своего и жизни своей я и представить себе не могу!» Нет, нет, он уже ни капельки не сердится на нее. Ему хочется сесть с ней рядом, прижаться к ней...

— Что же, иная дума дела стоит! — быстро сказала домовница, будто готовилась услышать эти слова, и подняла к Баюкову ласково усмехающийся взгляд голубых глаз, который он ожидал встретить.

— Может, что сделать для тебя нужно? — спросил Баюков, присаживаясь рядом и несмело касаясь ее плеча.

— Но в чем же ты можешь мне здесь помочь? — спросила она, посмотрев на Степана добрым, все понимающим взглядом, и кокетливо поиграла в воздухе иглой с белой ниткой.

— Впрочем, можешь помочь. В шкафчике книжка лежит, что ты в городе купил...

— Да, да... Максим Горький «Рассказы». Опять почитать тебе вслух?

— Почитай, я буду работать.

За ужином Липа заговорила ласково, но требовательно:

— Я прошу тебя, Степан Андреич, назначить день, когда поедешь на базар всякое добро продавать, чтобы Марине корову купить. Ну... когда это будет?

«Так и жмет!» — усмехнувшись про себя подумал он, но вслух сказал:

— Дай хоть передохнуть, подумать.. Я вот военный человек, а и то, видишь, передышки запросил.

— Ну, ну... за Красную Армию не прячься! — лукаво погрозила Липа. — Хорошие дела, сам понимаешь, не квасят, а торопятся выполнить скорее!

— На этой же неделе срок определим, — обещал Степан. — С общественными делами надо это дело сообразовать — ведь о тракторе сейчас хлопочем. Согласна?

— Еще как согласна! — ответила Липа, просияв ему навстречу своими нежными глазами.

На сеновале, накрывая холстиной свою душистую постель, Кольша рассказывал старшему брату:

— Ныне, под вечер, когда ты еще у Демида был, видел я, как Марина к нашему огороду подходила. Плакала сильно. Ревет прямо как телушка.

— Что-то, помнится мне, ты на Марину прежде жаловался, — усмехнулся Степан.

Кольша возразил серьезно:

— Так прежде все по-иному было. Слышь, Степа... не кормят даже ее толком Корзунины... Марину-то. «Мучают, говорит, они меня и Платона». А Липа ей говорит: «Не спуталась бы с ними, у настоящих бы людей совета спросила, не было бы у тебя горя такого». Ну, утешала она Марину, уговаривала, молока, пирога ей дала. А Марина тут меня увидела и говорит: «Не сердись на меня, Кольша, сама не знала, что делала тогда...» Слышь, Степа, прямо не узнать Марины-то: грязная, худая, а глаза такие, будто десять лет не спала... «Я бы, говорит, Степану в ноги поклонилась, чтобы простил меня, из-за меня ведь все горе пошло». А Липа сказала, что довольно Марине унижаться, да и не требуется. «Степан, говорит, и без твоих земных поклонов все поймет... они, оба брата, говорит, — Кольша довольно фыркнул, — люди душевные. А Степан Андреич, говорит, ведь человек на отличку, большевик!.. Может, говорит, поначалу и тяжело ему будет совсем по-иному дело решать, да своим же дворовым добром поступаться... а все-таки, все-таки...»

— Ну-ну! — заторопил его Степан.— Чего ты замаялся?

— А я вспоминаю, как Липа про тебя сказала. Да!.. «А все-таки, говорит, верю я, что партийная душа у Степана Баюкова верх возьмет над мужицкой».

— Так она и выразилась? — взволнованно переспросил Степан.— «Партийная душа верх возьмет»?

— Да! Из слова в слово сказал тебе! — горячо подтвердил Кольша.

«И мальчишку на свою сторону перетянула!» — думал Степан, глядя на освещенное луной курносое лицо уже крепко спящего Кольши. Сам он не спал. События и переживания последних дней снова, как прибойная волна, едва откатившаяся и вновь с шумом примчавшаяся обратно к берегу, нахлынули на него. А кроме того, Степан впервые представил себе, как тяжело и больно было Липе говорить с ним: она-то верила в него, верила, что его «партийная душа возьмет верх над его мужицкой душой», а он упирался, огорчал ее, доводил до слез.

«Да, было ведь такое, было!.. Но больше не будет. Слышишь, Липушка?»

Сон все не шел к Баюкову. Он глядел в черный квадрат окна, где в бездонной дали чисто и трепетно мерцали звезды.

«Видно, я уже домучиваюсь,— думал он, переворачиваясь с боку на бок.— Эх, Липа, Липа! Доконала ты меня, зелень упрямая!.. Вот уж никогда бы не подумал, что так она меня за сердце схватит!..»

Утром к Баюкову заехал тот самый волостной агроном, в присутствии которого проверяли и взвешивали семена, и передал, что товарищ Жерехов ожидает его завтра к себе.

На другой день Баюков приехал в волость.

Поздоровавшись, Жерехов оглядел Баюкова, подтянутого, чисто выбритого, в выглаженной Липой гимнастерке с темно-малиновыми петлицами. По всему было заметно, секретарь волостной партячейки был удовлетворен его видом.

— Присаживайся, товарищ Баюков. Закуривай... А ты вроде осунулся немного... Здоров ли?

Баюков смущенно кивнул.

— Здоров.

— Ну, рассказывай, как дела идут у вас в товариществе... да уж заодно и как твои дела... словом, обо всем вместе рассказывай не торопясь, у меня время для этого нарочно оставлено.

Так «обо всем вместе» и рассказывал секретарю Баюков. Жерехов слушал его, не прерывая и только временами вскидывая на Степана внимательный взгляд, в котором поблескивала глубоко запрятанная улыбка. Жерехов открыто улыбнулся только после того, когда Баюков, глубоко и облегченно вздохнув, произнес:

— Вот, пожалуй, все.

— Та-ак,— протянул Жерехов и снова улыбнулся, теперь уже совсем открыто.

— Что ж, настроение, вижу, теперь стало другое?

Баюков, все еще смущаясь, развел руками.

— Да ведь, как говорится, думает головушка, а кажет путь народушко.

— То-то, брат... именно! В одиночку верного пути не найдешь, а с нашим советским народом с пути не собьешься.

Жерехов с явным удовольствием распрямил свою долговязую фигуру и быстро прошелся из угла в угол. Потом остановился перед Степаном и, помолчав, произнес:

— Вот и тебе, товарищ Баюков, полезнее всего было вместе с людьми в жизнь заглянуть, понять ее поглубже.

— Да, уж запомню я эти деньки! — невольно вырвалось у Степана, и тут же, застеснявшись, он замолк.

Жерехов тихонько засмеялся.

— И тебе, и каждому посоветую эти переживания действительно запомнить на всю жизнь.

— А помнить их все-таки тяжело, товарищ Жерехов, — откровенно признался Степан. — Вроде и стыдно за самого себя.

— Но не в стыде только дело, — многозначительно сказал Жерехов. — Задумывался ли ты, что подобные же переживания, вызванные только иными поводами, нелегко достаются и другим крестьянам, в том числе и передовикам? Задумывался ты об этом?

— Нет... даже в голову не приходило. А вы откуда знаете?

— Еще бы не знать? — засмеялся Жерехов. — Вся волость у меня на глазах, я вижу все перемены в ее жизни. Трудности за всех переживаю... А перемены не так-то просто деревенским людям даются — многое в себе, в быту, в мыслях ломать надо... Да ты, я вижу, это понимаешь... недаром вот не забыл ты рассказать, как твоя невеста выразилась насчет мужицкой и нашей партийной, большевистской души... Неглупая девушка, кстати сказать.

Он усмехнулся краем глаза, увидел огонек, вспыхнувший во взгляде Баюкова, и продолжал:

— Ведь вот так крестьянин, середняк или бедняк, из простого хозяина двора становится активистом, общественником, членом партии. А такие люди, сам понимаешь, для партии, для государства советского очень нужные и ценные люди. Вот и ты, Степан Андреич, будешь для нас таким нужным человеком, если будешь держаться той линии, которая тебе, сам видишь, не так-то просто и легко досталась... Верно?.. И я тебе больше скажу: без тебя и других таких же крестьян-передовиков мы наше социалистическое государство строить не можем. Мы, рабочие и крестьяне, строим его вместе... Верно?

— Верно, — поддержал Степан, все сильнее чувствуя, что сегодняшняя беседа особенная в его жизни.

— Вот, к примеру, возьми нас с тобой, — продолжал Жерехов. — Оба мы коммунисты, но я пришел в партию из рядов рабочего класса. Я, токарь по металлу, стал потом командиром Красной Армии, а теперь я, представитель рабочего класса, руковожу партийной работой в волостном масштабе. Ты, крестьянин-середняк, из своего двора пришел в ряды Красной Армии, дрался за советскую власть...

— Вместе дрались, — вставил Степан.

— Да, да... вместе, брат, все вместе... Ты вступил в партию, вернулся к себе домой... И мог ли ты остаться тем же самым малоразвитым, несведущим во многом парнем, каким ты уходил в армию?

— Конечно, нет... жизнь-то ведь другая стала.

— Вот мы опять к тому же с тобой и пришли. Твой дворовый случай мне, партийному руководителю, показывает, что ты можешь расти, идти вперед, что ты можешь помогать нам, партии, рабочему классу. Ведь

сколько дел-то впереди, какое государство-то мы строим! А чтобы наш разговор тебе еще крепче запомнился, вот я тебе слова самого Ленина сейчас приведу.

Жерехов взял со стола небольшую книжечку, раскрыл ее и спросил:

— Ты читал статью Владимира Ильича «Лучше меньше, да лучше»?

— Нет, не знаю такой... не читал,— смутился Степан.

— Обязательно прочти... от этого многое просветлеет у тебя в голове,— настоятельно сказал Жерехов.— Вот тебе, возьми... есть у нас в запасе, специально для актива. Что еще неизвестно тебе и трудно будет понимать, я рад буду разъяснить.

— Большое спасибо,— сказал Баюков.

Разъяснив кратко, для чего написана была Лениным статья и что говорится в ней о крестьянстве, Жерехов раскрыл страницу, где несколько строк было жирно подчеркнуто красным карандашом.

— Итак, слушай, Степан Андреич: «Только тогда мы в состоянии будем пересечь, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади экономий, рассчитанных на разоренную крестьянскую страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.»

— А лошадь эта — трактор? — догадался Баюков.

— Правильно понял! — весело воскликнул Жерехов и вынул из ящика стола полевой цейссовский бинокль.

— Вот за этой новой «лошадью», «лошадью крупной индустрии», я слежу из дня в день. Вот этот мой военный бинокль верно служит мне теперь, в мирном строительстве.

Секретарь подошел к окну и навел бинокль на желтеющую невдалеке кромку полей.

— Поди-ка, поди сюда, Степан Андреич! — радостно воскликнул он, продолжая быстрыми пальцами наводить бинокль.— Видно! Вот как раз видно ее, нашу новую лошадку... Гляди!

Он передал Баюкову бинокль и спросил с волнением:

— Ну... видишь? Видишь?

— Вижу! — ответил Степан.

На горизонте, над черной полоской земли, двигался трактор, крошечный, как жучок, но необычайно четко видны были все его части и каждое его движение. Видна была его тоненькая, как иголочка, труба, его корпус, и даже голова водителя, чернеющая живой точкой. В этом двигающемся далеко крошечном предмете тем не менее легко и безошибочно угадывалась заключенная в нем наступательная сила. Он двигался не останавливаясь, упорный, неукротимый железный конь. Баюкову вдруг представилось, как этот железный конь поднимает многопудовые комья земли, которая буграми вздымается из-под колес.

Водя биноклем и будто сам двигаясь следом за трактором, Баюков смотрел и смотрел, как зачарованный.

— Что? Хорош? — спросил Жерехов, когда Степан, широко и радостно улыбаясь, отнял наконец бинокль от глаз.

— Уж скорее бы этого коня у нас на полях увидеть! — ответил увлеченно Баюков.

— Скоро увидите, — пообещал Жерехов. — Сейчас трактор пашет поле соседнего с вашим карпухинского товарищества, а потом — к вам.

— То-то, поди, карпухинцы радуются, Николай Петрович.

— Всяко бывает, Степан Андреич. Одни радуются, а кое-кому трактор совсем не по нраву. Наверно, знаешь, как в том же Карпухине кулаки агронома пристрелили? А в Рожкове в разных концах села в одну ночь два дома сгорели. В Ивановке комсомольца до полусмерти избили, а в Телятникове председателя сельсовета ночью ножом пырнули... еле беднягу от смерти спасли. И, заметь, все это было там, где крестьяне создали товарищества и где трактор землю пахал. Как видишь, классовая борьба разгорается. Сейчас у нас по волости всего два трактора — и обчелся. А через несколько лет, конечно, целая колонна машин появится. Сейчас у нас тозы организуются, а потом, возможно, тоже появится что-то новое... И все это, товарищ Баюков, в первую голову нам, коммунистам, делать и нам руководить народом. Еще много будет всяческих трудностей... И борьба с врагом будет обостряться, но победа будет наша!

— Да уж за что взялись, от того не отступимся, товарищ Жерехов!

— Держись всегда такой линии, Степан Андреич. Эх-х! — и лицо Жерехова вдруг приняло страстно-мечтательное выражение и стало совсем молодым. — Эх-х, товарищ Баюков!.. Кабы я мог, в каждую бы душу заглянул, в каждую бы больше смелости и силы вдохнул... чтобы подобрался у нас такой отряд работников, такой... — зажмурившись, он покрутил головой, — чтобы за каждое большое и новое дело брались бы все дружно, крепко... Сам знаешь, мы, коммунисты, на глазах у народа живем. Верно мы сделали — при нас останется. Хорошая слава, по пословице, у порога лежит, а худая по свету бежит. Вот и твоя, опять же замечу, дворовая история потому меня и волновала, что это не твое только личное дело. Дошел ты до правильного разрешения, держись и помни: добрая слава не для тебя только хороша, а всей работе партии помогает.

Жерехов вдруг сел рядом с Баюковым на длинный полужесткий диван, обитый клеенкой, и заговорил, понизив голос, с глубоким доверием:

— Если бы ты знал, Степан Андреич, как я за наших коммунистов и вообще за передовых людей душой болею!.. Все их удачи и хорошие дела для меня как солнышко в окошке, а всякие их прорухи... вот здесь, как говорится, на горбу! — и секретарь звонко пошлепал себя по загорелому затылку.

Степан посмотрел на него и подумал: «Когда вот люди так на тебя надеются, надо вовсе совести не иметь, чтобы их доверие обмануть».

Он возвращался домой в праздничном настроении, будто его чем-то щедро и надолго одарили, а в нем самом открыли новый источник сил, способностей и возможностей сотворить еще много хороших, полезных для народа дел, о которых он, правду сказать, не задумывался.

— Теперь у меня словно гора с плеч! — вслух произнес он, хотя ехал один.

Чувство свободы и душевной легкости так веселило, что Степан даже запел. Он знал, что голоса у него нет, что петь он не умеет, и все-таки пел, вернее орал во всю ширь своей здоровой груди:

Никто пути пройденного
У нас не отберет.
Э-эх, Конная Буденного
Дивизия вперед.

Каурый, помахивая хвостом и потенькивая хриловатым колокольчиком, бойко бежал домой.

Давно уже не бывало в баюковском доме такого веселого и говорливого обеда, хотя за столом не было ни капли вина, да и день был будний.

После обеда Баюков ушел полежать на сеновале. Но, услышав внизу быстрые шаги домовницы, он открыл глаза и прильнул к щели, откуда ему хорошо виден был свой и корзунинский огород. Кажется, еще никогда не казалась ему Липа такой красивой, стройной, свободной, как сейчас, когда она шла навстречу Марине. А Марина, таясь за кустом боярышника, поджидала ее. Точно впервые Степан видел свой огород и старый плетень, отделяющий его от корзунинского огорода. Но две женщины протянули друг другу руки, не замечая этого плетня. Стоя плечо к плечу, Липа и Марина говорили тихо и дружно, как сестры, свидевшиеся после долгой разлуки. Горбила спину, всплескивала руками Марина, гнулась, как березка под непогодным ветром. Липа же стояла свободно и прямо, чем-то уверенно гордясь, и все в ней поражало Баюкова новой, чистой, только теперь открытой красотой.

— Вот она... какая! — шептал Степан, и сердце в нем радостно замирало. — Смелая она, справедливая... Липа, Липушка моя!

И вдруг, чуть не вскрикнув, поразился новым открытием: широко научилась шагать Липа-домовница. Через будущий свой двор перешагнула, ни о чем не пожалела — человека нашла.

— Что это... я... что? — бормотал Степан, а сам весь дрожал, в груди что-то радостно кипело и рвалось наружу.

Он вскочил на ноги и, полный чудесного нетерпения, побежал туда, где Липа поднимала к жизни человека.

— Эй... бабы... эй... товарищи женщины! — кричал Степан, призывно махая руками. — Товарищи женщины!..

Домовница мигнула Марине, и та, все поняв, просияла, закивала ему навстречу.

Сколько времени проговорили втроем — не считали.

Первый раз после многих дней смотрел Степан в лицо отвергнутой им Марины спокойно и жалостливо.

— Не видел тебя никто из Корзуниных?

Марина успокоила:

— Все в город на базар уехали, а Платона опять на лесосеку послали.

— Ты не рассказывай пока никому, о чем мы тут говорили,— учил Марину Степан.— Ты даже Платону пока не говори... он еще проболтается кому и все дело испортит.

— Как можно? — пугалась Марина.— И Платону не скажу.

— А знаешь, почему пока не надо говорить?— хитро подмигивая, спрашивал Степан.

Марина, еще не совсем понимая, покачала головой.

— Лишняя болтовня может нам всю картину испортить. Вот ты слушай... Нет, вы обе только представьте себе, товарищи женщины, какая картина получится... Вот сидят все Корзунины и едят тебя, Марина, поедом едят... а уж меня, а уж тебя, Липа, честят, честят — хуже некуда!.. И вдруг ворота открываются — б-бах, р-раз! Идем мы с тобой, Липа, ведем корову, на шее у нее колокольчик позванивает. А на веревочке за Липой поросята бегут... Кольша на подводе зерно семенное в мешке везет, да и барахло всякое кухонное тут же за компанию... Корова мычи-ит, р-реве-ет на новом месте, посуда гр-ремит, поросята хрю-ю-кают!.. Вот картина-то будет, Марина... а?

— Господи... Да уж подумать только...— дурея от радости, шептала Марина.

— Да уж... действительно расписал! — и домовница уже который раз утирала смешливые слезы.— Вот так всех этих злыдней стыдить да и учить — я согласна!

— А тут, глядишь, оба вы с Платоном к нам в товарищество вступите... вот я тебе сейчас разъясню!

Степан разъяснял, а Марина слушала, кивая и улыбаясь.

— Ты вроде не все поняла, Марина? — усомнилась Липа.

Но Марина только радостно отмахнулась.

— Господи-и... ежели ныне еще не все поняла, так завтра получше пойму!.. Уж раз вы оба тут, значит дело хорошее. А мы с Платоном от добрых людей не отстанем!

— Вот как она заговорила... смотри-ка! — засмеялась Липа, и ее ласковые глаза с такой бесконечной уверенностью посмотрели на Баюкова, что ему захотелось сделать еще больше, чем он обещал.

— Батюшки... голубчики вы мои! — всхлипнула Марина. — Как мне отблагодарить-то вас... ума не приложу.

— Шш!.. Тише! — заговорщицки прошептал Баюков. — Главное, пока не шуми, не болтай никому ни слова!.. Уж недолго теперь ждать тебе и мучиться. Вот скоро трактор к нам прибудет, вспашем наше поле — и тогда я займусь твоими делами, Марина... Приготовим все, что есть для продажи, и... — он почему-то присвистнул, — утром раненько запрягу Каурого — и в город на базар. Выберу тебе ха-арошую корову... И тут начнутся перемены и красивые картины!

— Ой, батюшки-и! — залилась тихим счастливым смехом Марина. И домовница, переглянувшись с Баюковым, тоже засмеялась.

Едва домовница и Баюков вошли оба во двор, едва хлопнула за ними дверца из огорода, девичьи руки, теплые и ласковые, обняли Степанову шею.

— Вот хороший-то... родной... милый мой!

Так крепок был ее поцелуй, что Степан, будто захмелев, прижал к себе Липу сильными руками — и весь мир вокруг них будто заплясал веселым сватом.

О прибытии трактора в деревню Бережки стало известно еще с утра накануне.

— Нам, закоперщикам, подготовиться надо, чтобы встретить нашего помощника достойно... во! — и Демид Кувшинов, многозначительно крякнув, отвесил важный поклон, как бы уже видя перед собой этого помощника.

— Да уж лицом в грязь не ударим, встретим всей душой!.. Верно ведь, Степан Андреич? — и Финоген, не без лихости подбоченясь, подмигнул улыбающемуся, довольному Степану.

Так началось на баюковском дворе совещание членов товарищества, посвященное «вопросу о встрече трактора». А после совещания Липа, Кольша и еще целая кучка деревенской молодежи засели за работу. К вечеру было готово длинное кумачовое полотнище, где были нашиты крупные белые буквы: «Да здравствует советская техника!»

С вечера все бережковские мальчишки получили от Финогена строгий наказ — во все глаза следить за дорогой.

Одна мальчишечья ватага устроилась на крыше сарая Демида Кувшинова. На крыше сохранилась башенка старой голубятни, которую наблюдатели и оседлали еще на рассвете. Другие мальчишки толпились на Демидовом дворе и у ворот, готовые при первом же сигнале с голубятни стремглав разбежаться в разные стороны с криками: «Едет! Едет!»

Никто из наблюдателей никогда не видел трактора, но все знали его главную приметку: идет без лошади.

Было около шести утра, когда с голубятни раздался восторженный вопль: «Едет!» — и тут же ребята рассыпались по улице с криками: «Едет!.. Трактор едет!.. Тракто-о-ор!»

Трактор еще только показался у поворота дороги в Бережки, а за околицу уже вышла целая толпа. Красное длинное полотнище, с приветственными словами туго натянулось на высоких шестах и пламенело над дорогой, как диковинные ворота, к которым приближалось само будущее. Все закричали «ура», а тракторист, заметив встречающих, привстал и замахал фуражкой.

Трактор приближался, чадя дымком и мерно прогрехатывая.

— Конь бежит, земля дрожит! — радостно воскликнул Финоген и захопал навстречу трактору.

— Эх, хорош конь! — любовно произнес Демид, обратив к Баюкову еще невиданно светлое и доброе лицо. — Вот это подмога так подмога!

В радостном нетерпении все двинулись навстречу трактору. Когда он вплотную приблизился к встречающим, тракторист остановил машину и соскочил наземь. Это был черноусый человек средних лет с загорелым лицом, выпачканным машинным маслом и копотью. Тракториста встретили как давнего знакомого; ему пожимали руки, хлопали по плечу, по широкой спине, спрашивали, хорошо ли пойдет машина по пашенной земле.

— А вот увидите, что еще лучше, чем по улице! — усмехнулся тракторист и, севши опять за руль, дал газ.

Трактор въехал в ворота околицы, покатыл по улице, сопровождаемый криками «ура», звонкими перекликами ребячьих голосов, переливами гармонии.

— Ах, спеть бы! — горячо сказала Липа и чистым, свежим голоском начала:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе!..

Сначала Степан, а потом ребята-школьники подтянули ей, и наконец получился целый хор, правда не очень складный, но зато каждый пел от души, во весь голос. Даже Финоген, сдвинув картуз на макушку, выпевал дребезжащим тенорком:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Демид посмотрел было с усмешкой на растроганно-веселое лицо Финогена и вдруг сам запел густым басом:

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!..

Шествие повернуло в переулок, откуда дорога выходила прямо к полям.

Когда трактор сошел с проселка и вонзил все свои колеса в комковатую, затвердевшую землю паров, толпа вдруг затихла. Все неотрывно следили, как машина все шла и шла, поднимая большие пласты земли, которые, покорно поблескивая свежими срезами, бугристыми полосами вставали за трактором. Он шел все дальше и дальше, а люди, будто теперь уже окончательно уверившись в его силе, заговорили громко и, забыв старому-жицкий обычай, не таясь показывали свое радостное удовлетворение и надежду.

— Слышь-ко, Степан Андреич... — вдруг произнес Демид, дернув Баюкова за рукав и отводя его в сторону. — Слышь-ко, что я тебе скажу...

Демид медленно, торжественным движением поднял руку и указал на трактор, который, уходя все дальше вперед, смешивал вековые межи и полосы.

— Все вышло, как сказывали вы оба — волостной секретарь и ты... Что было обещано советской властью, то и дадено.

Он приблизил к Степану освещенное радостью лицо и произнес тише:

— Откроюсь тебе, как на духу... Я хоть и пошел в товарищество-то, а сам все чего-то побаивался, душа тайком все с чего-то побаивалась... А ныне, гляди, уже ничего не боюсь.

Корзунины наблюдали за шествием сначала из чердачного окна, а потом спустились вниз и уже близко увидели всех, когда трактор проходил по переулку мимо их плетня.

Маркел стоял за толстым стволом старой корявой березы и молча глядел на улицу. Уже все прошли мимо, и только дымок трактора, как прозрачное сизоватое крылышко, взлетал вдали над колыхающимися, как волны, головами и плечами людей,— а Маркел продолжал неподвижно стоять на месте.

— Тятенька... что ты? — робко окликнула его Прасковья.

Свекор, не удостоив ее и взглядом, мрачно приказал сыновьям:

— Айда, поглядим... а вдруг споткнется где эта чертова машина?

Матрена высунулась было вперед:

— Тятенька, надо уж за стол садиться... варево кипит...

— За стол, за стол! — передразнил Маркел. — Тут нашего брата прямо на стол кладут, под божницу... Во-он она, погибель наша, дымит, тарахтит... — и он крючковатым темным пальцем ткнул перед собой, в ту сторону, откуда слышался ровный рокот мотора.

— Айда! Поглядим.

Когда мужчины ушли, Матрена стала громко жаловаться:

— Это что ж теперь будет? Похлебка готова, баранина с картошкой тоже в самый раз... садиться бы надо за стол, а они, на-ко, потопали в поле голодные... А пока они там глядят, все переварится, высохнет... У-ух, никудышная жизнь пришла!

— И когда такая жизнь кончится, господь один знает! — горько вздыхала Прасковья.

Маркел и большаки проходили больше часа и вернулись домой голодные и потому еще более злые. Маркел сначала ел молча, а потом вытер бороду и, оскалившись, произнес:

— Да, бабы, не мне одному, старику, а всем нам ложиться под божницу, всем... вот как оно выходит!.. Не в чужую, а в нашу сторону камни летят, нам башку прошибить хотят! — злобно подчеркнул Маркел. — Сказали мне ноне, что нашему брату, крепким хозяевам, конец

приходит... И кто это сказал? Х-ха... Демидка Кувшинов, наш батрак, когда-то и за человека его не считали... Увидел я этого обормота Демидку, и душа закипела. «Скоро же, говорю, выучился ты народом верховодить... а только спервоначалу спросить бы надо, желаем ли мы, народ, таких, как ты, слушать!» А он на меня глазищи вылупил. «Ты, говорит, Маркел Корзунин, не народ!» — «Это как же, говорю, «не народ», ежели я жив-здоров и, может тебя, худоногий, еще и переживу!» Демидка опять: «Все равно, говорит, таким, как ты, конец приходит». И Финогешка тут же сунулся: «Верно, говорит, Маркел, на глаз ты хоть пока и живой, а вроде и мертвый». — «То-то, говорю, вы от нас, как от мертвых, целый клин пашни украли!» Тут Баюков как из-под земли вырос и этак важно да угрозно меня спрашивает: «Как смеешь говорить «украли», когда земли эти нашему товариществу отписаны по постановлению советской власти и народа?» Тут и другие горлопаны подошли... и давай нас разными словами шпынять... Вот как Степка да этот — как его? — волостной секретарь всех их образовали!.. А трактор этот идет, идет, не споткнется... То-то и мужики храбрости набрались, обнаглели... самого беса не страшатся!.. А вот недельки через две-три посеют они на той земле — тут уж всему каюк. Будто никогда мы, Корзунины, там и ногой не ступали... Вот как нас прижали... Чуете вы все али нет?

Маркел, задохнувшись, приостановился, мрачно водя глазами. Потом бросил в сторону хмурых сыновей взгляд такого свирепого отчаяния и тоски, что даже тупой и малоподвижный Семен, почувствовав что-то необычное в состоянии отца, подавленно склонил низколобую голову. Андреян недовольно крякнул и с опаской глянул на отца. А Маркел, будто желая пронзить взглядом своих сыновей, продолжал с тяжелой и злобной одышкой:

— Меня, Маркела Корзунина, все эти людишки, как мальчишку желторотого, честят-шпыняют, а я бы их всех... и трактор этот подлый... — у-ух-х! — своими руками бы зашиб до смерти!.. А сыновья мои, большаки, надежда моя... стоят, как столбы придорожные, рта не разинут, в сторонке жмутся... обалдуи, дурни несусветные!..

Из отцовских уст посыпались упреки, перемешанные

с такими зазорными словами в сторону Андреяна и Семена, что и разбитная Матрена далеко не сразу нашлась, чем умиловать свекра. Заметив, что старик уже приустал браниться, Матрена смиренно приблизилась к нему и с низким поклоном поставила перед ним ковшичек крепкого изюмного кваску, который незаметно успела принести из погреба.

— Испей, тятенька, испей... чай, горло пересохло наших несмышленных уму-разуму учить! — ласково пропела она.

А пока Маркел осушал ковшик, Матрена торопливо продолжала:

— Мы же, тятенька, все в твоей воле, — зачем тебе на всякое наущенье силушку тратить?.. Ты просто прикажи нашим мужикам, прикажи — и пусть-ко они не выполнят по-твоему!.. Ты наказывай их хоть батогом, хоть кулаком, а мы с Прасковьей спасибо тебе скажем!

И, сохраняя на лице умильную улыбочку, Матрена полуобернулась к Прасковье:

— Верно я говорю?

— А то как же... так оно и есть, — покорно подтвердила Прасковья, злобно подумав про себя: «Лиса Патрикеевна, подлюга ползучая!»

В эту минуту вошла Ермачиха со своим незадачливым сыном, которого она тащила за руку, как младенца. Ефимка был трезв, уныл и чем-то подавлен. Хотя каждый из Корзуниных знал, что появление Ермачихи несло за собой только ущерб для хозяйства, ее приход сейчас был даже как-то кстати. Ее обычное приветствие, уснащенное липкими словечками «благодетели» и «милостивцы», напоминало о прошлом, о котором так тосковали на корзунинском дворе.

— Вот пришла к вам, милостивцы, на судьбу свою пожалобиться, — плакалась Ермачиха. — Может, наставите нас, горемычных, прибавите вашего ума-разума!

— Да что у тебя, убогая? — прогудел Андреян, уловив во взгляде отца огонек оживления и любопытства к разговору.

— Все насчет охоты, насчет моего забиженного сынка... — ныла Ермачиха, утирая сухие глаза. — Пришлось ведь ему в волость тащиться, разрешение просить. А ему той бумажки и не дали... Да говори ты сам, чудышко! —

и Ермачиха с неожиданной для ее тщедушного тела силой дернула за руку своего долговязого и неуклюжего Ефимку.

Тот, неловко разминаясь, будто поднимая невыносимую ношу, забормотал:

— Н-ну... пришел я в волость... и там ничего, как есть ничего не разрешают... «Ты, говорят, праздношатающийся... зря в лесу палишь, безо время и птицу бьешь... Да еще, говорят, корову чью подстрелишь... Общество, говорят, не желает, чтобы ты, Ефим, ружьем своим куролесил...»

— Общество! Врут они, врут! — вскрикнула, как под ножом, Ермачиха. — Все это Степка Баюков крутит, всюду поспекает, дьявол горластый!.. И все-то ему удастся, а народишко к нему льнет, как мухи к меду...

— Да-а... уж и срамили его, Степку этого, а он все равно верховодом остался... ништо его не берет, зубастого! — шумно вздохнул Маркел.

— Вот и я то же говорю, милостивец, — продолжала ободренная этими словами Ермачиха. — Моему злосчастному Ефимушке Баюков совсем свет застит хочет, а самому удача в руки так и плывет... На дворе у него — вот вам крест, сама только что слышала — двух свиней большущих нынче колоть собираются.

— Свиней колоть?! — оживились все Корзунины.

— Это с чего же? — раздумывал вслух Маркел. — Свадьбу, что ли, он играть собирается? Да ты, поди, спутала, старуха?

— И-и, нет, батюшка, не спутала, вот те крест! — клялась Ермачиха. — Насчет свадьбы ничего не слышала, а как Финоген с Демидом на улице беседовали, слышала все до последнего словечка, вот как тебя, милостивец, слышу. Мы с Ефимушкой потихоньку позади плетемся, а эти двое, Степановы дружки, про свиней говорят: много, мол, Баюков за такую упитанную скотину получит, даже на корову, мол, почти хватит...

— Ишь, одной коровы ему мало, вторую заводит! — завистливо молвила Матрена.

— Да, да... а мы, милая, страждем! — запричитала Ермачиха. — Нам свет застило, деваться некуда... Вот я и говорю: «Айда-ко, Ефимка, к благодетелям, может тебя в работники возьмут». Да кланяйся ты, орясина богова!

И она, толкнув сына вперед, заставила его низко поклониться Маркелу.

— Так, может, возьмешь его в работники-то, Маркел Карпыч?.. Будь бы он при месте, мне бы, старенькой, полегше было. А ведь теперь охотничать ему нельзя, того гляди под замок посадят, — так уж лучше пусть в работники к тебе пойдет... Разумом его бог обидел, а силищи в нем — сам видишь, сколько, невпроворот силищи... А уж слушаться он тебя будет, господи-и!.. Его, как дите, куда пошлешь, туда и пойдет, что прикажешь, то и ладить станет... Возьми его к себе, кормилец! — стрекотала Ермачиха, кланяясь и утирая уже непритворные слезы.

— Взять его к себе... — медленно повторил Маркел, расчесывая пятерней бороду. — Об этом, старушка божья, подумать надо. Работников ноне мы не держим — сама знаешь, какое время настало... Да-а, подумать надо.

— Уж подумай, батюшка, надумай как-нибудь! — взывала Ермачиха. — Ноне, как от лесу-то его отрешили, мне с сынком, говорю тебе, чистая беда!

— Та-ак... — протяжно вздохнул Маркел. — Можно, конечно, в помощь его взять... пока, на время: в одном деле будет нам помощником... Только так, старуха. Согласна?

— Согласна, батюшка, согласна. И так ладно, голубчики! — обрадовалась Ермачиха. — Уж только вы его не забижайте, безответного!

— Кто нужен, того не обижают! — пообещал Маркел и, обратившись к снохам, приказал: — Ну-ко... дайте старушке божьей малость того-другого... мучки, масла, крупки...

— Ох, спасибо тебе, благодетель!.. Век за тебя буду бога молить! — радостно запричитала Ермачиха, семена вслед за нахмуренными корзунинскими снохами.

Ермачиха скоро убралась восвояси, а Ефимку оставили обедать. Перед тем как сесть за стол, Маркел подозрительно спросил:

— А те, нелюбые, где?

— Платошка опять на лесосеке, дрова заготавливает. — угодливо ответила Прасковья.

— А Маришку я на реку услала половики стирать... она там до ночи провозится, — доложила Матрена.

— Вот и ладно,— одобрил Маркел.— Нечего им, ме-
жеумкам, о наших делах слушать да лишнее знать.

Облегченно вздохнув, он приказал:

— Ну садись за стол!

За обедом Маркел сам подкладывал Ефиму лучшие куски жирной баранины, которую по обычаю подсолили к празднику Спаса. Потом Ефимке поднесли полный стакан водки, а дальше и еще. Ермачихин сын, как всегда после выпивки, разошелся и выболтал все, что засело у него в голове. Он клял волостное начальство, и больше всего Степана Баюкова, и Корзунины ему во всем под-
дакивали.

— Что ему ты, головушка бедная? — жалостливо со-
чувствовал Маркел.— Он, Баюков-то, нас, хозяев, при-
жал, совсем прижал... усмирить его надо. Вот и помоги
нам Баюкова усмирить!

— И помогу-у! — пьяно ломался Ефимка.

— Нам поможешь — и себе дорогу в лес вобрат про-
ложишь.

— И пр-роложу-у!

— Ты запомни, Ефимушка, этакий Степка храбрит-
ся, задирает, пока его не пугнули...

— И пугну-у! И пальну-у!

— Вот и доброе дело сотворишь! — похвалил Мар-
кел. Вдруг он поднялся с места, темнолицый, с нависши-
ми сивыми бровями, со встрепанными буро-седыми воло-
сищами и длинной бородой, косматый, как древняя,
обомшелая сосна, которая мертвенно скрипит под буй-
ным и свежим ветром.

— Степка Баюков хочет всех нас совсем со свету
сжить! Товарищество какое-то со своей голытьбой выду-
мал... нас, Корзуниных, в болотину загоняют, а тебя,
охотника, из лесу выгоняют...

Маркел страшно выругался и так сжал в кулаки ко-
стлявые скрюченные пальцы, будто рвал ими чье-то жи-
вое тело. Потом тяжело выдохнул:

— О-ох!.. Вот мы ему смерти желали... да нет: кре-
пок он, дьявол — Степка!.. Еще погодите, большаки...
уж ежели он нас с пашни выжил, так он когда-нибудь
нас и из дому, со двора нашего сживет... И всех он, он
один взбаламутил. А пропади он — все, как овцы без
пастуха, разбегутся...

После обеда наконец разомлевшего Ефимку увели в баню, как и в прошлый раз, когда он вымазал дегтем баюковские ворота.

Через несколько минут к дверям бани подошел Маркел, послушал храп Ефимки и, подозвав к себе невесток, спросил:

— Спасова брага хороша удалась?

— Уж так-то, тятенька, удалась, что быка с ног свалит! — похвасталась Матрена.

— Вот как! Молодцы бабы! — похвалил Маркел. — Этой самой бражкой пусть наш гостенек и опохмелится, когда встанет.

— Ежели как по прошлому разу, так он только к ночи проспится, — сказала Прасковья.

— Да и пусть его — к ночи так к ночи... Христос с ним, — благодушно согласился Маркел, а потом сказал ласково: — Вот что еще, сношки дорогие... проведайте-ко, что деется на баюковском дворе — правда ли, что Степка свиней ныне колоть задумал?

Вечером обе снохи выследили: у Баюковых действительно уже закололи двух свиней, туши опалили и стащили в погреб. Матрена, кроме того, видела, как Степан смазывал колеса телеги, проверял сбрую — и, видно по всему, на рассвете собирается ехать на базар в город.

— Вот и ладно. Спасибо, сношеньки, — опять непривычно ласково произнес Маркел.

После ужина свекор приказал снохам:

— Мы с большаками еще посидим, а вы, бабы, лучше ступайте себе подале... Сколь времени к пряже не притрагивались, барыни какие!.. Ну, ступайте, и чтоб я не видал вас!

Снохи послушно пошли в огород и сели за пряжу на банной завалинке. Пряли молча, но беспокойство брало свое, нитка крутилась вяло.

— Это что ж у наших мужиков попритчилось? — наконец прервала молчание Матрена. — Знаешь что? Пойду-ка я послушаю, о чем это они так разговорились. Я тихохонько из кладовушки продох вытащу и все как есть услышу! — и Матрена решительно встала.

Вернулась Матрена, трясась от страха.

— Слушай-ко, слушай... страсти какие! Наши-то Баюкова... убить... убить хотят... своими ушами слыша-

ла! Ефимку-дурака хотят сговорить, чтобы Баюкова из ружья ухлопал... Ой, что и будет...

Прасковья уронила веретешку, побледнела и дрожащей рукой перекрестилась.

— Царица небесная... прости нас грешных... святые угодники, молитесь бога о нас... не карайте души наши...

Прасковья упала на колени и начала земно кланяться, бормоча про себя молитвы. Потом подняла глаза на бледную, трясущуюся Матрену и осудила:

— А ты что зря стоишь, пошто не молишься?.. Ох, вижу, не любишь ты богу молиться, Матрена.

— Что ты, что ты! — испугалась Матрена. — Вона, видишь, на коленки падаю... кланяюсь земно.

Матрена, стуча зубами, принялась отбивать поклоны. Наконец обе устали и сели опять за пряжу. Но руки дрожали, нитка не сучилась. Матрена все-таки не вытерпела и зашептала:

— Ну, ты только уразумей, что они удумали-то... страсти-то какие!

Прасковья уже снова мусолила палец, крутила нитку и нашептывала строго:

— Молчи ты... ну... Наше дело женское, подначальное. А с Ефимки-дурака бог спросит... Хоть бы уж только разор нашему двору да нелады эти кончились! Только об этом и дума. Господи-владыко, прости нас, грешных!

Наконец дверь в доме отворилась, и Маркел показался на крыльце, спокойно поглаживая бороду. Заглянув в огород, он спросил:

— А что, бабы, гостенек наш еще не проспался?

Матрена сказала дрожащими губами:

— Нет, тятенька... храпит вовсю.

— Н-ну... Христос с ним!

Маркел подозрительно пошарил вокруг сузившимися, как шилья, глазами.

— Вот что, бабы... — медленно произнес он, — когда те, нелюбые, домой воротятся, ничего им не говорить... насчет браги, насчет гостя... А гость хоть и пьяница, хоть и дурак, а свидетель. Суд, однако, близится, бабоньки, так нельзя об Ефимке забывать, угостить надо получше. Как проснется Ефим, так бегите за мной — я сам гостю дам бражкой опохмелиться. То-то, бабоньки,

Марина вернулась с реки поздно, когда уже почти стемнело. Пока она развешивала тяжелые половики, приехал с лесосеки Платон. Оба чувствовали такую безмерную усталость, что даже голод не мог перебороть ее. Ели они почти в полусне и после ужина сразу легли спать, ничего не зная и ни о чем не подозревая.

Незадолго до возвращения Марины и Платона проснулся беспутный Ефимка. Едва поднял он с лавки всклокоченную, будто налитую свинцом голову, как в дверях бани показался Маркел с бутылкой браги в руках.

— Как спал, молодец-удалец?

— Опохмелиться бы... — прохрипел Ефимка.

— А вот тебе и бражка, голубок!

Маркел взболтнул бутылку, и оттуда пахнуло таким сладким и крепким духом, что Ефимка забыл обо всем на свете. Он так опохмелился «спасовой брагой», что опять без памяти повалился на лавку.

— Ой, тятенька... не лишку ли он хватил? — оробело спросили сыновья, глядя на распростертого на лавке Ермачихино сына: если бы не храп, Ефимку можно было бы принять за мертвого.

— Нет, не лишку, — ответил Маркел. — Этаким прорве столько и надо. На заре растолкаем его, а как вот он еще нашей бражки хлебнет, так уж совсем на стенку полезет!..

Когда все затихло на корзунинском дворе, опять один на один упорно убеждал Маркел темноликого Спаса поторопиться с помощью и простить ему грех, взятый на душу.

— Так ведь, Спасе пресвятой, на неугодного тебе — на безбожника руку поднимаю, — оправдывался Маркел перед Спасом, как перед сообщником. — Ведь он, ненавистный, лба не покстит, христиан православных не уважает, грешник поганый, и без меня бы, боже всеблагий, адов огонь такому бесу бы уготован, кипеть ему, безбожнику, в котлах адовых... Все равно пропащий он, и тобой, милостивец, проклят во веки веков... А нам, Корзуниным, этот Баюков хуже кости в горле, верь мне, Христе-Спасе!.. Погубитель он наш, враг наш лютый... Либо ему, либо нам погибать... не уживемся

мы рядом на земле... А ты, господи, простишь меня, раба твоего верного, не допустишь сраму моего...

Тут показалось Маркелу, что хитренько и ласково мигнуло корявое Спасово лицо, будто после всех стариковых рассуждений поставил Спас точку.

Напоследок пообещал ему Маркел целый год кормить по праздникам по одному нищему. «На это ведь, господи боже, добра уйдет немало — нищие эти, они куда жаднее на хлеб, чем все прочие люди».

Молились в тот вечер и корзунинские сыновья-большаки, говорили скупой и нерадостно каждый со своим ангелом, больше, впрочем, надеясь на отцово умение.

А в погребе, разлитая в баклажки и бутылки, пенилась пьяная брага. Напиться такой в жару — пойдет в голове дикая плясовая игра, слабый человек станет буйным, море ему по колено и кровь человеческая не страшна.

Растолкали Ефимку чуть свет, опять поднесли опохмелиться. Он жадно тянул мутно-белую пенную брагу.

— Я не только что охотник лесной... я... братцы мои, до хмелю охотник не хуже... — бахвалился Ефимка.

— Пей, Ефимушка! — уговаривали большаки. — Пей!

— А вот как пугнешь как следует Степку Баюкова, как пальнешь в его сторону раза два-три, цены тебе тогда не будет, Ефимушка! — ласково убеждал Маркел. — Будет у тебя бутылочка бражки с самого утра... пей, голубь, на здоровье!.. Только помни, молодец, помни: как только Баюков на крутояр выедет, так ты и пальни в него! Лошадь с перепугу сразу Степку сбросит вниз... Вот пусть-ка он в реке побарахтается!

Ефимка рассвирепел, выпучил водянистые глаза и начал грозить:

— Говоришь, припугнуть? Припугну-у! Пальнуть? Пальну-у!.. Пускай-ка в реке побарахтается...

— То-то будет Степан помнить, как ты его пугнул, чтобы он добрым людям жить не мешал! — гудели большаки в ухо Ефимке, а он расходился все сильнее:

— Я вот как пугну его!.. Я вот... я вот...

Ефимку спешно усадили на молодого коня, который недавно стал ходить в упряжке. Окольной дорогой, чтобы никто не видел, Корзунины велели ему ехать в лес, схорониться в кустах со стороны крутояра и ждать там Баюкова.

— Уж я дождусь, дождусь... Будет он меня помнить! — храбрился Ефимка.

Лес был тих и дремен, лениво перекликались невидимые птицы.

Вон впереди крутояр, уже пожелтевший от летнего солнцепека, а напротив густые заросли кустов и хвой. Внизу, под крутояром, шумела река, здесь она была глубокой и быстрой.

Каурый повернул в сторону речного шума умную морду и вдруг остановился, будто прислушиваясь.

— Ну-ну, Каурушка! — ласково понукнул его Баюков.

Каурый неохотно тронулся, а Степан снова затянул потихоньку одну из любимых своих песен: «Как родная меня мать провожала». На душе у него было ясно и легко.

Вчера, на радостях после первой товарищеской вспашки, Степан вдруг решил поторопиться с выполнением своего обещания Марине, зачем ждать сева, когда доброе дело можно выполнить гораздо раньше... Да и счастье, что, как цветущая ветка, глядело в окно, заставляло его спешить. Он представлял себе, как будет довольна Липа и как после выполнения его обещания легко будет разрешить вопрос, когда назначить его свадьбу с ней.

Ее лицо словно смотрело на него отовсюду, ее ласковый голос звучал в его ушах.

— Липушка! — невольно крикнул он раннему небу, голубому, как ее глаза, и снова, в предчувствии близкого счастья, запел во все горло:

Как родная меня мать
Провожала-а...

Каурый опять остановился, пугливо прядая ушами.

— Но, но! — подбодрил его Степан, натягивая поводья.

Каурый попятился назад и тихонько заржал.

— Чего боишься, дурашка? — засмеялся Баюков и нехотя подхлестнул коня. — Ну! В гору!

Каурый поднялся в гору и вдруг, чего-то испугавшись, резко дернул в сторону берега, который круто обрывался к реке.

— Стой, стой! — крикнул Степан, натянув поводья, — и тут лесную тишину взорвал сухой треск выстрела. Конь было поднялся на дыбы, но Баюков не растерялся и с силой повернул его обратно. Из-за кустов опять грохнул выстрел, и Степан почувствовал, как его ударило в левое плечо. Он глухо охнул и, оглядываясь, зажал рану правой рукой.

За кустом стоял Ефимка Ермаков. Он пучил глаза — две плоски, налитые мутной влагой.

— Ты... что-о? — гулко крикнул Степан. — В человека бьешь, пьяная шкура?!

— Попомнишь ты меня! — рывкнул Ефимка и опять поднял ружье.

— Знаю, кто тебя послал! — крикнул Степан, чувствуя, что глохнет от стука крови в ушах и в голове.

Еле удержавшись на подводе, запрыгавшей вниз по кочкам, он до боли в пальцах зажал поводья в правой руке.

Сверху опять грохнул выстрел, прошелестело дерево, пулей сшибло ветку.

— Не попал! — и Ефимка хрипло и страшно выругался.

— Каурушка-а... спасай! — прошептал Степан, пряча голову за высокие свинные туши, зашитые в рогожу.

Ефимка уже выбежал на дорогу и, растерявшись, палил как попало.

Каурый неся зыбкими скачками, с одного подергивания вожжей чуя, куда надо бежать. Ефимка уже отстал, и пальбы больше слышно не было.

К околице Каурый принесся весь в пене.

Степан услышал голоса и звяканье железа. Подняв голову, он увидел зеленый, обомшелый сруб колодца, где кучка баб качала воду. Две из них с полными ведрами испуганно обернулись на грохот колес.

Степан увидел Матрену и Прасковью.

Обе вскрикнули, как под ножом, и грузно осели, расплескав воду.

— А-а! — забился Степан, приостанавливая Каурого.— А, вот они!.. От Корзуниных это, от них... да... Сбегался народ.

А Степан, залитый кровью, страшный и торжествующий, хрипло кричал, махая одной рукой на двух воющих баб:

— Заявляю! Это они... Корзунины... убить меня хотели... А нет... А я жив... жив!

Толпа загудела. Степана сняли с телеги. Навстречу бежала домовница, махала руками, как птица крыльями, и кричала с болью и тревогой:

— Батюшки!.. Голубчики!.. Сюда... сюда!..

Отдаваясь во власть ее проворных рук, Степан еще успел встретить ее бездонно-ласковый взгляд и, закрывая глаза, знал, что пересилил уже подступавшую к нему мерзкую холодную смерть.

На улице же голосила Ермачиха, цепляясь за каждого встречного, и рассказывала о своем сыне, которого спаивали Корзунины.

— Загубили сынка моего несчастенького! Ой... ой, горюшко!

В тот же час в лесу были пойманы Маркел Корзунин с большаками, которые пытались убежать на подводе, запряженной парой сытых и бойких коней. Когда окруженная людьми подвода с пойманными Корзуниными показалась на улице, отовсюду сбежались односельчане.

— Пришел конец тебе, оборотень! — крикнул Демид Кувшинов, и лицо его исказилось от гнева и ненависти.— Все о боге да о господе, а сами нашего Степана убить хотели, аспиды кулацкие!

Долго телеге застаиваться не дали, и на тех же бойких конях препроводили Корзуниных в волость. А оттуда Финоген и понятые привезли врача.

После того как врач перевязал Степана и заверил всех, что рана не опасна, Финоген сразу же повеселел.

— Где им, гнилым кочерыжкам, тебя, Степанушка, с дороги убрать, ежели народ за тобой идет?.. И ведь как с этими злыднями получилось, подумать надо! Всю-то жизнь Корзунины ничевохоньки людям не давали,— а тут на-ко: на ихних конях тебе врача привезли, а их даже и не спросили!

Финоген и еще не прочь был поболтать на радостях, но Липа мягко выпроводила его.

— Денька через два-три, дядя, обо всем поговорим со Степаном Андреичем, а сейчас его пожалеть надо.

— Верно, племянница, рассудила! — и Финоген, успокоенный, отправился восвояси.

Утром на другой день Марина и Платон обнаружили, что Матрена и Прасковья исчезли. Беспорядок, раскиданные всюду вещи показывали, что корзунинские снохи торопились скрыться до зари.

Марина сразу побежала к Липе, а та созвала соседей.

— Вона что... сколько половиц бабы потревожили... эге-ге!.. Ясно, эти две ехидны все корзунинские клады из-под пола выкопали, что поценнее в узлы завязали, да по-воровски ночью убежали, вину свою чуяли, — заключил Демид, и все согласились с ним.

Тут же все пожалели, что вчера не посадили снох на подводу вместе с их мужьями и самим «главой» черного корзунинского двора.

— Разыщутся и эти! — уверенно сказал Финоген. — Увертлива змея, да и на нее еж найдется!

Липа предложила составить акт о том, «в каком положении» застали люди брошенный Корзуниными крепкостенный их двор. После того как рукой той же Липы акт был написан и скреплен подписями, Платон спросил растерянно:

— Что же теперь будет-то? Куда же нам с Мариной деваться?

— Куда же нам? — оробев, повторила Марина.

— Как это куда? — засмеялась Липа. — Здесь и оставайтесь, хозяйничайте... Корзунины вам обоим дышать не давали, а теперь вы вздохнете свободно.

— Ой, нет... еще не вздохнем мы, не вздохнем! — и Марина вдруг расплакалась.

— Что с тобой? — удивилась Липа.

— Господи... да как же... ведь мы вместе с ними жили. В том дворе Ефимку-дурака спаивали, чтобы он в Степана стрелял... Что ж Степан Андреич теперь о нас с Платоном подумает? Ой, горюшко-о! — и Марина еще горше заплакала.

— А мы... мы хоть присягу в том дадим: ни сном ни духом о том черном деле не знали,— взволнованно заговорил Платон.

— Да знаем, знаем,— прервал его Финоген.— Оба вы не ихней, не корзунинской кости... никто за вами вины не числит.

— А все-таки хочу я о том Степану Андреичу об-сказать...— начала опять Марина, и в ее озабоченном взгляде Липа прочла новое выражение — раздумья и зарождающейся смелости.

— Ну... что ж...— поддержала Липа,— если ты уж так желаешь, Марина, пойдем к Степану Андреичу.

— А мне можно? — робко спросил Платон.— Я бы тоже ему все обсказал... чтоб уж душа моя была спокой-на...

— Хорошо,— согласилась Липа и, подумав, добави-ла: — Только вы сразу к нему не входите... я подго-товлю его... человек много крови потерял, с ним пока надо поосторожнее... Сначала я скажу Степану о вас, а потом кликну, ждите...

— Скажи, милая, скажи, голубушка... спасибо те-бе,— прошептала Марина, задрожав, как лист на осине, а Платон только взглянул на Липу с такой мольбой, что у девушки даже сердце сжалось: «Да как же они измучились оба!»

Легкой, решительной походкой Липа вошла в ком-нату.

Степан лежал высоко в подушках у распахнутого ок-на, осунувшийся, крест-накрест перевязанный бинтами. Его глубоко запавшие глаза блеснули навстречу Липе.

— Степа,— сказала она, властным и нежным движе-нием обнимая его за шею,— тут к тебе Марина с Пла-тоном пришли... Шш... не беспокойся, Степа, родной, это все к хорошему...

Она кратко рассказала о последних тревогах Мари-ны и Платона и заключила тем же ласково-властным тоном:

— Видишь, Степа, не какие-нибудь бессовестные они люди... Марина с Платоном. Видишь, у них сердце болит, не думаешь ли ты о них плохо, как о всех Кор-зуниных... Эти двое уж до того намучились, что...

— А ты их до того жалеешь, Липушка, что мне и полежать-то спокойно не даешь,— мягко укорил девуш-

ку Баюков. Но она не смутилась. Нежно взяв в свои легкие, проворные руки его желтое, исхудавшее лицо, она сказала с любовной уверенностью:

— Вот ты лежишь, Степа, много крови потерял, а все же... ты куда сильнее этих двоих... Они и на людей-то словно перестали походить. Ведь и то сказать: мы их не признавали, а те, Корзунины, с ними обращались хуже, чем с дровами... Ну да, да: дрова в теплом месте держат, чтобы они горели хорошо, а эти несчастные уголка во дворе не имели, словно заваль какая... подумать только!.. Теперь Корзуниных нету, мучить их стало некому... Но душа у Марины и Платона еще не на месте... и в таком деле только мы с тобой можем им помочь, Степа.

— Ну... что, что же надо делать? — спросил он, прижимая здоровой рукой девичью ладонь к своей щеке.

— Что делать? — живо повторила Липа. — Во-первых, сказать им, успокоить, что ты плохо о них не думаешь. А во-вторых, все как есть подтвердить, что ты собирався сделать для Марины, что обещал ей... Слушай, Степа, если мы их не поднимем, не будет нам с тобой счастья, я тебе говорю!

— Зови их! — быстро предложил он.

Марина и Платон, едва переступив порог, повалились в ноги.

— Степан Андреич, батюшка... не виноваты мы... не знали мы ничего... не виноваты мы...

— Что вы, что вы? — даже испугался Степан. — Встаньте, встаньте... ведь люди вы, а не пыль придорожная... Ну!

Но они все кланялись, не поднимаясь с пола.

— Встаньте же, говорю!.. Да подними их, Липа!.. Слушайте же... я зла вам не желаю... садитесь, что ли... вот сюда... так.

Платон и Марина робко сели неподалеку. Они показались Степану такими жалкими, неубранными, как заброшенная земля, что ему даже больно стало смотреть в их сторону.

— Слушайте вы... супруги! — сказал Баюков, морща губы болезненной улыбкой. — Я сейчас же готов доказать, что ничего плохого о вас не думаю. Добрые люди не позволили мне потерпеть урона: тут же человека сна-

рядили в город, все мои товары продали. И вот сейчас Липа передаст тебе, Марина, вырученные деньги.

— Да, да! — весело подтвердила Липа и, открыв ящик посудного шкафа, вынула толстый конверт с деньгами и подала Марине.

— О господи! — вдруг растерялась Марина, смешно отмахиваясь обеими руками. — Разве мы за деньгами пришли...

— Да ни в каком разе! — взволнованно поддержал Платон. — Ты нам душу успокоил, Степан Андреич...

— Берите, берите! — настаивала Липа и даже сама вложила конверт в дрожащие руки Марины.

А Степан, будто не слыша восторженных вскриков обрадованных людей, к этому еще добавил:

— И желаю тебе, Марина, и тебе, Платон, жить и работать в нашем товариществе, как хорошим людям полагается.

Баюков откинулся на подушки, хотел улыбнуться, но глаза его утомленно закрылись, Липа тихонько замахала Марине и Платону: уходите!

Но через минуту, взглянув в окно, Липа не вытерпела и слегка встряхнула Степана за плечо.

— Смотри, Степа, как они идут!

Степан открыл глаза — и уже не отводил их, следя за неспешным шагом идущих по улице Марины и Платона.

Они шли, держась за руки и плавно раскачивая ими, как дсти, вырвавшиеся из тесноты и духоты на волю. Распрямляя плечи и спины, они глядели на полуденное солнце, на бело-голубые облачка, похожие на легкие парусники, которые неслись в золотые дали среди немеренных просторов неба.

Краем глаза Степан видел в окно, выходящее во двор, что калитка осталась распахнутой. Он хотел было сказать Липе, что надо бы захлопнуть калитку, но солнце и легкий ветер так победно врывались в его раскрытый двор, что Степан только улыбнулся про себя и ничего не сказал.

БАЯН И ЯБЛОКО.

Три москвича ехали в колхоз «Коммунистический путь», расположенный на берегу многоводной Пологи. Случилось это так. Писатель Андрей Матвеевич Никишев неожиданно получил письмо от старого товарища по флоту, бывшего матроса Семена Коврина, вместе с которым в свое время Никишев — первый комиссар на адмиральском мостике — совершил на корабле великий Октябрьский переворот. Напоминая об этом в торжественных словах, мало схожих с его соленой матросской речью (до сих пор хорошо помнившейся писателю), Семен просил приехать в колхоз, где он в настоящее время председателем. Узнав о писателе Никишеве из газет и подивившись его «нынешней специальности», Семен выражал надежду, что она «послужит на пользу массам». Далее, перейдя от витиеватого вступления к простой деловой речи, Семен Коврин поделился с бывшим комиссаром «славных боевых годков» своими заботами и тревогами. Как один из организаторов колхоза в родном селе, он, понятно, представлял себе заранее, что налаживать новую, колхозную жизнь будет сложно и трудно, тем более в здешних глухих местах. Здесь испокон веку помещики владели огромными массивами самой плодородной земли, а крестьянство страдало от безземелья, недорода, произвола царских властей и «от всяческих суеверий». Однако многих и многих трудностей, связанных «с пережитками рабского прошлого» в сознании колхозников, он, Семен Коврин, не смог предвидеть, а значит оказался «недостаточно вооруженным», чтобы отражать нападения «на молодую колхозную

жизнь» со стороны разных «несознательных элементов», которых в колхозе, к сожалению, «еще предовольно». Часто он даже ловит себя на мысли, что просто еще не умеет разбираться «в пестроте людской». Да ведь и то сказать: он привык думать, что многих односельчан своих он знает с детства, а теперь оказалось, что привычные представления о них ничего общего с действительностью не имеют.

В колхозе «коммунистов раз-два и обчелся», а комсомольцы, «все эти ребята под двадцать лет», еще, право, такая зелень, что в советчики не годятся. А в районный центр за советами по всякому поводу не наездишься, да и самолюбие не позволяет показывать себя слишком часто «каким-то недотепой». Вот и мучайся как знаешь, а до чего сердце болит из-за каждой неудачи, об этом только в личной и душевной беседе можно рассказать. Признаться, он, Семен Коврин, все эти годы вспоминал, как хорошо было бы посоветоваться с товарищем комиссаром. Узнав, что известный писатель Андрей Никишев и бывший его комиссар на крейсере — одно и то же лицо, Семен сразу зажегся упрямым желанием — обязательно встретиться с бывшим своим другом-комиссаром незабвенных флотских времен. Приглашая Андрея Матвеевича к себе, Семен Коврин радушно звал в гости и его друзей: пусть тоже познакомятся на месте как в тысяча девятьсот тридцатом году на берегу Пологи члены колхоза «Коммунистический путь» строят новую жизнь.

Читая письмо Семена Коврина, то наивно-торжественное, то горько-озабоченное и задушевное, бывший комиссар многое вспомнил и тоже захотел увидеть боевого товарища.

О намерении Андрея Матвеевича поехать в колхоз узнал его приятель Баратов, которому все рассказанное о Семене Коврине очень понравилось. Кроме того, Баратов хандрил и нервничал после неудачи с последним романом и рад был возможности посмотреть новые места и отвлечься от неприятных переживаний. Он сразу напросился в спутники Никишеву и был очень доволен его согласием.

Третий, тоже писатель, до сорока лет сохранивший мальчишески-зазорное выражение лица и потому называемый просто Дима Юрков, пристал к ним по живос-

ти характера и крайней непоседливости, одолевавшей его летом.

На маленькую станцию писатели приехали на рассвете. Рослый молодой человек, одетый по-городски, подошел к ним и приятным баритоном осведомился, те ли они, кого ему поручил встретить Семен Петрович Коврин.

— А где он сам-то? — спросил Никишев.

— Семен Петрович никак не смог поехать на станцию встретить вас: его срочно вызвали в район по нашим общественным делам, — охотно разъяснил молодой человек, обращая к приезжим улыбающееся лицо. — Приказал он мне всех вас сердечно приветствовать, извиниться за него... и поскорее привезти дорогих гостей! — продолжал он, идя несколько впереди и показывая рукой на пару недурных пегих лошадей, запряженных в телегу и привязанных к ограде станционного сада. — Семен Петрович обещал не задерживаться и как можно скорее прибыть к вашему приезду, — говорил молодой человек. — У него всегда дела. Мы, чай, не хуже людей — и у нас реконструкция да рационализация... Вот мы и дошли. Пожалуйста садиться. Экипаж хотя и не на шинах, но часика через два доедем.

Баратов залюбовался его непринужденно-сильной походкой.

— Простите, товарищ... звать-то вас как? Вы кто же будете в колхозе?

— Как вам сказать? — слегка замялся встречающий, пробуя вожжу. — Я там на все руки... А звать меня Борис Шмалев.

— Эй, красавчики-и!.. — вдруг полным и смешливым голосом крикнул Шмалев и взмахнул кнутом. Лошади испуганно дернули и вынесли телегу на тихое рассветное шоссе.

Баратов, полулежа на сене, наблюдал за прямоносим профилем нового знакомого, за игрой мускулов его сильной спины под сатиновой опрятной рубахой, — этот рослый парень безотчетно нравился ему.

Еле переждав первые вопросы Никишева о Семене Коврине, любопытный Дима Юрков окончательно завладел возницей. Шмалев отвечал ему не спеша, с охотой и все посмеивался, мудруя кудрявыми и пестрыми прибаутками.

— Скажите, товарищ... как, однако, грясет!.. где вы учились? Судя по вашему разговору...

— Где учился? — переспросил Шмалев, подняв смеющееся лицо и созерцая пенную дрожь расступающихся перед солнцем розовых облачков. — Негде было. Разве у крота в норе или у перепелки в гнезде. Самоучкой прошел в объеме семилетки... Ну, и сдал, конечно, — добавил он небрежно. — Имею удостоверение... Эй, лапушки-и!.. Касатушки, хвост трубой, ус под губой... и-их!.. Вот они, кони-то у нас, все, как на подбор, блаженненькие, — сказал он, улыбаясь и щуря серые глаза. — С такими ли белый свет покорить?.. Эх!

— Не все сразу, — успокоительно сказал Дима.

— А я то же и говорю, — с готовностью согласился Шмалев.

Лошади поднялись по холму — и, золотая от солнца, голубая от широкой ветровой ряби, раскинулась невдалеке река Полога. Над ней в мощной тесноте и обилии теней зеленели сады.

— Вот и знаменитый наш колхоз, — кивнул Шмалев. — А-а... вот, никак, и наш «интер», друг единственный, тарахтит.

Шмалев вдруг пустил лошадей во всю прыть и так же внезапно остановил их.

— Тпру!.. Стой, орлы! Стой, говорю!

Шмалев высоко поднял кепку и отвел лошадей в сторону, давая дорогу машине. Уверенно держа на руле шафранно-смуглые, голые выше локтей руки, на тракторе ехала девушка в белом с кружевцами платочке.

— Александре Трофимовне! Наше вам почтение, низкий поклон!

— Чего на дороге стал? — грудным голосом сердито крикнула она — и тут же расхохоталась, засияв глазами, зубами, круглым подбородком. — Чего стал? Ну!.. Вот как горючим угощу...

— Давненько вас не видали, Александра Трофимовна, со вчерашнего дня!

— А ну катись, катись! — приказывала девушка, пытаясь хмурить черные брови, но они играли и веселились, и сама она вся сияла от радостного, ей одной доступного понимания всего этого шуточного поединка.

— Трактористка наша, Шура, — пояснил Шмалев,

когда отъехали дальше, а улыбающиеся его глаза, казалось, все еще видели девушку за рулем.

Семен Коврин повстречался гостям уже на улице, верхом, пыльный, потный, хриплым басом отдающий распоряжения. Он спрыгнул наземь и осторожно обнял Никишева, неловко бормоча:

— Грязен я, как чертов сын... не побрезгуйте, Андрей Матвеич...

Но пройдя несколько шагов, Семен уже оправился и радостно хлопал по плечу бывшего комиссара:

— Хоть и давно мы не виделись, Андрей Матвеич, а ты все такой же. Разве вот только комплекцией стал потяжелее да седых волос накопил...

Диму и Баратова взялся устроить Шмалев, а Никишев поместился у Семена.

— Где же ты, Семен Петрович, извини меня... живешь-то?

— А где же еще? Вот здесь и живу!

Семен удивленно поиграл широкими бровями, как бы впервые оглядев низкую просторную комнату, заставленную лавками, столами, неуклюжими, словно раскисшими от августовской жары шкафами с незакрывающимися створками, какими-то ящиками, мешками, и только в нише, за жиденькой дощатой перегородкой, стыдливо пряталась грубо сколоченная деревянная кровать с двумя опрятными подушками. В комнате стоял тот особо тонкий и смешанный аромат сухих трав, корней, семян, старого дерева и пыли, который копится годами. Семен пояснил, что в этом доме когда-то была барская «садовая контора», да так и осталась вплоть до колхозных времен.

— Что это у тебя за фотографии, Семен Петрович? «Однолетки»... «Двухлетки»... «Корневые наросты, вызванные кровяной тлей»... «Наросты на корнях — бактериальный рак, он же, «зобоватость». «Шахматная посадка». «То же — по способу квадратов»... Ого! Да ты, вижу, совсем ученым садоводом заделался!

— Это я все из книг выписал — товарищ Мичурин Иван Владимирович мне насоветовал. Жалко, что никак времечка не найду к нему съездить и лично с ним побеседовать.

— Значит, колхоз у вас плодородческий? — спросил Никишев.

— Есть у нас и зерновое хозяйство,— ответил Семен.— Но в наших местах сама природа велит заниматься плодоводством, здесь всюду сады. А тут еще по соседству с нами в прошлом году совхоз зерновой организован и передал нам свои дальние сады, которые с нашими владениями граничат... вот такие дела.

— А ты, Семен Петрович, похоже, не очень рад этому? — спросил Никишев.

— Похоже на то,— вздохнул Семен, и лицо его вдруг помрачнело.— Само собой, не в том забота, что наша садовая территория увеличилась, а в том, чтобы сады у нас были настоящие!

— Это верно, согласен с тобой, Семен Петрович.

— А что я и говорю, что и повторяю нашим колхозникам,— заметно оживился Семен Коврин.— Все, что я читал в книгах, что своими ушами слышал, так вот и вложило мне в душу (он постучал пальцем в широкую грудь), что за яблоко, товарищи, надо драться, как за металл и уголь. Это замечательная мечта!.. Земля-то здесь какая, Андрей Матвееч,— бархат, золото живое, соки медовые; сады, а солнца здесь — хоть купайся в нем!

После завтрака Семен решил показать Никишеву колхозные сады.

— Всю-то нашу землю и на конях за день не объедешь,— сказал он, горделиво подмигнув Никишеву.— А мы хотя бы на близком расстоянии гостям сады покажем.

— Главная забота нашей жизни,— воодушевленно топая по тропинкам, говорил Семен,— создать не какие-нибудь садики, а настоящие промышленные сады!

Яблоневые сады террасами спускались к реке, перемежаясь зарослями малинника и смородинника, сливовых и грушевых деревьев. Сады наливались спелостью, источая в безветренный зной тонкий медовый аромат. Каждая крона никла, клонилась к земле, томная, отяжелевшая от плодов, сомлевшая от собственных соков.

— Хорошо у вас тут! — глубоко вздыхая, сказал Никишев.

— Хорошо, да не очень,— бросил Семен.— Простецкие еще у нас сады, благородных яблоневых сортов мало... Вон, кстати, мой заместитель Петря Радушев расхаживает... Для него некоторые сорта наших яблонь что

нож в горле — так он сердит на них! Давай, говорит, порубаем сразу все простецкие, оставим, говорит, только первые сорта... На них, мол, колхоз и деньгу будет наживать!.. А я не соглашаюсь — и не соглашусь с ним! — и Семен упрямо тряхнул головой. — Вот он, заместитель мой драгоценный, прямо в нашу сторону направляется, — прервав себя, уже иным тоном заговорил Коврин.

— А заместитель твой, кажется, в плохом настроении, — заметил Никишев.

— Да уж такой у него характер, — отмахнулся Семен. — Все бы он рывком да окриком, терпенья ни на грош нету!

— Торопыга, значит? — спросил Никишев.

— Эх, если бы только так было! — вздохнул Семен. — А то ведь еще Радушева у нас «дядя-погоняла» зовут!.. И так это прозвище к нему прилепилось, что и в глаза ему бросают: «ты, дядя-погоняла!»

— Как же разумный человек мог заслужить такое прозвище? — насторожился Никишев.

— А... тут своя история... Я потом расскажу... Он уже идет прямо сюда, меня ищет, — недовольно прервал разговор Семен.

— Эй, председатель! — позвал Петря Радушев и тут же осекся, увидав незнакомого.

Семен представил их друг другу. Петря Радушев лениво пожал руку гостя и сразу отвел взгляд, показывая, что ровно никакого удовольствия от нового знакомства не испытывает. Но так как все трое шли вместе, Радушеву пришлось перебороть себя (да и Семен выразительно подмигнул ему) и принять участие в общей беседе.

По привычке вглядываться в наружность каждого впервые встреченного человека Никишев исподтишка рассматривал худое длинноносое и — как тут же про себя отметил Никишев — «несоответственное» лицо Радушева: коричневая бороденка росла у Петри от девичьи-розовых маленьких ушей и, еле опушив сухую скулу, пропадала, подобно ручью в песке, чтобы вылезти опять, уже полинявшей, почти рыжей, на бугристом неуклюжем подбородке.

— Ну какая это, к черту, яблоня? — говорил он пронзительным горловым тенором и, приподнявшись на носки, потрогал быстрыми жилистыми пальцами желто-

ватое, будто восковое яблочко на нижней ветке.— Грушовка, мелкое яблочко, неблагородный сорт...— Вот и опять грушовка, чтоб ей пусто было! — все возмущался Петря, трогая на ходу мелкие желтоватые плоды.— Не дерево, а дворняжка в саду! Разве таким яблочком торговать? Разве на таком товаре можно добро наживать? Ради такого дела не стоило дворы в одну кучу сбивать!

— Вечная твоя присказка! — проворчал Семен.

— Простите, как это понять,— осторожно спросил Никишев, обернувшись в сторону Радушева,— вы сожалеете, что попали в число дворов, которых, как вы говорите, сбили в кучу?

Петря испытующе посмотрел на пожилого человека, встретился глазами с его внимательным и спокойным взглядом, что-то подумал про себя и несколько вызывающе ответил:

— Жалей или не жалей, а дела не поправишь: добрую лошадь на конный двор я сам отвел, семена я сам сдал, жнеечка у меня была старенькая,— еще в комбедовское время мне ее дали — и ту я сам (он даже приотпнул) на колхозный двор поставил!

Большие ноздри его длинного хрящеватого носа нервно раздулись, а маленькие, чуть косящие глаза мрачно сверкнули.

— Я знаю, вы комиссаром были, Семен мне о вас рассказывал,— продолжал Радушев, сердито поглядывая на Никишева из-под ершистых рыжеватых бровей.— Комиссары, они ведь дотошные, им все обскажи да обо всем доложи... Однако вы не подумайте, что я какой-нибудь... нет, я тоже горя вдосталь нахлебался: всю русско-германскую в окопах провоевал, ранен был не однажды, контужен, а потом опять в окопах жил да вшивел... а дома моя баба с малыми ребятами бедовала, а хозяйствишко мое разорялось... Когда я домой вернулся, стали мы помаленьку поправляться, а все-таки жизни настоящей не было...

— Петря Радушев одним из первых в колхоз записался,— уважительно и серьезно сказал Семен.

— Вот видите,— почему-то наставительно произнес Радушев, кивнув Никишеву.— Вот видите, поверил я в это дело. Н-но... (ноздри его опять гневно раздулись) не желаю я долго ждать, не желаю!

— Чего ждать? — спросил Никишев.

— Чего? Хорошей жизни! Ведь для нее я все свое достояние в колхоз отдал... так и давай скорей, скорей эту самую жизнь строить!.. А народишко у нас никудышный, темный, несговорный... Надрываюсь я с ними, душа во мне с утра до ночи так и кипит!—и Радушев с ожесточением ударил ладонью по своей впалой груди.

— Вот тут-то у нас и спор начинается,— быстро вставил Семен, многозначительно глянув на Никишева.— Я говорю: пестрый народ у нас, всякие люди есть... не кидайся ты, Петря, на всех и каждого...

— А я говорю,— с тем же ожесточенным выражением лица прервал Радушев,— никудышный народишко, лодыри, лежебоки!.. Второй год колхозом живем, а толку чуть! А почему? Работаем плохо, порядка в работе нет. Председатель и я, грешный, изводимся на работе, преданы ей всей душой... так почему все так работать не могут? Должны так работать, должны! И я буду это требовать и спуску ни одному лодырю не дам!..

Петря даже задохнулся от негодования и дрожащей рукой вытер потный лысеющий лоб.

— А не приходило вам в голову, товарищ Радушев,— воспользовавшись этой передышкой, заговорил Никишев,— что в людях нужно еще пробуждать сознательное отношение к работе?.. Ведь человек вдвое производительнее работает, когда он ясно понимает, какое значение имеет его труд в общем деле и какую материальную пользу для себя он приобретает этим честным трудом?.. И, наконец, люди ведь бесконечно разны и к каждому надо подходить по-разному.

Радушев нетерпеливо отмахнулся.

— Э-эх-х!.. Да разве нас двоих вот с ним (он кивнул на пасмурного Семена) хватит на то, чтобы еще поспевать с каждым на отличку разговаривать, да еще «пробуждать» то да се?.. А... стойте! — Петря вдруг умолк, вскинул голову и напряженно прислушался.— Ага! Слышите?

Ветер донес звонкие всплески смеха и молодых голосов.

— Что я вам говорил? — зло и торжествующе произнес Радушев.— Это у корзильщиков наших вместо работы смехи да веселье!.. Ишь, как горланят, лодыри!.. Вот что тут опять делать? Подтягивать, требовать!.. Я

им покажу-у! — и Радушев, размахивая руками, побежал по тропинке и скоро скрылся за деревьями.

Семен Коврин посмотрел ему вслед и с тем же пасмурным выражением лица развел руками.

— Обыкновенное у нас дело, Андрей Матвеич!.. С одного краешка дисциплину подтягиваем, а с другого конца она опять рвется!.. И ведь до чего чудно получается это у нас: вижу я, ну вот как на ладони, все промашки Петри Радушева, его неправильное обращение с колхозниками... вижу, что не любят его, а только боятся, как бы он какой-нибудь скандал не затеял... и все-таки, вот поди ж ты, я его честным человеком считаю!

— И мне твой Петря кажется честным и прямодушным,— подтвердил Никишев.

— Я еще больше скажу, Андрей Матвеич: не будь у меня в заместителях Радушева, остался бы я без опоры, честное слово! Когда я писал тебе, товарищ комиссар, что у нас в колхозе коммунистов раз-два и обчелся, это ведь я имел в виду Радушева и меня... вот и все мы, партийная часть колхоза. А будь бы у нас настоящая партийная организация, например, дружный десяток большевиков... эх, какие бы дела мы все вместе своротили! Так вот и мечтается мне...

— Да, неплохо, неплохо,— с легкой иронией ввернул Никишев.

— А что, Андрей Матвеич? — не понял Семен.— Таковую бы мечту да в жизнь...

— Вот я это самое и разумею, Семен Петрович. Десяток коммунистов — великолепно. А скажи, друг, как ты себе представляешь: откуда бы этот десяток большевиков мог здесь появиться?

— Охо-хо... вот тут-то и загвоздка! — горько вздохнул Семен.— Кто к нам сюда приедет, кто пожелает? От города мы далеко, места наши глухие — сады да степь, культурной жизни, разумных развлечений — никаких...

— Закуривай, Семен Петрович,— и Никишев, усмехнувшись, протянул ему портсигар.

— Спасибо... Хорош табачок!.. Давно такого не куривал,— забурчал Семен, с удовольствием затягиваясь. Потом, чем-то обеспокоясь, он заметил все еще мелькающую усмешку в темных глазах Никишева.

— А ты, Андрей Матвееч, что-то опять насчет моих рассуждений подумал?

— Конечно!.. К твоим сетованиям насчет глухих мест, недостатка культуры и прочего я бы, знаешь, добавил слова: а все это может быть здесь, вполне может!

— Так я о том же самом мечтаю! — горячо воскликнул Семен. — Верю я, что все у нас будет, все: электричество, клуб, кино, спорт, хорошие дома. Вот только нам надо материальную базу наладить, а она в одном слове: яблоко, первой всего — яблоко!.. Мы с Петрей оба бьем в одну точку: не такими бы садами колхозу владеть, у колхоза на куда бóльшие дела силы хватят. Вот, смотри, эти ранние сорта прямо-таки неважные, особенно грушовка. Только ее с дерева съешь, она уже вянуть готова! Куда же ее? Далеко никуда не отвезешь, да и в округе ее всюду много. Значит, ешь на месте, замачивай в кадки на зиму. А их у нас не одна тысяча пудов, этих ранних-то сортов. Порубать их все, как Петря советует? Чушь какая! Да у меня рука не подыметься — дерево мне человеческую жизнь напоминает, ему годы нужны, чтобы окрепнуть. Так зачем же нам от ранних сортов отказываться, когда их, по мичуринскому учению, можно улучшить и урожай их поднять? А главное — механизацию, механизацию к ним применить, вот что! Вот она, главная наша мечта!.. Будь у нас механическая сушилка, все наши ранние сорта яблок, а также сливы, груши, малину и другие ягодные культуры мы обратили бы в непортящийся товар. Мне в кооперации недавно говорили, что для свежих фруктов у них, мол, хранилищ не хватает, а вот сухофруктов купят сколько угодно!.. Да начни мы как следует фруктами да ягодами торговать, высушенными механическим способом, сколько у нас в колхозе оборотных средств прибавится!.. Сначала приведем в порядок общественное хозяйство — сады (при них пасеку завведем), механическую сушилку оборудуем, хорошие склады, молочную ферму, конный двор, телятник, свинарник и прочие здания построим, электричеством осветим, а потом вдоль всей улицы фонари поставим... Эх!

Семен громко прищелкнул пальцами и обратил к Никишеву вспыхнувшее жарким румянцем лицо.

— Знаешь, Андрей Матвееч, когда вот идешь-бредешь, например, в осеннюю темь по нашей грязи, всегда

так и видятся эти высокие электрические фонари, так и горят, так и сияют они из конца в конец!.. И улица мне видится без этих треклятых соломенных крыш, без махоньких окошек с бычий глаз... Так вот мечтаю — вижу: стоят вдоль улицы хорошие дома, а в больших окнах лампочки Ильича — и повсюду радио говорит или поет... красота!..

Семен шел по тропинке, чуть притопывая и размахивая руками, словно направлялся он погостевать в одном из хороших новых, с большими светлыми окнами домов, которые будто уже красовались где-то невдалеке.

Слушая Семена, Никишев подумал: «Об этих новых хороших домах для всей деревни мечтает человек, у которого даже нет своего угла!»

Никишеву вспомнилось, что сегодня утром, по дороге в колхоз, рассказывал о председателе Борис Шмалев. Семену Коврину не повезло: только вернулся с гражданской войны, похоронил отца. Потом, год спустя, умерла мать, а еще через год, младший брат Семена утонул в Пологе. Семен с молодой женой остались одни. Старая отцовская изба уже давно валилась набок. Пока Семен чинил да поднимал эту развалину, помогавшая ему молодая жена схватила сильную простуду, она долго недомогала и в конце концов заболела чахоткой. «Богатенькие односельчане», как называл их в своем рассказе Борис Шмалев, не прочь были воспользоваться трудной полосой в жизни Семена Коврина, чтобы ему «согнуть хребтину да поубавить гордыни». Но Семен продолжал, по выражению Шмалева, чудачить, ни в какие отношения с богатенькими не вступал, а по-прежнему дерзил им и выводил на чистую воду все их дела, которых (по мнению рассказчика), ей-ей, лучше бы ему совсем не касаться!.. Когда более года назад начали создавать колхоз, Семена пытались подстрелить, но промахнулись. Тогда однажды ночью подожгли его избу. Семен с женой и сынишкой еле успели выскочить на улицу да вытащить кое-что. Слабое здоровье жены не выдержало этих потрясений, и вскоре несчастная женщина умерла. Семен с сынишкой поселился в старом неудобном доме бывшей садовой конторы. «Живет он хуже всех, а ведь председатель, — как говорится, своя рука владыка, уж мог бы как-нибудь схитрить, хоть бы малостью какой скрасить свое житье-бытье. Так

нет, живет хуже всех и словно не замечает этого, чудной, мудреватый он человек!» — насмешливо закончил свое сообщение Шмалев.

Теперь, слушая Семена, Никишев не раз подумал: «Вот ведь какой скрытный — о своих делах и потерях ни слова, ни намека!.. Может быть, из-за этой скрытности ему еще труднее?»

Семен уже шагал молча, не то задумавшись о чем-то, не то досадуя на свою откровенность.

— Вот ты, Семен Петрович, — мягко прервал молчание Никишев, — совершенно правильно связываешь рост колхоза, преимущественно плодородического, с механизацией. Так и надо ее наладить, оборудовать эту сушилку...

— Во-от, во-от... — сердито протянул Семен. — Тут-то и загвоздка!.. Вот погостишь здесь и увидишь, что оборудовать у нас сушильную камеру — это трудное, очень трудное дело, и продвигается оно, словно корабль среди подводных камней... Тут словно колоду за колодой с дороги убираешь. А кто именно тут загораживает, кто портит, — попробуй узнай... Еще увидишь, не раз будет разговор об этом...

Но продолжать Семену не пришлось.

— Стой! — прислушался он. — А ведь Петря опять пробирает кого-то...

— Семен Петрович! Семен Петрович! — крикнули молодые голоса.

Из-за поворота, смеясь и вскрикивая, вынеслась босоногая девушка, а позади, вторя ей молодым ломким баском, бежал, тоже босой, высокий тонкий юноша в майке.

— Чего ты, Володя? — спросил Семен.

Володя остановился и, морщась от досадливого смеха, ответил:

— Дядя Петря у корзинщиц опять наскандалил, да еще Валькиного жениха поймал. Вон Лиза тоже видела.

Маленькая курносенькая Лиза звонко расхохоталась:

— Поймал его в кустах да кричит «Ах, ах ты, женихатый козел!» А Валька сидит красная вся!..

— А вы недогадливые, — полусердито сказал Семен, — напомнили бы ему, что ли, что жениться в наших краях никому не воспрещается.

— Да ведь дядя Петря нас не послушает,— перестав смеяться, возразил Володя и с явным любопытством посмотрел на гостя.

Никишев заметил, что у Володи серые и пытливые глаза, и невольно улыбнулся ему.

Еще не дойдя до корзищиц, все услышали пронзительные трели радушевского тенора. Он стоял перед кучкой молодежи и, гневно потрясая худым волосатым кулаком, пронзительно выкрикивал:

— Вам бы все хаханьки да хиханьки, вам бы только песни петь!.. А урок, что я вам задал — сорок корзищ сплести, не сделаете, бессовестные вы!

— Много назначено! Урок большой! — слышались голоса.

Корзищицы сидели полукругом среди ворохов лыка и ивовых прутьев. Крайняя девушка, с толстой косою на спине, ловко обрезала концы прутьев и, будто на бегу, кусала от ломтя пышного черного хлеба, посыпанного крупной солью.

— Девичьи бригады, как работаете? — гаркнул пофлотски Семен.

— Второй десяток начали,— тоненькими голосами сказали девочки-подростки.

— Добре!.. А ты, Валя, вроде как бы за инструктора?

— Вот подучилась... да уж не так и трудно,— мягко и слегка шепелявя сказала Валя и легкими округлыми движениями голых рук выхватила из вороха лыко подлиннее и начала скреплять угол корзины.— Готово! — с торжеством объявила она, распуская в улыбке большой румяный рот и бросая одной из девочек свежую корзину.— Ох, только дайте еще попить, пожалуйста...

— Молодчина! — похвалил Семен.

Валя радостно кивнула ему и торопливо наклонилась к кружке. Толстая и короткая темно-каштановая коса сдвинулась и обнажила на шее среди загара небольшое пятно молочно-белой кожи.

Петря, встав в сторону и заложив руки за ремень на тощем животе, нетерпеливо следил за Семеном,— такой тактики он не одобрял.

— Не очень хвали! — сердито предупредил он.— Загордятся, работа не пойдет. Вон уж один виноватый

и вовсе смылся... Эй ты, Николай, Самохин! Жених пресловутый, притча во языцах! Но, но!..— вдруг закричал он, как на лошадь, и выгашил из-за куста высокого бородатого человека с неуклюжими движениями большого сильного тела.

— Да что ты, ей-богу...— не пытаясь освободиться от цепких рук Петри, бархатно-густым басом рокотал Николай Самохин.— Что ты меня, как, ей-богу, быка на веревочке...

— Бык ты и есть! — брызгая слюной, вспылил Радушев.— За девками гоняешься, а прутья где?

— Да ведь хватит их пока, прутьев-то,— рокотал Николай.

— Хватит... Их воз должен быть, вот здесь, на сем месте... во-оз!

— А идти кому, ежели все плетут?

— Да вот жеребцов этих, Устиньинных деток...— Петря сердито ткнул пальцем в сторону двух рослых мордастых парней, вяло обстригивающих палочки.— Вот и пошли их, пусть ивняка нарежут.

— Боюсь, Устинья обидится,— замялся Николай,— скажет опять, что ее сынов на самую худую работу поставили.

— А ты скажи ей,— обрезал Петря,— у нас, мол, нежностей не полагается. Словом, ежели через два дня не будет у нас сотни корзин для яблок, я тебя прижму — вычту толику из твоей получки.

— Да ты и вчера уже вычел с меня...

— И еще вычту! — раздувая ноздри, сказал Петря.— Не будь глуп.

— Кроток я, вот ты и бесишься.

— Ну ладно, ладно... Слышь, Валька, гони его, нечего ему тут около твоей юбчонки...

Девушка залилась румянцем, но без всякого сожаления в голосе сказала:

— Да уж и не знаю, чего он тут, право... Мы с девчатами управимся.

— Фламандка! Шестнадцатый век! — не сдержавшись, шепнул Никишеву подошедший незаметно Баратов, настойчивым взглядом указывая на ее нежный загар, широкие плечи и бедра, на румяный мелкозубый рот, на пухлость полудетского лица и кругло прорезан-

ные карие глаза с каким-то наивно-животным выражением.

Никишеву была давно знакома манера Баратова в каждом явлении жизни, обратившем на себя его внимание, обязательно находить черты сходства и разного рода отклики и отзвуки «из мира великих творений» живописи, скульптуры и музыки. На этот раз, определяя облик толстенькой Вали как «фламандки шестнадцатого века», Баратов имел в виду полотна фламандской школы, где изображались полнокровные, цветущие женщины севера и запада Бельгии. Поэтому, не удивляясь, Никишев шепнул только: «да, кажется, славная девушка».

— Беда с этим верзилой Николаем Самохиным,— ворчал Петря, идя за всеми следом,— не подымешь, не проймешь. Всю жизнь прожил за хорошей женой.

— А где жена у него? — спросил Никишев.

— Умерла, четверых ребят оставила, вот полгода прошло. Обревелись бы вовсе ребятишки, если бы наши девчата не смилосердились. То Валька забежит, умоет, стирает, то Шура.

— Шура? А!.. Это трактористка?

— Она самая. Видали? А Николай теперь жениться вздумал.

— На Шуре?

— Что ты, милый! Что ты! — даже испугался Петря.— Разве такая девка за эту размазню пойдет? Нет, он Валентину берет.

— Фламандка! — опять восхитился до сих пор молча слушавший Баратов.

— Зачем «хламанка»? — рассудительно сказал Петря.— Обыкновенная сиротка, живет у тетки, Устиньи Колпиной.

— А Устинья первая наша скандалистка,— подхватил Семен.— Вот увидите ее. Дикая бабища! Всем достается от нее...

— Муж бить ее не умеет, оттого и дикая,— хладнокровно решил Петря.

— Этого Ефима Колпина мы уж нарочно в члены правления провели: пусть храбрости наберется среди людей,— добавил Семен.— И вот что удивительно: с нами он рассуждает как разумный, а дома — курица. Как устроит ему Устинья скандал, так он и скис, горемыч-

ный,— что из того, что он грамотный, а Устинья ни одной буквы не знает.

Утром Никишев застал Семена на ягодном участке. Семен слушал невысокую женщину степенного вида. Она держала на ладони комок сухой, потрескавшейся земли.

— Вот, Семен Петрович, земелька тут суховата. Лучше б ее компостом пропитать, перегноя тут мало. Надо за ним к яме идти, а Устинья Пална вот не хочет.

Устинья стояла, картинно упершись руками в крутые бока. Ее темно-желтые, как ореховая скорлупа, до пожилых лет вьющиеся волосы, всегда еле заколотые на затылке, торчали, как буйные перья, над маленьким кирпично-загорелым лбом.

— К начальству подъезжай-ишь?! — кричала она, нарочно коверкая слова и колыхая большой грудью.— И-их, мол, я умная, а Устинья, мол, тьфу, дура!.. А Устинья вам не девчонка, чтоб туды-сюды мной распоряжаться!

Она отплевывалась, топала; ее тяжелое, не в меру располневшее тело — от могучих ног в опорках до потного безбрового лба — бурно выражало злость и упрямство.

— У меня жизнь одна, я вам не лошадь так работать!

— А может статься, Устинья Пална,— сказал Семен,— что ты и вовсе работать не желаешь, почет тебе нужен особый?

— Ну во-от!.. — отмахнулась Устинья, явно сбитая с тона.— Я толкую, что ты лишнее нас заставляешь: агроном про перегной и не поминал, знаю ведь я.

— погоди! — остановил ее Семен и, торопливо плевывая на пальцы, залистал блокнот.— Вот что агроном советовал, а я записал... Вот! «Малина, правда, неприхотлива на почву, но хорошие урожаи дает только на почвах, богатых перегноем и умеренно влажных. Но опыт также показал...» опыт, Устинья!.. «что при большой сухости почвы перегноя еще не-до-ста-точно, и количество удобрения располагается так: два кило перегноя и два кило компоста на один квадратный метр». Записано точно, Устинья Пална. Таким же образом на-

до готовить на зиму почву под клубнику — с добавкой навоза! — под смородину... И так мы в конце концов оборудуем землю, что отличные урожаи будут у нас уже обыкновены...

— Да ну тебя! — грубо прервала Устинья, бросив лопату. — Зарядил, как пономарь! Все равно за компостом не пойду, я вам не лошадь.

Она сложила под грудью толстые красные руки и упрямо задрала голову вверх, к налившемуся зноем небу.

— Выдумали бригады, людям не доверяют, будто все тут воры, бродяги... Да я отродясь ни на этакую вот копеечку чужого не брала!

— Я тебя в этом не уличал, а вот если не пойдешь, я о тебе на сегодня запишу как о прогульщице, — твердо сказал Семен.

— Записывай! Пиши! — взревела Устинья.

Но степенная Антонина Шилова спокойно прервала ее:

— Посовестись, Устинья Пална, с тобой вежливо обращаются. Но если запишет, хорошего мало.

— Пусть, пусть!.. А он уважай меня! Я ему почти в матери гожусь!.. Сынки мои вчера этого паршивого извняка непроворот нарезали у реки, в сырости, голубчики мои, настоялись, а я, мать, молчи? Бо-же ты мой!

— Ох, неправду говоришь, Устинья Пална, — укорила Антонина Шилова. — Мало, совсем мало нарезали извняка твои сыночки... все девушки-корзинщицы на них осердились!

Но Устинья, пропустив замечание мимо ушей, снова запричитала:

— Обижают меня-я, не уважают... горько мне-е!

И Устинья, как всегда после брани, завздохала и прослезилась. Но заметив Никишева и Баратова, она вдруг застыдилась своей слабости и, дурея от гнева, крикнула

— Связались черт с младенцем, продали колхозу свою душу, теперь концов не найдешь! Да еще перед всякими посторонними с ветру, срамиге меня! — и, с силой вдавив кулаки в мясистые бедра, Устинья бесцеремонно кивнула в сторону Баратова. — Вон какой белощанник тут шляется, глазееет на нашего брата... Ну-ко

вот, председатель, спосылай-ко этакое, гладкое, за компостом!

— Черт знает что! Спятила ты, баба! — вскипел Семен, и губы его задрожали от стыда. — Да это же наши гости! Да ты знаешь, кто это? Это же сама наша советская печать!

— А хоть распечатать, мне ее не качать! — отрезала Устинья и, сняв башмак, с яростью вытряхнула из него землю.

— Ой, берегись! — погрозил Семен. — Они твой характер опишут, они зверское твое лицо всей стране покажут, и куда бы ты ни явилась, все тебя застыдят: «А-а, вот, мол, она Устинья Колпина-а!»

Семен, увлекшись, забасил трубным голосом, а Устинья от удивления даже примолкла.

И тут Антонина Шилова решительно взяла ее за локоть.

— Пойдем-ка, будет тебе срамиться. Или ты и меня подвести хочешь? Берись-ка за носилки... Ну!

Устинья, ворча, пошла позади, но ее красное лицо, обращенное в сторону приезжих, выразило такую мрачную злобу, что Баратов, совсем сраженный, шепнул Никишеву:

— Ну и бабища!

В эту минуту Семена кто-то позвал, и он быстро ушел. Баратов с досадой посмотрел ему вслед и сделал обиженное лицо.

— Все-таки это, знаешь, нелепо... Поскольку мы здесь гости, нас следовало бы оберегать от подобных выходок!..

— Вот как! — иронически фыркнул Никишев. — Что ж, к нам, гостям столицы, прикажешь особо жизнь приспособливать?

— Ты все пошучиваешь, философ, — надулся Баратов. — Всего хуже в таких случаях то, что чувствуешь себя совершенно беззащитным. Этакая грубая, темная бабища!

Никишев усмехнулся, вытирая потный лоб и короткую шею.

— А ты думал, чудака, этакая Устинья сразу оценит твою важность для страны и революции? Да что ты ей? Ты же слышал, она неграмотная, книги ей не нужны, а что за люди писатели, ей и вовсе непонятно.

— Но понимание простой сути вещей, что кроме физического труда есть духовный, интеллектуальный труд — должно быть, право же, доступно каждому, даже...

— Да оставь ты, Сергей, эти прекраснотушные рассуждения, — с досадой сказал Никишев. — Для такой вот Устиньи существует только один ценный вид труда — ее собственный труд, на все другое ей наплевать. Если бы все Устиньи понимали суть вещей, как тебе того хочется, тогда многие животрепещущие проблемы перевоспитания были бы просто сняты жизнью.

— Но еще неизвестно, что лучше: отсутствие проблемы или реальная Устинья! — насмешливо признал Баратов. — Пока такой колючий куст деформируется путем разных там обрезок и скрещиваний, издерешь об него в кровь руки и лицо, — издержки не покрыть.

— «Кустов» таких у нас еще сколько хочешь, Сергей. Только у таких кустов одним махом шипы не снимешь — это сложная работа на годы и годы. Тебя, вижу, огорчает это наследие прошлого, но не будем, друг, пугливыми неженками, которые шарахаются в сторону от каждого колючего куста. Что ж, ведь он реальность...

— И я, значит, должен послушно принимать это?

— Напротив, Сергей. Ты, как художник, должен мобилизовать все свои внутренние силы, чтобы вмешаться! Да, кстати, тебе, наверно, известно: к такому колючему кусту, как, например, шиповник, можно прекрасно привить розу.

— У тебя доводы, я знаю, всегда найдутся, — пробурчал Баратов. — Тем более они должны быть, потому что я чувствую: ты намерен вмешаться. Да?

— Намерен, — скромно согласился Никишев. — Пока что присматриваюсь.

— Скажите, пожалуйста, — раздался позади грудной голос. Оба обернулись и увидели Шуру. Она стояла на тропинке, слегка щурясь от солнца, стройная и легкая в своем полосатом, синее с белым, ситцевом платье и белом платочке с плетеными кружевами; чуть отогнутые вверх, они прозрачным кокошником возвышались над ее темными блестящими волосами.

— Скажите, пожалуйста, — повторила Шура, еще не отдышавшись после быстрой ходьбы и оглядываясь по

сторонам.— Нет ли здесь Семена Петровича? Мне сказали, что он сюда прошел.

— Только что был здесь,— с глубоким поклоном ответил Баратов и нескрываемо-любующимся взглядом окинул фигуру молодой трактористки.— Может быть, мы с Андреем Матвеевичем окажемся вам полезными в чем-нибудь? — и он снова посмотрел на Шуру, как на лучезарное видение, сменившее мрачную, грохочущую молниями тучу.— Распоряжайтесь же нами, Александра Трофимовна... нет, простите, я хочу сказать, Шура, Шурочка!

— Право, я не знаю...— с нерешительной улыбкой, переводя взгляд с одного лица на другое, ответила она.— Едва ли кто, кроме самого Семена.. то есть председателя, может помочь в этом деле...

— А в каком именно деле, Александра Трофимовна? — спросил Никишев.

— Да, видите ли, заехал к нам тот самый товарищ, с кем Семен Петрович уже разговаривал относительно механической сушилки... пришел показать какие-то книжечки...

— Так это, наверно, преysкуранты! — оживился Никишев.— Знаете что?.. Не упускайте этого товарища, пошлите кого-нибудь из молодежи — пусть, как скороход, бежит за председателем! А если мы понадобится, то мы здесь будем ожидать ваших приказаний. Я потому говорю — здесь...— повторил он с улыбкой,— что мне, например, пожилому человеку, за вами в ходьбе не угнаться.

— Понимаю! — весело сказала Шура, глянув на него засветившимися благодарностью глазами.— Так и сделаю!..

И она словно полетела по тропинке.

— Какая прелесть! — восторженно вздохнул Баратов и даже отошел немного в сторону, чтобы лучше видеть, как Шура бежит все дальше по тропинке.— Ах, какая же она прелесть!

«А главное-то в том, что эта прелесть поддерживает мечту Семена! — весело подумал Никишев.— Вот ведь как на крыльях примчалась сюда известить Семена о приезде нужного ему человека».

У Баратова настроение настолько изменилось к лучшему, что он даже начал насвистывать из «Орфея».

— Вот ты иногда упрекаешь меня, Андрей Матвееч, — заговорил он уже добрым и даже умиленным голосом, — что я, мол, сверх меры нетерпелив и неисправимый сластена, что отсюда — все мои отрицательные качества. Но, умоляю, пойми: это не так. Мир искушает меня, но я, искушаясь, не переносу примесей и привкусов. Уж если сладко, так до конца. Устинья мешает мне думать о тех, к кому потянулась моя душа — о Шура и Вале. Вот прелесть эта Шура! Какая в ней жажда жизни, какая непосредственность, ум и даже грация, просто неожиданная для этих мест! А Валя — фламандка, с ее расцветающей плотью и детски-наивной душой! Так вот, Шура и Валя — это какой-то драгоценный сплав, из которого выйдет дивное, благородное произведение искусства. Нет, черт с ней, с Устиньей! Я счастлив, что открыл Шуру и Валью! Да, я счастлив!

И Баратову вдруг стало совсем легко. Он подскочил, поймал тяжелую, бурно задрожавшую под его рукой ветку и быстро сорвал небольшое, румяное, как детская щека, яблоко.

— Хорошо здесь! — улыбнулся Баратов и поднес яблоко ко рту.

— Вот и спроси их, чего ходят, чего глаза пялят! — раздался, как удар грома над головой, знакомого тембра голос. Это Устинья Колпина вместе с Шиловой несли компост для новой ягодной посадки. По уничтожающе-презрительной улыбке Устиньи Баратов сразу догадался, что она увидела его как раз в тот момент, когда он, открыв рот, собирался откусить яблоко.

Он подержал в руке нетронутое яблоко, с которого будто сразу слинял детский румянец, и, размахнувшись, бросил его в траву. Потом он вытер потный лоб, — полуденное небо, голубевшее над ветвями, показалось ему, пылало, как раскаленный утюг. Настроение Баратова снова бурно испортилось. Он хмуро закурил и шел молча, недовольный собой и всем окружающим. Он вдруг пожалел, что приехал в эти сады, где хотя и наливаются яблоки, но под ними ходят грубые и не понимающие его люди. Он с нежностью вспоминал свой тесный московский кабинет с окнами во двор, глубокий, как колодезь, гулкие голоса людей снизу, которые ни одним словом не могут его задеть и до которых ему нет дела. Дернула же его нелегкая поехать вместе с Никишевым

в эту глушь. Правда, он, Сергей Баратов, открыл Шуру, но еще неизвестно, что у него из этого получится.

Никишев шел рядом тоже молча, погруженный в какие-то свои размышления. Когда оба подходили уже к воротам сада, его окликнула Шура. Она торопливо шла навстречу, помахивая сложенными веером тоненькими брошюрками в цветных обложках.

— Семен Петрович в дальние сады уехал, вернется только завтра... Взяла я вот эти книжечки — и прошу вас передать председателю.

Шура задумчиво улыбнулась и добавила:

— Он, я думаю, будет очень доволен.

— Я то же самое думаю, Александра Трофимовна, — ответил Никишев и спрятал брошюрки в карман.

Никишев спал на светлом, с большим окном чердачке, как раз над комнатой Семена Коврина. Из чердачного окна открывался широкий вид на колхозные сады и пашни, на залитую солнцем Пологу. У окна Семеном был заботливо поставлен небольшой столик, на котором вполне свободно можно было разместить локти и писать. От пышного сенника на топчане упоительно пахло полевыми цветами, а под стрехой хлопотливо чирикали воробьи. Вообще, как сразу сказал Семену Никишев, лучшего летнего кабинета он себе и пожелать не мог.

Солнце будило его рано, а сегодня, проснувшись, Никишев с удовольствием услышал внизу голос Семена Коврина. Спустившись вниз, он передал ему технические брошюрки, оставленные его знакомым.

Семен просиял и, перелистывая брошюрки, сообщил Никишеву, что привез их, по обещанию, один из его доброжелателей-кооператоров. Потом, спохватившись, Семен стал восторженно благодарить Никишева. Но тот, остановив его излишняя, лукаво добавил, что прежде всего надо благодарить Шуру. Узнав, при каких обстоятельствах переданы были Шурой Никишеву эти так нетерпеливо ожидавшиеся прејскуранты и брошюрки, Семен багрово покраснел. Из груди его невольно вырвалось:

— Шура... душа моя...

Никишев, будто не заметив ничего, сказал серьезно и деловито:

— Имей в виду, Семен Петрович, эта умная и славная девушка тебя поддерживает.

— Да, да... видно, всамделе, это так и есть! — и он опять залился румянцем.

«Молодчина, выбор твой даже очень хорош!» — удовлетворенно подумал Никишев и деловито предложил вслух:

— Знаешь, я хоть и не техник, а все-таки и мне было интересно ознакомиться с этими прейскурантами и брошюрками... давай посмотрим их еще вместе.

Тут как раз зашел Петря Радушев, который тоже принял участие в просмотре, и наконец все остановились на одном, наиболее удобном и экономичном типе сушильной камеры.

— Только уж теперь держи ухо востро, председатель! — сказал в заключение Радушев. — Сразу-то, не узнавши броду, не суйся в воду, а то нас с тобой опять утопят, обязательно утопят!

— Позвольте, позвольте! А когда же это вас двоих... утопили? Как? Почему? — заинтересовался Никишев.

— А уж об этом пусть председатель расскажет, — усмехнулся Петря и пошел по своим делам.

И Семен рассказал простую историю о том, как несколько месяцев назад на колхозном собрании «утопили» их совместное с Радушевым предложение о механизации. Выступая тогда на собрании со своими выкладками, он, признаться, не задумывался о том, кто и как встретит его сообщение. Ему казалось, что если он старается для общего блага, для всех, так и ему ответят тем же. И как же оба они с Радушевым были ошеломлены, когда на собрании поднялся шум и споры, когда противники механизации потопили в своих скандальных выкриках все планы Семена Коврина!

— И пошли мы с Радушевым с того собрания как оплеванные! — заключил Семен и даже зубами скрипнул — боль и досада после того неожиданного провала помнились так остро, будто это было вчера.

Никишев, к удивлению Семена, выслушал рассказ спокойно и сказал только:

— Случилось то, что и должно было случиться.

— Как то есть? — удивился Семен.

— Да ведь вы же, уважаемые товарищи, ничего не подготовили к тому собранию. У вас, как мне представ-

ляется, не были учтены силы «за» и «против», потому вы и не знали, на кого именно вам опереться, от кого ждать поддержки. Но падать духом после этого провала не следует. Ты, я вижу по всему, собираешься провести в жизнь задуманное... Но уж теперь, Семен Петрович, надо действовать умнее и наверняка.

— Буду действовать! — упрямо промолвил Семен. — Да ведь я об этом, основном, в письме своем отписал... я ведь потом нашу с Радушевым ошибку понял. Но хоть я и понял, а все-таки мне чертовски трудно по-прежнему! Вот чувствую, знаешь, как на подводные камни того и гляди наскочит наш, так сказать, колхозный корабль... того и гляди пропорет ему дно или бока!..

— Кто-то и «работает» для этого, ксму-то и нужно пропороть дно... и понятно: ты, как руководитель, должен отчетливо знать, кто поддерживает передовые начинания и кто вредит им. Сам видишь, Семен Петрович, вопрос, который ты прежде считал только хозяйственным, в действительности в такой же степени...

— Вопрос политический, — подхватил Семен. — Вот в том-то и трудности!.. Кружишься целый день, а голова как в огне, да еще и вглядывайся в каждого, что он колхозу и тебе готовит: хлебушко теплый или камень холодный?.. Петря вон ни за что не хочет ни угадывать, ни доглядывать, — тогда, говорит, работа вся станет. Выходит, мне одному это делать?

— Зачем же одному? Опирайся на верных людей и вместе с ними наступай на тех, кто хотел бы вставлять палки в колеса. Ну, а я со своей стороны буду помогать тебе... вглядываться, вдумываться, так сказать, по отдельным чертам и черточкам составлять целые портреты, идет? — и Никишев заговорщически подмигнул Семену.

— Есть, товарищ комиссар! — браво вытянулся Семен, как бывало в давние фронтовые дни.

— Только одно условие, Семен Петрович: вся эта внутренняя работа по определению людей, понятно, должна проходить незаметно для чужого глаза. Здесь я просто гость, твой старый фронтовой товарищ... погостил и уехал...

— Понимаю, понимаю! — чему-то радуясь про себя, тихонько засмеялся Семен. Потом начал рассказывать, что видел в дальних садах, которые исколесил на коне

вдоль и поперек. Урожай фруктов ныне редкостный — деревья просто гнутся под тяжестью яблок, слив, груш; не будь поставлены всюду подпорки, все это богатство еще до съема просто рухнуло бы наземь!.. Если нынешнюю же осень не будет установлена сушильная камера, большая часть садового урожая пропадет.

— Словом, Андрей Матвееч, механическая сушильная камера должна быть установлена в нашем колхозе! — вдруг закипевшим голосом прошептал Семен и крепко сжал кулаки. Потом глянул куда-то вдаль и обратился к Никишеву потемневшее лицо, осунувшееся от внутреннего напряжения. — Да пусть мне теперь под ноги хоть целую гору подкатывают, а вот надо, надо нам вперед шагнуть — и шагнем, не сдадимся!

Когда Семен ушел, Никишев поднялся к себе на чердачок и, записав мысли и впечатления сегодняшнего утра, закончил их следующими словами:

«А, собственно говоря, что происходит сейчас в колхозе «Коммунистический путь»? Надо обязательно, во что бы то ни стало сделать новый решительный шаг вперед, а это дается только в борьбе!»

Снизу загудел колокол, сзывающий к обеду.

Обедали под навесом. Узкий длинный стол из двух досок на бревенчатых чурках, врытых прямо в землю, такие же низкие, неудобные скамьи — все показывало неустроенность здешней жизни и невнимание к мелочам быта. Только большой букет хвои и пятнолистных папоротников в высокой глиняной посуде пышно и нарядно зеленел над этим убогим столом.

— Кто это у вас старается? — спросил Никишев.

— А это девчата, — небрежно сказал Петря, — то Шура, то Валька из лесу таскают. Эй, щи давай! — мальчишеским голосом закричал Петря и застучал ложкой по столу.

Недовольный своим последним разговором с приятелем, Баратов устроился за столом отдельно, сев под низко опустившейся веткой липы. Говорить ему ни с кем не хотелось.

Почти до боли завидуя, Баратов смотрел на Никишева, который сел в середине, где было всего шумнее, уже потому только, что рядом с ним справа сидел беспокойный и громогласный Радушев, а слева Семен Колпин.

Распахнув ворот коломьянковой блузы и вытирая платком то потный лоб, то короткую шею, Никишев слушал, что называется, накоротке, Семена, Петрю и все беглые вопросы и разговоры, которые обычно возникали у председателя и его зама с колхозниками до того, как на столах появятся миски со щами.

«И что занимательного находит во всей этой картине наш Андрей Матвееч? Все просто и обыденно!— досадливо думал Баратов, следя за выражением лица приятеля.— Что он надеется выловить в этом галдеже и суете? Люди просто проголодались и хотят скорее пообедать... И до чего же надоедливо звякает этот железный рукомойник!»

Действительно, шуму голосов за столами подыгрывал звякающий то и дело железный рукомойник, бречанье ковшом о кадку с водой,— десятки людей торопливо мыли руки перед едой.

Поклонившись всем, села за стол Шилова, как-то незаметно освободившаяся от грязного фартука.

— Хлеб да соль! — издеваясь, крикнула Устинья Колпина, остановившись на тропке и подперев толстыми руками необъятную грудь.

— Садись, Устинья Пална,— радушно сказала Шилова.

— Что я, недосолов ваших не видала пополам с грязью? — зафыркала Устинья.— Да и сидят-то нехристями, лба не обмахнут.

— Эй ты, Колпина Устинья! — поднялся оторванный от дружной беседы Семен.— Дискредитировать общественное питание не моги!

— Эх, Устинья ты свет Павловна! — произнес вдруг свежий смеющийся голос, и Борис Шмалев, вытирая руки, выглянул из-за столба.— Зоологическая ты женщина, честное слово!

— Хо-хо! — раскатился Петря.— Что? Съела?

— Валька-а!.. — громко закричала Устинья, повернувшись спиной к обеду.— Беги на стол собирай, жива-а!..

— Тебе мало, что девчонка с раннего утра на солнце печется, так ты еще ее домашностью донимаешь,— укорила Шилова.

— Не убавится ее,— отрезала Устинья.— Работы больше, блюду меньше. Нынче вся молодежь чисто ло-

шаки, а я за нее покойной сестре, ейной матери, на том свете ответчица.

— Ай, не спорю, не спорю! — отмахнулась Шилова и подозвала тонконового парня с хохолком на макушке.

— Обедал ты, сынок? Уже? Ну и ладно.

— Обед, как известно, дело самое простое, — сказал подошедший Шмалев.

— А ты уж на всем рад зубы точить, — слегка обиделась Шилова и, не взглянув на него, отодвинулась вместе со своей дымящейся миской.

— Прости, тетя Тоня, я не хотел тебя обидеть!.. Сяду-ка я вон с тем товарищем писателем, — безмятежно улыбаясь, сказал Шмалев и, ловко откинув ветку, сел рядом с Баратовым. — А вы что ж не с компанией? — приветливо удивился он, разглядывая Баратова большими любопытными глазами.

— Да так вот... — улыбнулся и Баратов. — Где вы работали?

— Над машиной старался, сепараторишко прочищал, — один-единственный у нас, как и трактор.

— Техника, значит, еще слабовата?

— Ну, — снисходительно усмехнулся Шмалев, — на что нам техника, помилуйте! Яблонька, слива да груша без машины вырастут.

— Так ли? — вдруг вмешалась Шилова. — О плодозаготовках забыл? Сушку, например, взять. О сушильных камерах руководители наши уж не первый день говорят. Да ведь и урожай-то ныне какой!

— Брось, тетя Тоня. Плод на солнышке высохнет за мое почтение! — беззаботно подмигнул Баратову Шмалев, будто заранее уверенный в том, что московский гость примет его сторону. Он наклонился к Баратову и заговорил как бы только для него, но вместе с тем настолько громко и подчеркнуто-насмешливо, чтобы это слышали и другие.

— У нас, знаете, эти разговоры о технике, вроде уже в зубах навязли. Деревня не завод, а природа. Мы не в душных корпусах работаем, а среди природы... от солнышка, от дождичка зависим. А руководители наши чудной народ: босой ногой брод не перейдут — корабль им подавай!

— Ох, парень! — опять возразила Шилова. — Не

знаю, что твоя матка пила-ела, но язык тебе дала без костей.

— Не прибедняйся, тетя Тоня,— опять громко усмехнулся Шмалев.— При случае и ты не спустишь.

— И не спускай ни за что-о!..— пропел теплый грудной голос.

— Александре Трофимовне честь и место! — вмиг поднялся Шмалев, и лицо его ярко вспыхнуло до самых волос.— Эй, дежурная, тарелочку сюда горяченького!

— Экий! — рассмеялась Шура.— Я, чай, сама не без языка... Да что ты крошки-то считаешь? Я ж опять не безрукая!

— Ах нет, Александра Трофимовна! Не могу допустить, чтобы вокруг вас была неопрятность... А ну, поднимите локоток,— суетился Шмалев и все с таким принужденным видом, что каждому становилось понятно: угодничает он, ловкий, разбитной парень, не унижая себя, а казалось, радуясь и не стыдясь этого показать другим, перед женщиной, которая бесконечно нравится ему.

— Эй, дежурная! — шутливо приказал он, хлопая в ладоши.— Кушать Александре Трофимовне! Немедленно!

— Да что ты, право? — воскликнула Шура, когда Шмалев принял ее тарелку.— Слушай, может, за меня и пообедаешь, а?

Ее карие глаза блестели, губы невольно распускались в улыбку, веселость владела ею.

«Так, так,— подумал Баратов.— Эдакие колхозные Герман и Доротея...»

Ему вдруг тоже стало весело и даже захотелось есть. Он вдруг представил себе Шуру и Бориса рядом на садовой тропинке, под изливающимися медовый аромат яблонями. Двое людей шагали среди трав, по живой плодородной земле, отдаваясь только взаимной своей радости.

«Человек в чистом виде,— смутно думал Баратов,— под защитой солнца и яблонь...»

Он вышел из-за стола и с наслаждением закурил, отдаваясь блаженной и смутной мечте.

Никишев заметил, как нетерпеливо ждал Семен передышки в этом радостном шутейном разговоре. Когда

Шура смеялась, лицо Коврина принимало растерянное и умиленное выражение. Он даже смолк и рассеянно щипал хлеб. Темная тугая вена напряженно играла на его загорелой шее.

— Шура, ну как? — наконец бросил он с трудом. — Ну как?

— Что? — и Шура подняла от тарелки рассеянный, счастливый взгляд. — Ах, ты об этом... Да, да, весь участок прошла.

Брови ее опять заиграли, смех, улыбка переполняли ее, но, словно застеснявшись Семена, она вдруг нахмурилась и сказала с деловитой озабоченностью:

— Знаешь, только «интер» наш плоховат.

— На днях иду я, — вмешался Борис, — и вижу, как Александра Трофимовна с «интером» воюет, и руки у нее по локоть в черном масле. «Ай, говорю, Шура, разве можно так одной убиваться? Все же, говорю, у вас женские, слабые руки. Я и полез под «интер»...

— Что же ты не сказала, что тебе помочь надо? — стараясь не встречаться со взглядом Бориса, сказал Семен и добавил бесцветно и сухо: — Задержка в ремонте всегда вредит работе, Шура. Это надо помнить.

— Я помню, — сказала она, слегка шевельнув бровью, и молча принялась за кашу.

Украдкой рассматривая Шуру вблизи, Никишев заключил, что лет ей больше, чем это казалось при первой встрече.

«При смехе лицо ее молодеет, — вел он мысленную запись, — но когда задумывается, глаза сразу западают, а под ними — тень, губы ложатся серьезно и горько».

...Дима уже давно вышел из-за стола. «Картина колхозного обеда» в его блокноте заканчивалась появлением Шуры: «Это пришла трактористка Шура. Она великолепно голодна, она воплощенное здоровье, веселье и боевая молодость».

Нетерпение, которое Дима даже физически ощущал как некую щекотку, не давало ему спокойно сидеть на месте. Везде, чудилось ему, происходят исключительные события, которые надо ловить по «горячему» следу, хватать их как птицу, убегающую от ножа, и цепко держать, ощущая пальцами трепетное биение ее перепуганного сердца. Голодными и жадными глазами смотрел он вокруг, неутомимо щелкая фотоаппаратом, — каждая

пластинка, как неподкупный свидетель, должна была подтвердить описания и выводы очерка, острого и быстрого, как легковая машина с безупречным мотором.

Сады «в цифрах и перспективах» уже были «освоены» Димой, к этому не хватало еще кое-каких «живых и характерных картин с представителями колхозных масс и руководства», для чего в блокноте было оставлено несколько страниц.

Снимая с косогора «общий вид» садов, Дима встретил Петрю Радужева. Тот шел ходким шагом, неразборчиво бормоча.

— Это вы что? — спросил он, сердито кося глаза.

— Снимаю, — любезно ответил Дима и, подумав, что без этого «представителя» нельзя обойтись, еще вкрадчивее спросил: — Забот, вижу, у вас, дорогой товарищ, предостаточно?

— Прорва! — кратко бросил Петря, всматриваясь в группу людей, идущих к садам. — Эй, эй!.. Пойди сюда, вы!.. — позвал он, помахивая тонкой своей палкой, выструганной из кривой, скверной ветки. — Поди сюда! Где это вы были, шатало-батало, сс... — Петря поперхнулся, вспомнив о чужом человеке. — Сделали вас бригадой, так вы и тянись.

Володя Наркизов, приосанившись, вышел вперед.

— А ты не кричи, не махай, — мы не гуси.

Петря даже задрожал от негодования.

— Работаете через пень-колоду, ничего не понимаете, так еще и кланяться вам?

— А ты сделай, чтоб понимали! — обиделся Наркизов, вспыхнув до ушей. — Мы же ведь... мы же сознательные строители!

— «Строители-и» они!.. Видали? Еще мамочкино молоко у вас на языке, зелень вы! Ваше дело к нам в рот смотреть, умные речи ловить да разумно копить, пока борода не вырастет.

— Про бороду брось, дядя Петря! — раззадорился Володя. — Я совсем другое слышал на нашей комсомольской конференции.

— Да провалилась она, конференция ваша! — разъярился Петря. — Не слышали бы мои уши такой чепухи! Зря на свою голову мы тебя туда отпустили, района послушались... Вот теперь только и слышим: «конферен-

ция, конференция»! Эко себе молитву выдумал, а начальников слушаться перестал... Ну, однако, хватит! — спохватился Петря.

Нахмурившись и скосив глаза, он порылся в беспокойной, натруженной своей памяти и назвал Наркизову и Лизе их «урок на послеобедя».

— Ладно, сейчас идем, — хмуро бросил Володя.

Взглянув на него, Дима опасливо подумал: «Да, дело так не пойдет».

Он угадал. Наркизов потянул Лизу назад:

— Идем в рощу.

— Что ты, Володечка! Как можно? — испугалась она. — А работа?

— Ну ее к черту, такую работу! — сказал он, дерзко вздергивая безусую губу. — Не желаю я подчиняться этому лысому... — Он подумал на ходу и решительно добавил: — зажимщику... За людей нас, молодежь, не считает... Не могу, не желаю я так жить!

Он с разбега сел в густую траву под старой мохнатой сосной и мрачно задумался.

— Сиротки мы с тобой, — нежно и грустно сказала девушка, приглаживая непокорные золотистые волосы на его затылке. — Некому за нас заступиться.

— Глупая! — возразил он, мягко досадуя. — Мы за себя сами постоим, только бы точку найти. Ты вот слушай, Лизонька... — и он принялся опять рассказывать ей о комсомольской конференции, которую за эти два-три дня после приезда он без колебаний вписал в свою жизнь как неповторимое событие.

...Семь дней конференции, проведенные Наркизовым в краевом городе, показали Володе, как плохо знал и понимал он жизнь. Ему скоро восемнадцать лет. Осиротев с десяти лет, он рано нажил мозоли на руках, вдоволь помыкался по людям — и все-таки не знал жизни. Вначале его поразила «внешность»: впервые увидел такой большой человеческий праздник. Театральный зал, опоясанный огнями, показался ему величественней звездного неба. Знамена, прислоненные к стенам, напоминали ему высоких мощных людей в великолепном одеянии; как живые, они охраняли этот зал, с его песнями и смехом сотен молодых голосов. Когда же в оркестре запели одновременно виолончели, скрипки и флейты, у Володи от восторга защемило сердце.

Освоившись, он сделал для себя прискорбное открытие: рассказать ему на конференции совершенно не о чем!.. У них в колхозе ничего похожего нет на то, о чем рассказывали юноши и девушки в своих сообщениях. Володя узнал, что не только в городах, но и во многих колхозах уже есть клубы, библиотеки-читальни, кружки политграмоты, драматические, хоровые, музыкальные, например балалаечников и баянистов. После работы молодежи есть чем заняться, пополнить свои знания, да и свои способности и таланты показать. А что у них в колхозе «Коммунистический путь?» Разве что о яблоках? Сколько у них старых и молодых яблонь, и какие сорта? А сам он — неуч!

— Оказывается, годен я только на то, чтобы выполнять «уроки» нашего дяди-погонялы, а дальше что? Ведь не только же работать может человек, а и еще на что-то он способен? Сколько я на конференции ребят видел, которым, как и мне, каких-нибудь восемнадцать—двадцать лет, а они не только работать горазды, но и свои способности так показали, что завидно было слушать!.. А что у нас в колхозе? Ни-че-го... Даже вот на столечко ничего похожего нет! — и Володя, прервав свою страстную речь, отмерил большим пальцем самый кончик мизинца и с презрительной горечью посмотрел на него. — И что же получается? Я комсомольцем называюсь, а кто я фактически? Неуч, некультурный парень!

— Ну зачем же так себя ругать? — встревожилась Лиза и подняла на Володю полный жалости взгляд. — Ведь ты же не виноват, что...

— А мне от этого легче? — прервал Володя, ероша золотисто-русый чубик над высоким загорелым лбом. — Разве на этом я могу успокоиться? Нет, дудки!.. Ежели у нас в колхозе по таким делам не с кем посоветоваться, буду сам по себе стараться... Например, к Шмалеву обращусь для начала — он у нас самый грамотный, да и на баяне хорошо играет.

— Ой, боюсь я его... Шмалева, — отчего-то поеживаясь, вздохнула Лиза. — Насмешник он... так вот и норовит всех колынуть, дурачками выставить...

Не получив ответа, Лиза вдруг спросила:

— Володя... а как же мы сегодня от работы ушли?

— Да ладно, ладно... — скучным голосом отозвался Володя, поднимаясь с травы и отряхиваясь. — Работать

мы пойдем, конечно, «урок» дяди-погонялы выполним.

Выйдя из рощи, они увидели Шмалева.

— Вон он, легок на помине. Глядеть на него не хочу! — с досадой бросила Лиза.

— Что не весел, дорогой наш комсомол? — пропел Шмалев, подбрасывая на плече свежееобструганные палки для лопат.

— Скажи, — внимательно всматриваясь в его довольное и смешливое лицо, спросил Наркизов, — скажи, пожалуйста, ты школу целиком прошёл? А?

— Так точно...

— И что же... много наук изучил?

Шмалев сощурился.

— Да порядочно: математика, физика, грамматика, география... Хватит, словом. Только, знаешь, лопату вот сюда насадить и без науки можно. В сравнении с твоей политической наукой все мои — чепуха!

— Да у меня... — быстро начал Володя и осекся, чуть не проговорившись, что «политической науки» у него как раз и нет. — Физика, география... — повторил он. — О чем же там, например, речь идет, а?

— Ну, про это долго рассказывать, — важно зевнул Шмалев.

— А ты бы стал... заниматься со мной?

— Я? Беспартийный-то? Помилуй, друг, довольно странно!

— Жалко тебе? — осуждающе сказал Наркизов. — Жалко знаниями с другими поделиться?

— Ну, ну... — И Шмалев благодушно взял его за плечо. — Имею тогда деловое предложение.

Он немного помолчал и, почти нежно улыбнувшись, продолжал:

— Корпеть с тобой над книжками, сам понимаешь, времени нет. А вот... давай после работы беседы устраивать. Пока что единственный докладчик — я. Так, что ли, полагать, Лизавета Михайловна?

— Так и положим, — весело ответила девушка, радуясь посветлевшему лицу Наркизова.

Поужинали еще засветло, а над потемневшими садами, над полноводной Пологой распростерлись тихие вечерние часы.

— Пошабашили,— сказал, потягиваясь на ходу, Семен.— Вот так день за днем, незаметно и жизнь пройдет, и... и с хорошим человеком как надо поговорить не успеешь. Вот дела, Шура!

Он скосил глаза в ее сторону и подмигнул было с лукавым смешком.

— Разговор у меня с тобой будет решительный.

— Прости... О чем ты? — ответила она, рассеянно щурясь и к чему-то прислушиваясь — выражение, которого он больше всего боялся.— Как разбредутся все по своим углам,— продолжала Шура, не замечая его расстроенного лица,— такая настает у нас мертвая скука... от захудалой деревни не отличишь, и для души нет ничего.

— Веселья захотела, ишь ты! — хмуро ухмыльнулся Семен, отряхивая пучком травы свои пыльные сапоги.— Организуем технику, тогда и веселье заведем. А пока потерпеть надо.

— Ну, ты и терпи,— сказала Шура, озорно улыбаясь и все прислушиваясь,— а я пойду к баяну. Опять Шмалев играет.

— Ну и ступай...— бросил он глухо.

Но пока она не скрылась за пригорком, он смотрел ей вслед, жадно полураскрыв рот, как будто у него уносили долгожданную родниковую воду.

Из-за пригорка вспорхнула резкая, пёреливчатая трель: так Шмалев встретил появление Шуры.

— Играешь? — прошептал Семен, кривя губы и горько щурясь на розовое, в золоторунных облаках небо, как будто это оно играло и смеялось над ним.— Ну, погоди же, погоди!..

Он шел, глухо топая по пыли тяжелыми сапогами.

— Что ты сердитый какой, Семен Петрович? — пошутил встретившийся с ним Никишев.

Семен остановился и шумно вздохнул.

— Вот... Шмалев играет там... Главное, ничего я ему не сделаю, потому что на личной моей линии здесь все основано! — сказал он, забывшись.— А личную линию от общего дела отставить!..— и он взглянул на друга тусклыми от горечи глазами.

С тех пор как в колхозе появился Борис Шмалев, редкий вечер обходился без баяна. На этом бугре, где теперь молодежь пела под баян, прежде было скучное и

беспризорное место. Бугор был на самом солнцепеке, в стороне от дороги, и поэтому здесь привилось сушить лыко, доски, бревна для хозяйственных надобностей.

Баян с первого же раза поборол тесноту: слушатели раскатали бревна полукругом, и в стороне от длинного гребня серых домовых крыш по косогору, в стороне от садов выросло пристанище песен.

Дима Юрков, услышав музыку, первый взбудоражил и «братьев-писателей»:

— Рекомендую послушать деревенский концерт!

Шмалев играл старинную протяжную песню. Рядом с ним, следя взглядом за его гибкими пальцами, сидел Володя Наркизов.

— Они наивны, как дети,— шепнул Баратов Никишеву.

Вдруг пронзительный перезрелый дискант врезался в тягучую мелодию:

Ты воспо-ой, воспой,
Жаво-о-роночек... —

это, прижав руку к щеке, неестественно тонким голосом пела Устинья Колпина и горестно морщила красное, мясистое лицо.

— Играй, милочек, играй... В девках я эту песню пела, когда с дружками гуляла. Голосок был у меня, го-о-спо-ди-и! Куда все делось, бож-же-м-мой!

Кое-кто смешливо фыркнул, но жалостливая Лиза прикрикнула:

— Цыц! Страдает же человек, пусть ее.

И на Устинью все посмотрели молча, точно плач ее о жавороночке предал забвению дневную свирепость Устины и всю ее скандальную славу.

— Может, уже хватит пенья,— просительно заметил Шмалеву Володя Наркизов.— Когда доклад-то начнешь?

— Они к песням привыкли, надо половчее, а то разбегутся все,— скороговоркой отвечал Шмалев и вдруг перешел на бравурный марш.

— Ай-ай! — испуганно подскочил маленьким телом «дедушка» Никодим Филиппыч, присоединившийся к веселью с неразлучной липовой колодкой, на которой, по стародавней привычке, он плел для себя полудетского размера лапоточек.— Ай, мехи у машины надорвешь. Нельзя так, красавец.

— Помилуйте, естественное дело! — ответил, весело потряхнув головой, Шмалев. — Этот марш каждая захудалая гармонь в Испании при бое быков исполняет.

— Чего, чего? — встрепенулся старичок. — Где это быков бьют?

— В Испании, дедушка, — словоохотливо повторил Шмалев. — Есть такая жаркая страна...

— Испания, — почти благоговейно повторил Володя, впиваясь взглядом в лукаво подмигивающее лицо Шмалева.

— Что ж это, на продажу бьют? — приставал дедушка.

— Зачем на продажу? Не дураки, — почему-то усмехнулся Шмалев. — Просто для забавы. Так и называется: бой быков. Ба-альших денег стоит!

— Стоит за такое зверство еще и деньги платить! — с сердитым недоумением сказал Володя.

— Не веришь? — живо спросил Шмалев и очень свободно, как будто делал привычную и приятную работу, начал рассказывать, как «по десятку за один вечерок» бьют быков в испанских цирках.

— Способный хитрец! — шепнул Баратов Никишеву.

— Десяток быков, говоришь? Добра-то что портят! — не выдержав, вскрикнула длинная, остроносая, с большим животом, старшая сноха Никодима Филиппыча.

— Засохни пока! — осадил ее щупленький старичок. — Куда же это, красавец, убиенное-то мясцо они потребляют?

— Чудак! Там на него глядеть не хотят. Просто особый конюх сгребает его вилами и — собакам.

— Собакам? — ахнув, подскочил дедушка и даже уронил колодку. — И жирное, поди, мясцо-то, красавец?

— А то как же! Чем бык жирнее, тем потехи больше.

— Вот государство, вот благодать-то! — молитвенно произнес дедушка и от зависти даже зашелкал языком. — Собак первосортной бычиной кормят.

— А в нашей столовой навар увидишь только в свят день до обеда! — злорадно взыграло пронзительное сопрано Устиньи Колпиной.

— А у кого и есть, так свою живность заколоть не смеешь, пальчиком ее не тронь! — громко и заносчиво сказала младшая сноха дедушки, крепко сбитая толстушка с черными, как пиявки, бровями. Ее поддержало

несколько голосов, и недовольный разговор пошел согласен, как песня, начатая баяном.

— Человек лукавее, чем о нем пишут в отчетах и газетах,— щекоча тонким клинышком бородки шею Никишева, зашептал опять Баратов.— Строй жизнь по каким хочешь высоким принципам, но оставь каждому его долю страстей и наслаждения.

Его узкое лицо довольно и почти плотоядно щурилось, как при лакомой находке.

Дима, с капельками пота на вздернутом носу, блестя очками, в трудолюбивом и многозначительном молчании записывал в блокнот.

— Да что это базар какой развели! — возмутилась Лиза.— Ворчат, ноют... не отдохнешь.

— Видно, каждому свое,— резко сказала Шура.— И какие глупые разговоры! — продолжала она, поправляя на лбу мягкую черную прядь и страдальчески морща длинные брови.— Стыдно вас слушать, какие вы все жадные! Только бы вам жрать, чтобы по грудь в сале... брр!..

Она содрогнулась от внезапного отвращения.

— Ты, девушка-красавица, чем людей срамить, подумала бы, что люди не чурки, любят умные речи слушать,— укоризненно произнес дедушка, трясая седой головкой с желтой, как воск, плешью.— А ты, Борис, еще про эту... как ее... Испанию побольше расскажи,— веско попросил он Шмалева и грозно поднял крючковатый палец, приказывая покорному своему роду — сыновьям, снохам и внукам,— чтобы не смели мешать, а сам, наставив ухо, приготовился слушать.

Дима Юрков, лихорадочно спеша, записывал в свой блокнот:

«Колхозный культурник рассказывает увлекательно, со вкусом. Перед глазами встает жаркая далекая Испания. Плодороднейшая земля, благодатное солнце. Горы плодов, зерна, цветов. (Так, так, молодец, товарищ культурник!) Только у нас найдется такое сочетание: интерес к Испании и... лапти — прадедовское крестьянское ремесло. Эти беседы — целый университет на приволье. Неожиданностей, какие бывают у нас, никакой гений не выдумает...»

Дима Юрков записал еще несколько понравившихся ему фраз и подробностей, быстро щелкнул фотоаппаратом, сунул свой блокнот в карман и заторопился уходить:

картина деревенской беседы показалась ему настолько «освоенной», что долее здесь ему было делать нечего.

— Хорошая страна! — изрек Никодим Филиппыч. — Ей-богу, расчудесная там жизнь!

Он снял с колодки уже готовый лапоточек и, поиграв им в воздухе, спросил:

— А как туда в гражданство перейти? Со всем, так сказать, семейством.

Шмалев развел руками.

— Ишь как разманило! Ну, брат, я в таких делах не мастак. Может, комсомол наш тут более в курсе... Володя, что скажешь?

Наркизов встал, пошатнувшись. От терпкого, обидного недоумения, от внезапной ненависти к хихикающему дедушке у Володи закружилась голова, и кровь, как бы вскипев, ударила в виски.

— Вот что... — начал он, глотнув воздуха. — Нам тут о диких обычаях рассказали... и довольно стыдно нам хвалить их!.. Мне противно это... вот что!

— Верно, Володя, правильно! — нарочито-громко одобрила Шура и, полуоборотясь к Шмалеву, спросила с резким смешком: — А ты откуда свои сведения добыл?

Шмалев поклонился с грустным достоинством обижаемого, но сдержанного человека.

— Дайте срок, Александра Трофимовна, представлю вам гору книг, где из слова в слово напечатано то же, что и я рассказываю, — о солнце, урожае в Испании и прочих вещах.

— Хорошему у нас никогда не поверят, красавец, — одобрил дедушка Шмалева и, вытягивая в лиловой полутьме юркую головку, сказал нахохлившемуся Володе: — А ты, сынок, молод еще, чтобы людей судить.

— Лучше на свете не жить, чем быть твоим сынком! — огрызнулся Наркизов.

— Каков актер? — шепнул Никишев Баратову, повея бровью в сторону Шмалева.

— И ведь неуязвим, хитрец! — шепотом восхищался Баратов.

— А насчет неуязвимости еще проверим... — усмехнулся Никишев и, привстав, слегка откашлялся, чтобы обратить на себя внимание.

Володя обернулся и посмотрел на него взглядом, пол-

ным надежды. Шмалев пожал плечами, глянул исподлобья, будто удивляясь и не понимая, что московский гость может внести в простодушную деревенскую беседу о том, о сем.

— А знаете, Шмалев,— непринужденно заговорил Никишев,— Александра Трофимовна, как всякий внимательный слушатель, справедливо выразила некоторое сомнение по поводу добытых вами сведений. Не совсем понятно ей кое-что.

— Вот как! — вскинулся Шмалев.— Но ведь я чистую правду сказал, хоть об заклад биться: на аренах Испании, во всех цирках Испании...

— Да, вы только об этом и рассказываете,— спокойно возразил Никишев.— Но ведь Испания не сплошная цирковая арена, а буржуазное государство, где миллионам рабочих и крестьян живет очень туго... и, скажем прямо, им совсем не до боя быков!

— Расскажите, Андрей Матвеич! Очень интересно... расскажите! — громко попросил Володя, тут же поддержанный целым хором молодых голосов.

— Хорошо, я сделаю кое-какие разъяснения,— согласился Никишев.— Итак, что происходит в Испании?

Никишев рассказал, как тяжело повлиял мировой кризис 1929 года на отсталую промышленность Испании и на ее раздробленное сельское хозяйство, разоряемое безземельем, невыносимыми поборами со стороны помещиков и капиталистов,— подумать только: более шестидесяти процентов, в общей сложности, мелких крестьян, арендаторов, батраков вместе со своими семьями должны кормиться и платить налоги, имея всего около одного (одного!) га земельного надела!.. Более сорока процентов рабочих остались без работы, а многие и без крова. Началось вновь стачечное движение, которое перешло в широкую волну забастовок, в ряде районов Испании поддержанных крестьянством. Массовое это движение шло под знаменем борьбы с монархией и с ненавистной народу фашистской диктатурой Примо де Ривера и со всеми его фашистскими прихвостнями. Под влиянием бурных проявлений народного гнева сначала вынужден был подать в отставку Примо де Ривера, а в апреле текущего года испанский король Альфонс XIII бежал за границу.

— Бежал? Скажи, пожалуйста, экая с ним незадача

произошла, с королем-то...— смиренно вздохнул Никодим Филиппыч.— Да, может, он просто так... посердиться вздумал, проучить народишко... а потом, глядишь, и в обрат вернется... а?

— Ну, нет... это напрасные надежды,— презрительно усмехнулся Баратов, которому с первого взгляда показался исключительно противным этот, как он называл его, злоехидный старикашка со всем его «родом».

— Нечего, нечего правду замазывать! — с упрямым задором воскликнул Володя.— Вон там какая борьба идет, в этой самой Испании... это вам не забавы в цирке с разными боями быков и тому подобной ерундой!.. Уж ежели рассказывать берешься о другой какой стране, так раньше всего о главном надо говорить, а не о безделках!

— И никакой там чудной жизни нет, а наоборот, люди голодают,— подхватила Лиза.— Разве только дряхлых старичков можно этими сказками обмануть!

— Ну и ну! — с притворной печалью вздохнул Шмалев, укоризненно глянув в сторону Никишева.— У меня, грешного, такой заступы, как у тебя, Наркизов, конечно, нету... да и откуда мне, деревенскому парнишке, такие премудрости знать?.. Ой!.. Кто тут?

— Я, я,— добродушно сказал остановившийся за его спиной Петря Радушев.— Вечеруете? А завтра не проспите?

— Вот о разных странах рассказываем, дядя Петря,— просительно сказал Шмалев,— да Никодим Филиппыч тут же молодых уму-разуму учит.

— Надо, надо...— рассеянно похвалил Петря.— Ну, я пошел.

— Все о хозяйстве страдаешь? — спросил Шмалев.

— О чем же больше? — величественно бросил Петря, кивая большой, как уродливый лопух, старой своей соломенной шляпой.

— Присядь с нами, дядя Петря,— усердствовал Шмалев,— интересную историю расскажем.

— Нет уж! — отмахнулся Петря.— Без меня упражняйтесь.

И он пошел дальше, обремененный «заготовкой» распоряжений на завтрашний день.

— Умный человек сразу дело разоерет,— значительно заключил дедушка Никодим Филиппыч.

А старший сын его, бородач, добавил, густо краснея:
— Да уж такой желторотым спуска не даст.

И Володя понял, что это камешек в его огород, но сраженным он себя не чувствовал. Если бы он сказал глупость, Шура не поддержала бы его. А если бы он не осадил дедушку Никодима Филиппыча, Шмалев, пожалуй, повел бы себя иначе. Похоже, что Шмалев даже немножко растерялся: наверно, он ожидал встретить в лице Володи покорного слушателя, а вышло не так. Ему уже хотелось уйти, но какое-то повелительное любопытство заставило его остаться на месте. Ему было ясно, что развязность Шмалева как-то увяла. И разговор не клеился. Дедушка, побряхтывая, поднялся и ушел со всеми своими родичами. Присмирив, сидела полукругом молодежь. Слегка подняв голову к небу, задумалась о чем-то Шура. Володя видел, что Шмалеву хотелось сейчас говорить только с ней. Но Шура продолжала молчать. Тогда Шмалев снова растянул свой баян. Заглядывая в лицо Шуры, он совсем повернулся спиной к Володе, словно показывая свое равнодушие к нему. Володя слушал переливы и трели баяна и мягкий, словно пухом обволакивающий голос Шмалева:

Зацветет черёмуха,
Листики появятся,
Заплет песню стра-астную-у
Звучный са-ла-ве-ей...

Когда Шура тихонько встала и пошла с бугра вниз, Володя удовлетворенно подумал:

«Не вышло у тебя, баянист, не вышло!» Володя не смог бы объяснить, что именно «не вышло» у Шмалева, но уверенность от этого не стала меньше.

Найдя тихий уголок в саду, Никишев засиделся над записной книжкой; к обеду пришел позже всех и никого из интересовавших его людей не видел. Первым в саду встретился ему Дима.

— Как я жалею, как бесконечно жалею,— умиленно грустил Дима, оберегая от яблоневых веток большие очки на мальчишески вздернутом носу,— что невозможно безостановочно объезжать, облетать наш необъятный Союз! Как мы, люди печати, нерасторопны и отстали! Мы теряем совершенно изумительные, неповторимые впечатления, которые никакая авторская фантазия не в состоянии выдумать... Ах!— вскрикнул он, споткнувшись

и тут же радостно ощутив, что драгоценные очки невредимы.— Если бы наша литература поменьше измышляла и как можно больше фиксировала!

Дима удалился на ночлег. Кожаный ящичек с фото деликатно терся о его бок, как верный пес, самоотверженно поработавший с хозяином на охоте по болотам и лесам. Так и было: в глубине неоскудевающей фотокамеры уже покоились ловко, на лету схваченные снимки. Дима был уверен, что они получились удачно.

— Милый ты мой! — нежно прошептал он и приласкал кожаный ящичек быстрой худой ладонью.

— Сосунок! Цуцик! — надменно и обиженно сказал Баратов, когда затихли шаги Димы.— Пусть ему взрослых детей иметь пора, но разве он понимает, что значит творить, передавать жизнь? «Я смертен, говорю я, но, исчезая ежеминутно, я жажду передать окружающим, как неповторимы бывают наши чувства, как можем мы быть слабы и могучи, злы и благородны...» И вот вдруг тебя начинают учить резвые нахальные мальчишки со шпаргалками! Да разве их беззубый стереотип может соперничать с тем, что рождено моей мукой и жаждой познания, в чем я выразил себя?

Никишев молча слушал. Он пыхнул папиросой, и рыжий огонек осветил его круглый подбородок с ямкой и улыбающийся рот.

— Мы вяло, робко говорим о жизни,— продолжал Баратов.— Отчего? Не умеем? Нет. Мы изнемогаем под бременем задания, которое взвалили себе на плечи. Мы забываем, что какие полотна ни пиши — вино ли в стакане, или яблоко,— все равно это не будет то, что люди потребляют в пищу. С какой самовлюбленностью и самохвальством мы пытаемся в ладони наши заключить тысячи человеческих судеб, эпохи, всю вселенную... А между тем история одного Гамлета охватывает собой судьбы всех страдающих, обманутых жизнью, не нашедших идеала, загубленных ранней смертью!.. Мы малодушно боимся неожиданностей и трагедий, которыми только и дышит искусство — великий исследователь человеческих страстей и мук. Да, да, страстей и не хватает нам. Мы, дети великой, неисчерпаемо деятельной страны, должны возродить шекспировские бури страстей, блеск интриги Дюма и веселое искусство Бомарше и Лесажа.

— Словом, в любом случае ты за интригу и страсти.

— Да. Вначале меня здесь захватила идиллия Германа и Доротей. Шура и Борис Шмалев — какова парочка? Но теперь я решил рассказать о столкновении страстей: любви, ревности, обманутых надежд, зависти к чужому торжеству, жажды и мечты. Я уже поставил диагноз во время сегодняшней беседы. Как ни подтягивают все здешнее население мудроватый товарищ Семен и этот рыжий паша, Петря Радушев, — люди живут так, как им велят их сущность и кровь. Вот тебе бабища Устинья, здешняя «строптивая», — это один род страстей: «ах, дайте, дайте мне свободу...» А вот еще Борис Шмалев, Шура и Валя.

— А Валя при чем?

— А ты не заметил? Боже мой! Эта пышногрудая фламандка безнадежно влюблена в Бориса Шмалева. Когда он рассказывал, она прожигала его глазами. О-о, прибавь сюда еще низкий уровень ее развития, ограниченные интересы, малограмотность. Легко вообразить, какое место займет любовный огонь в жизни этой самобытной, плотской натуры. Едва ли и Шура отдаст свое без борьбы. Пока не представляю, как поступит Шмалев, но драма между этими женщинами неизбежна. Я не увижу результатов этой трагедии, но я предвижу ее.

— Что же ты сделаешь со своими героинями?

— Что? — Баратов на миг задумался. — Вернее всего, обе погибнут. Да, да! Надо утвердить могущество страстей, и потому обе погибнут. Ничего не поделаешь.

— Ага...

— Спасибо! Разразился-таки «речью»... Знаешь, скрытность твоя, Андрей Матвееч, поистине отталкивающая!

— Честное слово, — просто сказал Никишев, — я не успел еще, как ты, столько разглядеть.

— Ну тебя к черту! — ответил Баратов, сердито зевая, и пошел спать.

Кто-то робко тронул Никишева за локоть. Обернувшись, Никишев узнал Володю Наркизова.

— Простите, пожалуйста, поговорить с вами хотел... Да вы, может, почивать собрались? Мне-то уж сегодня не заснуть, — грустно и значительно сказал Володя. — Очень важная дума у меня, не поверите.

К уже рассказанному им Лизе он добавил еще свои размышления после вчерашнего концерта.

Володя кончил и смущенно вытер лоб.

— Извините, отнял я у вас время своими рассказами. Это я говорил больше всего для того, чтобы узнать у вас насчет программы образования. Я было думал на первых порах подучиться у Бориса Шмалева, хотя бы путем бесед. Но вчера меня взяло сомнение: хоть он и кончил семилетку, а все же он...— в голосе Володи прозвучала презрительная нотка,— все же он о каких-то безделках рассказывает... и даже словно издевается над людьми!.. Мне уже восемнадцать лет, в школу меня не примут, время мое пропущено. Где же я получу образование? Кто меня здесь направит?.. Эх, да разве в деревне чему-нибудь научишься?.. Нет, брошу я здесь все, молить буду Семена Петровича: отпустите, мол, меня в краевой центр, а то, честное слово, зашьюсь я здесь, в болвана обращусь... Не могу я так, не могу!

Никишев положил руку на его вздрагивающее плечо и ласково одобрил:

— Не отчаивайся, товарищ Наркизов... Еще вся жизнь перед тобой. Придет день — ты убедишься, что и деревня может много тебе дать.

— Вы думаете? — восторженно воскликнул Володя. — Так охота мне, чтобы поскорее настоящим культурным человеком стать!

— Вот насчет того, чтобы «поскорее», как ты хотел бы, обещать просто невозможно, — улыбнулся Никишев. — Знания откладываются в нашей памяти, как мед в улье, часто даже очень трудно и медленно.

— А у вас как было? — почему-то осмелев, спросил Володя.

— Что ж, если хочешь, могу кое-что припомнить, специально для тебя, — ответил Никишев. Он вспомнил свое раннее сиротство, детские годы в тесной петербургской квартирке, когда его воспитывала мать, вдова скромного пехотного офицера.

— Она, моя бедная, через несколько лет надорвалась в борьбе с жизнью... и я, брат, осиротев во второй раз, с двенадцати лет должен был уж думать обо всем сам.

Рассказав, как он учился в Морском корпусе (отец происходил из обедневших дворян), как ходил в первое, а потом в последующие плаванья, Никишев закончил

свое повествование несколько неожиданным для Володи заключением:

— А потом надо было учиться делать революцию. Но, как ты, наверно, и полагаешь, этой великой науке мы учились не только по книгам, а и по жизни народа. Меня, например, очень многому научил матрос Семен Коврин.

— Семен Петрович? Наш, значит, Коврин? — с безмерным удивлением переспросил Володя.

— Да, он, Семен Петрович, — улыбнулся Никишев.

— Наш председатель колхоза? — будто еще не веря собственному слуху, опять повторил Володя.

— Да, да!.. Но чему ты так поражаешься, товарищ Наркизов?

— Не могу понять, — смотря на Никишева большими, даже испуганными глазами, заговорил Володя, — как он, Семен Коврин мог учить вас? Вы Морской корпус закончили, множество научных книг прочли, иностранные языки знаете... а он — простой, деревенский!.. Чему он, деревенский, мог вас, образованного человека, научить?

В том, как Володя намеренно подчеркивал слова «вы» и «он», Никишев почувствовал, как поразила юношу неожиданная ломка привычных представлений. Андрей Матвеевич довольно улыбался про себя: его психологический расчет оправдал себя.

— Вот я сейчас тебе это постараюсь разъяснить, — сказал он, мягко положив руку на плечо Володи, — и некоторое время они так и шли: пожилой, несколько отяжелевший человек с седеющей головой и тонкий юноша с золотисто-русым хохолком над высоким загорелым лбом.

Вначале сердце Володи бурно стучало — небывалая гордость переполняла его. Подумать только: ему, такому молодяшке (так часто называл его поколение Петра Радушев), поверяли свои воспоминания, мысли, многие случаи своего богатого жизненного опыта. Кроме того, его собеседник (о чем не однажды, ожидая его к себе в гости, рассказывал Семен) был знаменит, написал несколько хороших книг, а говорил с Володей как с равным себе. Ни тени той обидной снисходительности и превосходства, которые позволял в обращении к нему «самый образованный» человек в колхозе, Борис Шма-

лев, никаких хитрых присказок и насмешек, которые должны были показать людям, что Володя Наркизов глупый желторотый мальчишка,— нет и нет: в этом разговоре все было основано на доверии к нему, юноше!.. И он безраздельно доверял этому человеку и уже любил его, хотя до сегодняшней встречи с ним считал чужим гостем, до кого ему совсем и дела не было. А сейчас он понимал, что Андрей Матвеевич Никишев для него, Володи, нужнейший человек на земле: с ним обо всем можно посоветоваться, открыть все мысли и намерения, зная заранее, что получишь прямой и верный ответ.

Все, что он рассказывал, было удивительно ясно и ново, и казалось Володе, будто сама собой раскрывается перед ним книга доселе неведомой ему жизни, что страницы ее, шелестя, обдают его дыханием свежего ветра и шумом морских просторов. И как же было неожиданно представлять себе среди этих картин молодого матроса Семена Коврина, совсем, совсем иным, чем он до сих пор привык считать его. Так именно и высказал Володя свои мысли новому другу.

— Чтобы ты окончательно перестал удивляться этому,— все тем же серьезно-ласковым голосом сказал Никишев,— прошу тебя, подумай вот о чем. Семен Петрович — это не только ваш председатель, бесконечно озабоченный и замотанный человек, которого вы, молодежь, только таким себе и представляете. Ты вот знаешь теперь, что Семен Коврин был одним из тех, кто совершил революцию во флоте. В таком вот Семене мы, большевики, видели лицо нашего народа, его роль в величайших событиях истории. Семен Коврин, как и тысячи-тысячи подобных ему, живая частица нашей истории. Вот почему мне и было чему учиться у него, понимаешь?

— Понимаю,— прошептал Володя. Ему захотелось спросить и о Петре Радушеве, об этом «дяде-погоняле», который так надоедал всем своими окриками, «уроками», дурным характером.

— А вот дядя Петря... — отважился все-таки Володя.— Уж едва ли он...

— Да, да,— оживленно подхватил Никишев,— и ваш дядя Петря тоже частичка истории нашего государства! Русско-германскую войну вынесли на плечах вот такие Радушевы. А ты знаешь, что Радушев не однажды был

членом солдатских делегаций, которые фронт направлял в Питер для связи с нашей партией, с Лениным?.. Не знаешь?.. Так вот запомни, молодой друг.

— Но почему Семен Петрович и дядя Петря кажутся нам... как бы это сказать... ну... совсем неинтересными, серыми какими-то людьми...— путаясь, заговорил Володя — и замолк, увидев в бледном лунном свете устремленный на него пристальный взгляд его внимательного собеседника.

— Эх, Володя, секретарь комсомола, — вздохнул Никишев. — Вижу я, нет еще у тебя больших мыслей, государственного понимания общего дела, то есть колхозного строительства. Дело это новое, никто в истории еще не зачинал его. Готового ничего нет, все надо вновь создавать, а во всяком новом, тем более таком огромном начинании неизбежны просчеты и ошибки. И вот тебе живой пример: два коммуниста, честные люди, преданные колхозному делу, но еще неопытные руководители, обратились в каких-то вьючных лошадей, все везут на себе, изнемогая от забот, тревог, усталости... Оттого они и кажутся раздражительными, серыми... и вообще черт знает какими. А члены правления, как видно, почти все бездеятельные или просто малограмотные, помогают им плохо. Но ведь есть молодежь и вы, ее вожаки, комсомольцы. А вы что? Подумай-ка честно, являетесь вы, комсомол, и лично ты, секретарь, вожаками колхозной молодежи?.. Помогаете ли вы практически и деятельно вашему колхозу, его движению вперед, ведь вам, молодым, придется потом продолжать начатое, верно?

— Верно... — одними губами прошептал Володя, и сердце его опять бурно забилося, но сейчас — от другой причины. Он приостановился на садовой тропинке, даже задохнувшись от горячего наплыва тревоги, стыда и острого сознания горькой правды, от которой никуда не скроешься. Все вокруг показалось Володе чрезвычайно значительным и преображенным неповторимостью его общения с Андреем Матвеевичем.

Отяжелевшие от обильного урожая яблони то бархатно чернели в тени, как пышные шатры, то, попадая в полосу лунного света, сверкали густой осыпью круглобоких плодов, будто отлитых из серебра. Широкая

прогалина, что вела к реке, щедро открытая ночному светилу, сияла каждой травинкой. Не видать было реки, затененной крутым берегом, но были слышны всплески ее волн под легким ночным ветерком. Невидимые, но четко слышимые в ночной тишине, волны родной реки мерно и настойчиво выплескивались на берег и с шуршаньем уносили с собой и вновь выбрасывали на землю гальки и песок. И было в этих звуках что-то глубоко родственное работе человеческого сердца, которое никогда не знает покоя. Володе чудилось: как бы заодно с биением его сердца волны мягко, но настойчиво выговаривают: «отвечай... отвечай... отвечай...». И все его молодое существо, жадно распахнувшееся навстречу этому так полюбившемуся ему человеку, требовало от него правдивого ответа на каждый обращенный лично к нему вопрос Андрея Матвеевича. А чем больше Володя раскрывал суть правды жизни, чем настойчивее пытался обязательно сейчас, в этой ночной тишине, объяснить то, чего раньше не замечал или не понимал, тем все легче и просторнее становилось у него на душе. Да и Андрей Матвеевич иногда помогал ему в этом: то о чем-то напоминал, очень кратко, чаще всего одной фразой или даже метким словом, то задавал Володе какой-то встречный вопрос, который мгновенно прояснял смысл того, что он готовился сказать, то просто подбадривал юношу сочувственно-понимающим восклицанием, умной усмешкой вслух, которая безошибочно внушала Володе — не стесняйся, мол, паренек, говори, как в сердце у тебя сложилось!.. Так именно он и говорил, требовательно и даже как бы со стороны, проверяя свои восемнадцать лет.

Когда его избрали секретарем комсомола, работа представлялась ему простой: объяснить Устав Ленинского комсомола, потом требовать от комсомольцев, чтобы и они умели точно повторить эти объяснения, прочесть две-три рекомендованных книжечки по политграмоте, отмечать революционные годовщины. А что еще делать дальше, он не знал, потому что никто большего с него и не спрашивал. Что за народ колхозные комсомольцы и их товарищи, беспартийная молодежь, чего они хотят, чем интересуются, он не доискивался, да это и в голову ему не приходило: все его сверстники казались ему одинаковыми. Все, например, любят повесе-

литься, поплясать — жалко вот только, что для веселья подходящего места в колхозе не было, и потому все потянулись к Шмалевскому баяну. После краевой конференции комсомола Володю словно встряхнуло, но ведь надо правду говорить: он до конца так и не понял, что ему надо делать, как жить. Он захотел «получить образование», глупо сунулся к Шмалеву — и получил в ответ насмешку и издевку. Тогда он впал в отчаяние, думая порой, не убежать ли ему из колхоза в город. Но кому он там будет нужен?

Убежать из колхоза, когда он, Володя, колхозу-то как раз и необходим? Правда, не таким, как он есть сейчас. Стыд-то какой, что эта мысль раньше не приходила ему в голову! Напротив, он и все его сверстники привыкли то и дело «вставать на дыбки» наперекор «урокам» и распоряжениям дяди Петри и Семена Коврина, обижаться и возмущаться, что к ним, молодым, относятся как к «несмышленишкам». Да и кто они в самом деле? Несмышленишки, именно так! Они постоянно отделяют свою жизнь от жизни колхоза: «мы», «у нас», «наше», а про старшее поколение говорят небрежно: «они», «дядя-погоняла», «подумаешь руководители» и тому подобное. Удивительно ли, что руководители не могут как на него, Володю Наркизова, так и на его сверстников по-настоящему надеяться, как на взрослых и самостоятельных людей! Стыд-то какой, что он в первую очередь, как секретарь комсомола, не учитывал, что ведь не случайно ни одного комсомольца не избрано в члены правления колхоза. А как зато другие туда рвутся! Например, представить себе в качестве члена правления колхоза такого ловкача, как Борис Шмалев, или мордастых лентяев и грубиянов — сыновей Устины Колпиной, или кого-нибудь из сыновей и невесток этого пресловутого дедушки Никодима Филиппыча — действительно, натворили бы они скверных дел, потащили бы колхоз неизвестно к каким еще бедам!.. Не ценить, не уважать честных коммунистов, которые несут на себе все дела, заботы и тревоги, и не замечать тех, кто, по темноте своей или по злобе, держит против них и колхоза камень за пазухой!.. Мечтать о том, как бы поскорее (чуть ли не в один присест) стать образованным, подняться бы повыше над другими, малограмотными и серыми людьми... и проворонить жизнь, окру-

жающую тебя, близкую тебе, не понимать смысла и цели происходящего, ни о чем не болеть душой,— пусть, мол, другим это достается!— ох, какая слепота, какая глухота!.. Нет, нет, ничем не может Владимир Наркизов оправдать себя, и единственно верное и достойное комсомольца, что он может сейчас сказать, это вот что: больше жить по-прежнему нельзя!

— Да, больше так жить нельзя! — повторил Володя немного охрипшим голосом от непривычно длинной и страстной речи.

— Вы верите мне, Андрей Матвеевич?

— Если я не чувствовал бы к тебе доверия и симпатии, сынок, не стал бы и затевать этот разговор,— спокойно ответил Никишев.

— Значит, вы думаете, что я... что мне удастся... — задыхаясь от вновь прихлынувшей к сердцу гордости, заговорил Володя. Но тем же ровным голосом Никишев прервал его:

— Об удаче, Володя, речь пойдет, когда примешь самостоятельное и верное решение... и не только для себя, а для пользы общества.

— Самостоятельное... решение... — с расстановкой повторил Володя, подумав, что еще никогда в жизни не случилось ему принимать такого решения. Он хотел было спросить еще что-то и вдруг ясно увидел ласково улыбающееся ему лицо Никишева, морщинки вокруг его темных глаз и понял, что уже светает. Небо впереди над прогалиной, к которой они опять вышли, словно раздвигалось вширь, и мелкие облачка, подсвеченные откуда-то изнутри, нежно белели своими курчеватыми краями. А уже ниже, над сереющей гладью Пологи и дальними сизыми гребнями лесов на противоположном берегу, небо поднималось, чуть дрожа и курясь прозрачной дымкой, розоватой, как яблоневый сок. Волн внизу уже не было слышно, и только тянуло пронзительно-ароматной прохладой.

— Воздух-то, брат, каков! — шепнул Никишев, дыша полной грудью.— Смотри-ка мы с тобой за ночь и жизнь, словно сад, обошли. Эх, хорошо!..

Вдруг будто золотая игла мелькнула где-то высоко над головами Никишева и Володи, и самый высокий лист на макушке старой раскидистой яблони загорелся золотой искрой.

Ранний розовый свет играл на щеке Володи. Его потемневшие от бессонницы глаза устало мигали, а на лице, сливаясь как облачка на небе, сияли изумление, радость и раздумье.

Володя никак не думал, что через день придется ему принимать самостоятельное решение.

По дороге на участок работы, назначенный его бригаде, Володя неожиданно встретил Ефима Колпина, мужа скандалистки Устиньи. Приземистый, коротконогий Ефим, помахивая облезлой шапчонкой, которую носил зимой и летом, с таинственным видом окликнул юношу.

— Слышь-ка, бригадир... поди сюда...

— Да что ты все к кустам жмешься, дядя Ефим? От кого прячешься? — пошутил было удивленный Володя.

— А вот и прячусь, — проворчал Ефим, торопливо маня Наркизова зайти за придорожные кусты.

— Иди-ка сюда, парень, чтобы нас никто не видел. Ну... во-от хорошо. Слышь-ка, что я тебе скажу: Семена Коврина сегодня изловить хотят!

— Как... изловить? — не понял Володя.

— Изловить, осрамить при народе... чтобы, значит, каждый пес на него из подворотни лаял да за ноги хватал... А мне жалко Семена — он мужик хороший... Я его предупредить хочу, потому как сегодня задумали его осрамить, а допускать такое никак нельзя. Ты слушай..

— Ну-ну?

И Ефим торопливо передал, что удалось ему случайно разузнать из тайной беседы «соседушек», которые собрались вчера у Устиньи. Кто-то (к сожалению, он не знает, кто именно) заприметил кооператора, который привез ныне Семену Коврину какие-то книжечки насчет механической сушилки, разговорился, выведал цель его приезда — и «осиное гнездо» сразу зашевелилось. Сегодня вечером дедушка Никодим Филиппыч со всем своим родом, Устинья и еще кое-кто собираются после ужина устроить такой скандал Семену Коврину и Петре Радушеву, чтобы они больше не смели и затевать разговор о какой-то там механизации.

Обещав Ефиму не выдавать его, Володя решил, что медлить нельзя: нужно прежде всего найти и предупредить Семена Коврина.

— Прошу тебя, дядя Ефим, скажи Радушеву, что... что неожиданно-негаданно должен я выполнить одно важное задание для председателя. Выполню — и немедля явлюсь на работу. Ладно?.. Стой, дядя Ефим... шепни ему, чтобы не ругался — ведь это в тайне надо держать!

— А то как же! — отозвался Ефим, и каждый пошел в свою сторону.

Сначала Володя во весь дух побежал к селу, но вскоре остановился: зачем он бежит туда, ведь Семена днем на месте не найдешь!

«Батюшки, да где же он сейчас может быть?» — испугался Володя. — Только бы не уехал куда-нибудь далеко, предупредить бы вовремя!»

Володе вдруг ярко представилось, что может произойти, если скандальная компания притопает в отсутствие Семена. Раздражительный Петря Радушев сразу начнет кричать, а отчаянная Устинья такое напоеет ему, что он окончательно разъярится. Семена Коврина все-таки побаиваются, а когда Петря Радушев останется один, ссоре никакого удержу не будет, — и, батюшки, может начаться самая настоящая драка! Только свистни своим сынкам дедушка Никодим Филиппыч, они сразу пустят в ход свои пудовые кулаки, — и никто не знает, чем такое мордобитие может кончиться!

Да как же он найдет Семена, у кого спросит? Ведь и спросить-то можно не у всякого, первого попавшегося — дойдет до Устиньи и всей ее компании, что Семен предупрежден, так они еще какую-нибудь гадость придумают. Но кого же, кого спросить, в какую сторону направился Семен?

Володя приостановился, даже задохнувшись от тревоги, — и вдруг его слуха достиг знакомый стрекочущий звук.

— «Интер»!.. Шура под озимое пашет!.. Может быть, она знает?

Он побежал на звук «интера» и через несколько минут уже был у озимого клина. «Интер» тарахтел, но стоял, а Шура возилась около него.

Володя быстро рассказал ей, зачем ему нужен Семен.

— Обязательно его предупреди! — встревожилась Шура.

Шура точно знала, что Семен уехал с утра на Ореховую балку.

— Только ведь это далеко... пока ты добежишь, Семен может отъехать, он же на коне... и вы разминетесь... А ну, идем на дорогу! — и Шура решительно выбежала на пыльное шоссе. Став прямо посередине, она остановила первую же повозку. Это была почтовая фура, которой правил лихого вида парень в грязной парусиновой кепке. Он начал было бурно отказываться довезти Володю до Ореховой балки (хотя это и было по пути), но Шура держалась так повелительно, что парень притих и посадил Володю в фуру, рядом с тюками и ящиками с посылками. Но не проехали и половину пути, как лихой парень стал выгонять Володю, к тому же еще и понося Шуру, которая заставила его везти «какого-то желторотого», — теперь вот она позади, а желторотого он выкинет здесь, пусть добирается он как хочет.

— А ну! Слазь! — заорал парень.

— Не сойду! — отчаянно закричал Володя.

— А я вот тебя кнутом! — и возница, соскочив на землю, развернул кнут с длинным кнутовищем. Тогда Володя поднял один из посылочных ящиков и, выставив его впереди себя, грозно заявил:

— Только тронь, хрясну вот этим ящичком оземь, а там что-то хрупкое звякает.. То-то тебе достанется на почте, обалдуй!.. Да еще вычтут с тебя за порчу посылки!.. Что? Понял?.. Ага... так лучше вези меня как человек.

Парень, злобно ворча, взгромоздился снова на козлы. А Володя, боясь нового подвоха с его стороны, принялся расхваливать Шуру как «самую знаменитую трактористку в районе», о которой скоро даже в газетах напишут, — к ним в колхоз приехал «специально для этого» очень известный писатель.

— О нашей знаменитой трактористке пропечатают с похвалой и почетом, — продолжал сочинять Володя. — А вот если ты свое обещание, что ей дал, нарушишь, — я Шуре и Никишеву так твою подлость распишу, что уж ты попадешь в газету как самый настоящий хулиган... да, да!.. Уж лучше вези меня как человек!.. Тебе же лучше будет, чужак!..

Так, припугивая возницу, доехал Володя до Ореховой балки.

— Ух-х! — изнеможенно вздохнул он, чувствуя вместе с нервной усталостью и удовлетворение, что он все-таки добился своего.

Семена Коврина Володя быстро отыскал и, отведя его в сторону, передал тревожное сообщение Ефима Колпина.

— Та-ак... — многозначительно протянул Семен. — Ты для этого и скакал сюда?

— Да, только для этого... и даже с приключениями... и вот — хорошо, что мы не разминулись... — ответил Володя, не сдержав довольной улыбки.

— А кто тебя послал-то сюда ко мне? — спросил Семен, оглядывая Володю, будто увидел его впервые.

— Никто не посылал... я сам решил... — и Володя, сам не зная почему, залился румянцем.

— Сам решил? — переспросил Семен и снова посмотрел на Володю, а потом подал ему руку. — Ну... спасибо тебе за решение, комсомол!

В село они возвращались вместе на старенькой разъездной бричке.

Семен правил, и казалось, ему не впервой ехать вдвоем и делиться своими размышлениями с Володиёй, как с серьезным человеком.

— Ефим — член правления, значит, с совестью человек... видишь, беспокоился, захотел предупредить... — удовлетворенно говорил Семен. — Далее, Шура (голос его на миг пресекся)... как хорошо Шура поступила!.. Далее, ты, комсомол, меня нашел... Ничего, товарищ Наркизов, люди у нас есть... и есть кому бороться против подводных камней... есть у нас люди!

— Их еще куда больше будет! — выпалил Володя, и в груди у него словно разлилась жаркая волна смелости. — Мы, молодежь, свои силы приложим. Теперь того не будет, что прежде... по-прежнему жить дальше нельзя!..

— Вот ка-ак! — усмехнулся Семен, испытующе поглядывая на раздумавшегося Володю. — Смотри, какое течение пошло, попутного вам ветра, ребятки!.. Впрочем (Семен хитро прищурился), «ребятки», пожалуй, скоро и не подойдет вам говорить!

— Я потом обо всем расскажу... — пообещал Володя, вдруг смущенно подумав: вчерашний незабываемый разговор до рассвета Никишев вел с ним не для того,

чтобы секретарь комсомола похвалялся потóм доверием к себе известного всей стране человека.

Никишева Семен встретил в саду и тут же поделился с ним всем, что ему стало известно, не забыв при этом рассказать о поступке Володи.

— У меня, признаюсь, даже веселее на душе стало, когда я увидел, вот еще откуда нашего полку прибыло,— говорил Семен Коврин.— А все-таки здорово неприятно, что мне готовят скандал. Вот какие у нас ярые враги техники объявились... так и охота им окончательно и меня и технику опозорить, сплетни распустить на весь район...

— Дай срок, через месяц-два у вас в районе механизация сельского хозяйства станет главной проблемой дня,— объявил Никишев.

— Как то есть... главной проблемой? Почему? — удивился Семен.

— Да потому, что в вашем районе скоро откроется машинно-тракторная станция. Разве ты не знаешь об этом, Семен Петрович?

— Слышать слышал, что в других местах имеются эти машинно-тракторные станции...— смутился Семен,— а в наших-то краях их пока что нету... оттого и не думалось об этом...

Тогда Никишев напомнил, что в центральных газетах об открывающихся в разных местах МТС писалось уже довольно давно. Семен снова смутился — ведь газеты здесь бывают редко.

— Эх, Семён Петрович, не отставай от жизни, старый товарищ!... Ведь подумай, какая ирония получается: твои стремления находятся в фарватере самых новых хозяйственно-политических идей, а ты этого своего козыря не видишь, рвешься вперед, как некий мученик-одиночка... Из-за этой своей идейной отсталости получается какая-то досадная непродуманность в некоторых твоих действиях и планах... Противники твои, конечно, очень нахальны и крикливы, но помни: сила вещей на твоей стороне.

В заключение Никишев пообещал обязательно присутствовать на «беседушке», которая будет навязана председателю после ужина.

Еще не успели доестъ кашу с молоком, как Володя

Наркизов подбежал к Семену Коврину и взволнованно шепнул ему:

— Идут!

Первым выступал Никодим Филиппыч, постукивая палочкой и благолепно встряхивая юркой головкой и лысиной воскового оттенка.

Дедушка Никодим Филиппыч шел на беседу со всем родом, прихватив даже своих домашних «неудачников»: третьего сына, пучеглазого придурковатого парня двадцати восьми лет, и желтокожую, лет под тридцать, засидевшуюся в девицах дочь. Тут же присутствовали восемь ребят, дедушкиных внуков — от грудного младенца до двенадцатилетнего курносого озорника в подрезанных отцовских штанах.

Дедушкин род занял целый стол, решительно выпроводив застенчивого Ефима Колпина.

— Ну-ка, шестипалый, боженька тебя обидел, осадь подальше!

Широкоплечий Ефим отошел, по привычке пряча свою уродливую руку.

— Подсаживайся к нам, дядя Ефим,—ласково сказала Шура, и Ефим сел рядом с ней.

— Ишь как тебя привечают, Ефимушка! Как же, ведь член правления,—съехидничала Устинья.

— А хоть расчлен, красotka,—пропел дедушка.— Мы так вот сами по себе всегда вместе сидим, мы неделимые.

— Поганки дождевые! — негромко сказала Шура.

Младшая дедушкина сноха на ходу совала задыхающемуся от крика младенцу тяжелую, желтую, как дыня, грудь.

Шура сказала с презрительной жалостью:

— Зачем ребятишек-то с собой таскаете, мучить их только?

— А мы, касатка, привыкли,—с ядовитой ласковостью ответила старшая, с большим животом сноха.— Мы, родная, уж их таскать привыкли, раз бог нам их дает.

— Будя! —властно произнес дедушка, и сноха, будто подавившись, замолкла. А Никодим Филиппыч встал и, подпираясь палочкой, как утомленный пророк, пришедший издалека, подошел к столу, за которым сидел Семен Коврин, и тихим, изнеможенным

голосом начал свою заранее сложенную в уме речь:

— Вот для чего мы эту беседушку затеяли, председатель... Прослышали мы, Семен Петрович, что был тут у тебя человек один, книжки тебе принес, чтобы ты по тем книжонкам выбрал себе (Никодим Филиппыч пристукнул палочкой, будто вбивая в землю последнее слово)... чтоб ты выбрал себе эту... как ее... ме-ха-ни-за-цию... Ты — себе, а платить за эту... механизма... тьфу.... язык не выговаривает... мы, значит, будем платить. Мы, колхозники? Так ведь оно выходит, милостивец... а? И как же такое возможно, по-божески ли оно выходит? Ведь на колхозном собрании мы эту... чтоб ее... механизацию... начисто запретили (он снова стукнул палочкой оземь, будто намертво заколачивая что-то)... Мы запретили, а ты возвернуть назад хочешь? — и дедушка, зло и испытующе глядя на Семена Коврина, приложил ладошку к уху, как бы готовясь услышать ответ.

— Что-о? Молчишь, флотска-ай?! — взорвалась Устинья.

Дедушка недовольно повел на нее глазом — рано, мол, вылезла. Но она уже не могла остановиться.

— Глядите-ка, люди добрые, молчит-помалкивает председатель наш... видно, совесть у него не на месте!..

Устинья было подбоченилась и, лихо подмигивая, закивала встрепанной головой в сторону председателя.

Но Семен спокойно и прямо смотрел в ее одичавшие от злобы глаза — и это-то смутило Устинью. Она хотела еще что-то крикнуть, но так и осталась с глупо разинутым ртом. Никодим Филиппыч, уже явно сердя, оглянулся на нее и полусшепотом бросил, как кошке: кыш, кыш... ты!

— Уж ты не обессудь, Семен Петрович... — заговорил он опять, бегло кивнув в сторону присмирившей Устиньи, — что с бабы взять — волос долог, да ум короткий...

— Ну, ну! Ты, дед, осторожнее языком болтай! — громко предостерегла Шура. — Не все одним миром мазаны — кроме Устиньи, другие люди есть!

— Да, да! Что за безобразие! — звонко выкрикнул голосок Лизы.

— Господи... отец небесный... да ведь я... — начал

путаться дедушка и даже выронил свою палочку. Один из сыновей с мрачным видом поднял ее и сунул в руку родителя. Дедушка стиснул палочку, как змею, и даже задрожал от бессильной ярости: бесе-душка, на которую он сам и вызвался, чтобы «осра-мить» председателя, поворачивала куда-то в сторону. А председатель стоял в самой непринужденной позе, заложив руки за кожаный прочный ремень флотских времен с начищенной до блеска медной бляхой поверх свежеглаженной рубахи-косоворотки из сурового по-лотна. Только сам Семен знал, отчего ему так прият-но было в этой рубахе: ее выстирала и выгладила Шура, а потом приказала обязательно побриться, что-бы выглядеть «по-человечески».

— Погодите, уважаемые товарищи женщины,— ла-сково попросил он, чуть помахав рукой, чтобы нако-нец затихли легкие девичьи смешки.— Пусть Никодим Филиппыч выскажет все, с чем сюда пришел.

— А я что... я насчет того самого... — забормотал дедушка, почувствовав, что всю его затверженную для «посрамления» речь словно выдуло из головы.

«Ополоумел совсем старый хрыч! — со злостью по-думал Шмалев, сидевший за широкой спиной Устиньи.— Я бы флотского саданул куда лучше... так ведь — нет, старикашка вылез сам, словно его леший под бок толк-нул... и вот все под горку катится!»

Не в силах больше это терпеть, Шмалев решительно вышел вперед. С широкой улыбкой, вроде бы шутейно, он, как куклу, приподнял дедушку под локотки и от-ставил в сторону. Потом, все так же мягко улыбаясь, развел руками, словно показывая всем: сами видите, приходится выступать!

— Семен Петрович, поскольку мне суть дела изве-стна...

— Говори, пожалуйста,— спокойно разрешил Ков-рин.

Шмалев выпрямился и окинул всех весело-пронизы-вающим взглядом.

— Так вот... Почему люди встревожились? Потому, что Семен Петрович вновь собирается поднимать воп-рос об этой... извиняюсь... разнесчастной механизации!.. Собрание отвергло ее, кате-го-ри-чески отвергло, а председатель опять возобновляет данный вопрос!.. Соб-

рание запретило тратить деньги на механизацию, а председатель все-таки снова собирается их затратить... Где же, я спрашиваю, справедливость?.. И по какому, извиняюсь, праву Семен Петрович с народом не считается?

— Да что ему народ-ат? — взыграло снова визгливое сопрано Устиньи. — Одно слово... флотской, отчаянная-ай! А мы на тебя управу найдем, все про тебя обскажем!.. Я первая скажу: не согласная я, никак не согласная!..

— И я... и я не согласен! — угрожающе пропел дедушка. И тут же весь род его загудел на разные голоса:

«Не согласен!.. Не согласна-а! Нет, нет!.. Нет»

— Своими руками хлеб добываю. Вот они, рученьки мои натруженна-и!.. — и Устинья подняла над головой красные, мясистые кулаки, облепленные рыжими веснушками.

— Верно, верно! Не оскорбляйте, дорогие, честного народа, — жалобно подхватил дедушка. — Мы к вам всем родом и всей душой.

— А нас не слушают! — взвизгнула младшая сноха.

— А сами все лето ни копейки не давали! — подхватил чей-то грубый голос.

— Девку-сиротку без рубахи замуж отдаю! — гремела Устинья. — А они — суши-илка-а... консерва-а... Тьфу!

— Ну будет, будет. Устинья Пална... Ну зачем столько беспокойства? — как-то воркующе заговорил Шмалев и торопливо замахал рукой.

— Тсс... тсс...

Его певучий свист, казалось, стлался над головами, как прохладный нежный ветерок.

— Тсс... Спокойствие, друзья... Тсс... Каждый может высказать свое мнение..

Никишев сейчас особенно ясно увидел, какой это — от небольшого русого чуба надо лбом и до легкой походки — крепко сбитый и завидно здоровый парень.

— Можно все куда проще сделать, — ворковал Шмалев, — членов артели не беспокоить. Никакая сушилка и никакая механизация нам не нужна. В каждом доме имеется ха-арошая русская печь... в них целые пуды фруктов можно разместить и высушить...

— Ишь какой соловей-разбойник выискался! — И Петра Радушев, вдруг выбежав из-за стола, остановился против улыбающегося Шмалева и срывающимся от гнева голосом в упор спросил его:

— А тебе врать не стыдно, краснбай?! Уже пробовали мы по печам большой урожай рассовывать, уже видели, что из этого способа вышло! Неужто уже все вы запомнили, сколько яблок, груш, сливы сгнило в прошлом году — страшно вспомнить! То есть в такую негодность пришел дорогой продукт, что свиньи есть не стали. Нет, мы этот способ уже знаем и больше к нему не возвратимся... Дудки! Дудки!

— Сверх сил урожай взрастили, а где руки, чтобы убирать? — торжествующе выкрикнула Устинья.

— А ты каждым пальчиком за два старайся, — хихикнул дедушка, и весь первый ряд, занятый послушным его родом, затрясся от хохота спинами, платками, бородами.

— Вот, во-от! — поддакнула им Устинья. — Наше здоровье не покупать, им урожай бы только раздуть.

— И раздуем. И будем раздувать — во как! Смотри! — и Семен, ахнув, с силой обмахнул руками круг; голубой воздух, казалось, брызнул из-под его собранных пальцев. — Что мы, для своего брюха только стараться должны? Для общей жизни, чтобы общее богатство росло.

— Жизнь — она агромадная, красавец, — печально пискнул дедушка. — Она тебе не телега — к себе, когда хошь, не повернешь.

— Да что вы зарядили «себе» да «себе», или вам дурачками охота прикидываться... или с камнем за пазухой сюда пришли? — так же в упор спросил Семен и неторопливо перевел настороженный взгляд с одного лица на другое. — Неужто всерьез вы рассказам чьим-то верите, что я для себя, для своего кармана стараюсь? Что я, лавочник, спекулянт? Да я их сам раскулачивал два года назад, вы же это знаете... и как этих мироедов я ненавижу, вы тоже знаете... Моя жизнь всегда на виду, на людях... Я хочу быть человеком для людей.. понятно вам это?.. Потому и не позволю я разбазаривать плодовой урожай по избам да печам, а хочу, чтобы ни одно яблоко не пропало, чтобы все и на потребу людям и на пользу колхозу пошло. Когда

в прошлом году мы тысячи кило фруктов сгноили, мы, руководители, переживали это как позор...

— И больше этого не должно быть! — словно поддала жару Шура. — Больше мы этого не допустим!

— Не допустим! — звонким, ломающимся баском поддержал Володя Наркизов, а Лиза, радуясь его решительному виду, почему-то захлопала в ладоши, а сама покраснела как маков цвет.

Ефим Колпин, сидя с ней рядом и тоже не найдя сразу нужных слов, выразил свое отношение к происходящему несколькими бурными хлопками.

— Ишь... какой! — зычно расхохоталась Устинья. — Гляньте, какие вести — безголосый петух упал с насести!

— Ладно, помолчи! — неожиданно отозвался Ефим. — Тебя одну, как ворону, больше всех слышать!..

— Я те покажу «ворону!» — рассвирепела Устинья и показала мужу кулак. — Я и флотскому покажу-у... Вот как соберемся мы все (она обвела руками вокруг себя), к начальству городскому поедем да на тебя, председатель, и пожалуемся-я!.. Смилуйтесь, мѐл, начальство, остановите молодца, куда он нас тянет?

— И-и, верно, касатка! — простонал дедулька. — Куда он нас тянет? Вот мы и поедем!

— Вот и поезжайте! — вдруг так радостно согласился Семен, что Устинья и Никодим Филиппыч растерянно переглянулись между собой — что это могло означать?

— Вот и поезжайте! — еще настойчивее повторил Семен. — В городе, я знаю, что начальство всем скажет: председатель Коврин тянет вас... вперед! Вперед!.. А вам охота тянуть всех назад, но время для вашей воли безвозвратно прошло!.. Безвозвратно!.. — и Коврин быстро прочертил в воздухе большой крест. — Время теперь иное, и вам одно скажут: придет, мол, день, когда ваш колхоз добрым словом отметят за то, что одним из первых механизацию начал у себя вводить... и вам от того большая будет польза! И вы же нам еще спасибо скажете... да, да! А откуда это все придет... ну-ка? От советской власти. Вы о ней часто забываете, а она о нас всегда помнит... и скоро в наших краях произойдет оч-чень важное событие... и вот об этой-то новости вы еще ничего не знаете!.. Тише, еще минутку... Вы мне

верить не любите, так послушайте нашего гостя, Андрея Матвейча, который своими глазами эти новости видел... Вот мы и будем просить товарища Никишева рассказать нам об этих оч-чень важных событиях!

— Просим! — вслед за Семеном закричали Володя, Лиза, Шура и еще другие молодые голоса.

— Просим! — крикнул и Ефим Колпин. Как раз после его «просим» Никишев поднялся с места, будто оказав особое внимание Ефиму Колпину, который в своей семье никогда не видел справедливого к себе отношения.

— Моя задача, товарищи, довольно проста, — начал Никишев, — я хочу рассказать вам о том, что своими глазами видел на машинно-тракторных станциях на Волге, на Украине и на Северном Кавказе.

Неторопливо листая записную книжку, Никишев выбирал из ее многих написанных по горячему следу страниц названия колхозов и машинно-тракторных станций, имена энтузиастов новой сельскохозяйственной техники и всех, помогающих ее распространению на селе, отдельные факты и цифры, показывающие великую ее пользу в преобразовании жизни и облегчении труда хлеборобов. Никишев старался не забыть и об отдельных пестрых и даже мелких случаях, показывающих, по его выражению, «совершенно неодолимую силу и победу нового» над привычками и отношениями, оставшимися от прошлого. Не забыл он упомянуть и о ряде маленьких смешных историй, в которых посрамленными оказывались защитники старого и отжившего. Об этом Андрей Матвеевич рассказывал довольно сдержанно, однако смешное говорило само за себя, — и дружные взрывы хохота порой прерывали Никишевский непринужденный рассказ о виденном и слышанном.

Чтобы слушателям «За Семеновым столом», как он называл их про себя, «дать отсмеяться», а «столу пресловутого дедушки» дать почувствовать лишний раз, в чью пользу складывается «беседушка», Андрей Матвеевич на минутку приостановился. Этой передышки хватило Никишеву на то, чтобы понаблюдать за выражением лиц слушателей.

Семен смеялся раскатисто и будто не скрывая своего торжества, даже с силой похлопывал себя по ши-

рокой груди. Шура звонко хохотала и, взглядывая на Семена, казалось, радовалась его веселью и тому, что оно выражало. Радушев смеялся, явно изумляясь и поражаясь новизне, которая открывалась ему из записной книжки Никишева. Кстати, Петря не раз поглядывал и на эту писательскую записную книжку в клеенчатой обложке, и во взгляде его, казалось, сквозило: вот по-ди ж, словно и смотреть не на что, а сколько тут всякого добра уместилось... и, главное, я-то ничего об этом ни сном ни духом не знал!

Володя то и дело вскидывал на Никишева горделиво-любующийся взгляд и всем своим видом будто приглашал молодежь внимательнее слушать гостя, запоминать и соображать,—недаром Наркизов, беззвучно постучав пальцем по лбу, проводил этим пальцем широкий круг, как бы охватывая им лица своих сверстников. Иногда Володя, не сдержавшись, недовольно поматывал головой — словно что-то беспокоило его. Никишеву достаточно было беглого взгляда, чтобы приметить несколько юных физиономий, которые не выражали собой ни настоящего внимания, ни способности, слушая, запоминать и соображать, как того хотелось Наркизову. Среди этих физиономий особенно бездумно высматривало востроносенькое, все в мелких, как уколы, веснушках, лицо Кости Шилова, сына степенной Антонины. Видно было, что Костя просто рад возможности посмеяться, и он хохотал, как мальчонка, взвизгивая и хлопая в ладоши.

Заметно было, что Антонине не нравилось поведение сына: она то грозила ему, то хмурилась в его сторону. Сама она, вдова-красноармейка, была совсем не из смешливых, но ее серьезная и задумчивая улыбка тоже стоила своего. Антонина слушала очень внимательно, слегка поднимая рыжеватенькие бровки, которые вовсе не шли к ее темно-коричневым глазам, смотрящим всегда задумчиво и зорко. А сейчас она и вдвойне зорко вглядывалась в противоположный ряд слушателей за «дедушкиным столом». Ясно было, что Антонина понимала, почему, например, Устинья сидит, подпершись кулаком и нахохлившись, как курица. Она не только растерялась от совсем неожиданного поворота «беседушки», но и злобилась на мужа. «Ефимку шестипалого», как она его высмеивала в глаза и за глаза.

Ефим Колпин сидел за «Семеновым столом», явно довольный своим местом; его спокойная поза выражала достоинство разумного, работающего человека, который среди других не последняя спица в колеснице. Сначала Ефим только посмеивался, будто опасаясь, что за громкий смех его осудят. А потом, словно разгоревшись, стал уже в полный голос выражать свое настроение. Не так уж было существенно, что случаи, достойные осмеяния, происходили где-то далеко от его родного села. Хитро и весело прищуренные глазки Ефима, подмигивающие то в сторону Устиньи, то в сторону кого-нибудь из многолюдного «рода» Никодима Филиппыча, казалось, внушали каждому: да поглядите-ка внимательнее, сколько у нас в колхозе таких же отсталых и темных людей! Смеясь, Ефим порой даже приговаривал: «эх, так тебе и надо!», «дуй тебя горой!», «ну и ну-у!»

Каждый раз, слыша подобного рода восклицания, Устинья обращала в сторону мужа угрюмый и свирепый взгляд. Поневоле подавляемые, бурные вздохи сотрясали ее грудь, сводили злобной дрожью плечи; она вся кипела, но взорваться не могла — обстоятельства оказались сильнее ее. Никишев перехватил ее растерянный взгляд, брошенный было в сторону главного зачинщика «беседушки», но дедушка ничего не заметил.

Дедушка, Никодим Филиппыч, приумолкнув, почесывал за ухом. Его томно полузакрытые глаза и склонившаяся к заплатанному плечу маленькая лысая голова с лохматыми височками — все должно было показывать мирную и ласковую старость. Бесстрастно, покорно молчал и «род» его; только младенец, воюя с тугой материнской грудью, временами всплакивал в полусне. Мать младенца, как покорная сноха, испуганно прижимала его к себе, боясь гневного взгляда свекра. Но Никодиму Филиппычу в данный момент не было никакого дела до одного из своих потомков. Благолепный старичок о чем-то думал, что-то прикидывал в своем «избяном уме», как выразился про себя Никишев; право, чем дальше, тем пестрее «беседушка» играла красками!

Из этой пестроты выпадал Борис Шмалев. Он сидел несколько позади дедушкиного «рода», почти ря-

дом с Устиньей Колпиной. Его рубаха-косоворотка, вышитая васильками, опрятно голубела над встрепанной головой соседки, он был выше ее. На его свежем молодом лице не заметно было ни волнения, ни раздумья, да и, казалось, после провала его предложения «разверстать» урожай по печам, уже ничто не занимало его на «беседушке».

Но когда Никишев передал, что сказали ему в Трактороцентре в Москве о той самой машинно-тракторной станции, которая должна в текущем тридцатом году открыться в районном центре,—в выражении лица Шмалева что-то изменилось. Он даже вытянулся вперед, будто не желая что-то пропустить, и с каждой минутой в его доселе равнодушном взгляде все более подчеркнуто обозначалось напряженное внимание.

— Батюшки! — в веселом испуге воскликнула Шура.—Извиняюсь, что речь вашу, Андрей Матвеич, прерываю... но ведь я уже видела... Я видела, как эта новая машинная станция в наших краях строится!.. Я только не сообразила тогда, что и как... Помнишь, Семен Петрович (она обратила к Коврину зарумянившееся от оживления лицо), как я месяц назад ездила в район в очередь на «интер» записываться?

— Ну как же, как же...—бросив ей навстречу горячий взгляд, ласково ответил Семен.

— Я тогда в районе и пожаловалась: один-разъединственный «интер» на сотни пашен, попросту сказать, на разрыв гонят... этак скоро от него, сердешного, рожки да ножки останутся!.. А тут мне один пожилой товарищ сказал: «Не печалься, трактористка, дай срок — тут появится целая семья «интеров» и других машин, много легче колхозам станет...» И другие дяденьки, которые кирпичную стену клали, еще добавили: «Вот, мол, для машин приют строим!..» Но я домой торопилась и потому краем уха слышала, да и мнилось мне, вроде шутили они со мной... А оно, выходит, станция-то машинная строится!.. Ой, не смейтесь надо мной, Андрей Матвеич, что я сразу не сообразила...

— Зато сейчас вспомнили, Александра Трофимовна,—приветливо ответил Никишев,—к вашему свидетельству я с удовольствием добавляю имеющиеся у

меня сведения о вашей будущей машинно-тракторной станции.

Когда Никишев прочел одну за другой несколько страничек своих записей о районной машинно-тракторной станции, Володя бурно захлопал в ладоши.

— Вот здорово, ребята!.. Тракторы и прочие машины, ремонтная мастерская... учеников будут принимать. Я обязательно пойду учиться, стану трактористом!

— А электричество! — восторженно зазвенел голос Лизы. — От станции и к нам потом электричество дотянут... и к нам будет приезжать кинопередвижка, картины будем смотреть!..

— Ишь как раззадорило вас! — по привычке заворчал было Радушев, но его перебили залихватые молодые голоса:

— У нас тоже радио будет!

— Изба-читальня!..

Костя Шилов почему-то вскочил на скамью и, крутнув ногой, почти пропел:

— Футбо-ол! Футбо-о-ол!

— Дай срок, все будет! — воодушевился Семен. — А теперь напоследки слушайте все, что я объявляю!.. Так вот: нечего вам, товарищи колхозники, беспокоиться, на какие, мол, средства будем обзаводиться механизацией, откуда деньги возьмем... Объявляю: никаких денег и не потребуется — сушильную камеру нам сделают в порядке шефства города над деревней рабочие-механики на Тракторострое. Понятно?

— Понятно... — проскрипел Никодим Филиппыч. — Святые люди в наших краях объявились!

— На что нам святость, если мы по дружбе-товариществу можем поступить! Рабочий класс на Тракторострое наши яблочки за милую душу будет кушать, которые через кооперацию мы туда, на степной простор, доставим. А как заработает у нас механическая сушилка, мы и различными сухими фруктами будем рабочий класс снабжать! И вообще первосортные наши продукты всюду найдут потребителя. Да! Еще новость: был у меня сегодня посланец из нашей будущей машинно-тракторной станции. Им для столовой нужно постоянно закупать овощи и фрукты. Пожа-а-луйста, говорю, с нашим удовольствием будем вас по договоренности

снабжать!.. А этот товарищ мне в ответ: «У нас, говорит, будет хорошая ремонтная мастерская, а при ней всякие специалисты-техники...» И, словом, наша задача, говорит, распространять и внедрять самоновейшую технику в сельское хозяйство и обучать тому людей.

— Вот мы, молодежь, в первую очередь и будем обучаться! — возликовал Володя.

Сначала он, а потом и другие принялись расспрашивать Никишева о разных сторонах жизни в виденных им машинно-тракторных станциях.

За «дедунькиным» столом глухо забубнили, а Устинья, тяжело дыша, от растерянности и злости, таращила на всех ошалелые глаза. Ни срама, ни скандала не получилось, а, наоборот, о них, скандалистах, все словно забыли, они просто оказались не у дел, «беседушка» раскололась, как гнилой орех.

Отвечая на вопросы, Никишев вдруг заметил, что Борис Шмалев, подсев поближе к Устинье и Никодиму Филиппычу, что-то быстро зашептал им. Устинья беззвучно прыснула в кулак, а дедунька с загадочным видом пригладил ладошками свою желто-восковую лысину.

«Эге, Шмалев их настраивает на какой-то шаг... — предположил Никишев. — Но что именно они придумали?»

Не прошло и пяти минут, как среди оживленного говора и шуток раздался жалобный, как дудка, голос Никодима Филиппыча:

— Ради господа бога... не гневайтесь на меня, старика... а дозвоьте мне, милостивцы, спросить... э... кхм... сколько этих самых станций пооткрывали?

— Пока сто пятьдесят с небольшим, — ответил Никишев.

— Сто пятьдесят... дай-то, господи... — забормотал Никодим Филиппыч и слегка покосился в сторону Шмалева.

— Не очень густо... — насмешливо прозвучал голос Шмалева, и он поднялся с места, слегка разминаясь и посматривая на Никишева нагловато-недоумевающим взглядом. — Не очень это густо, говорю... Для нашей огромнейшей страны эти сто пятьдесят станций... просто капля в море! Помилуйте, да что может значить этакая малость?

— А хотите — поспорим,— сказал Никишев среди наступившей тишины.— Через год-два у нас в Советском Союзе будет уже не одна тысяча таких вот станций!

— Пятилетка же на дворе! Заводы какие строятся! — подхватил Семен. Но Шмалев продолжал доказывать свое, а потом беззаботно расхохотался:

— Да все это когда еще будет! А я опять же предлагаю: пока дойдут до нас всякие технические блага, испытаем еще один простецкий, но ей-ей же верный способ. Эх, взять бы пару добрых коней, да и развозить яблочный мелкий сорт во все концы. Вот тебе и Тракторострой будет с яблоками. Эх, да еще с баяном, так десять верст нам просто шутка... Эх, Костя, поедешь со мной? Песни будем играть! А?

— Поеду! — чуть дыша от радости, крикнул востроносенький веснушчатый Костя.

Шмалев увидел Валю и, засияв улыбкой, еще ласковее спросил:

— А ты, Валя, поедешь со мной на Тракторострой яблоки продавать? По дороге привольной будем с тобой песни играть и разные истории рассказывать... а? Хочешь?

Валя оторопело подняла на него широко раскрытые глаза с их кротко-животным выражением.

— Я?.. Хочу... — и залилась румянцем до слез.

— Вот дураки, дураки! — не сдержался Володя.

— От дурака слышу! — вспылил Костя.

— Стой! — гневно прервал Семен и вмиг представил себе степную дорогу, поющий ветер, и яснее всего этих ребят, жадно впитывающих еще не изведенные впечатления, которые потянут их совсем в другую сторону. Семен злился на себя: увлекшись своей мечтой, он не предусмотрел, что Шмалев у всех на глазах по-воровски переиначит его же, Семена, мысли о будущем.

— Ты!.. Тоже искusstель нашелся!.. Мы о большом деле говорим, а ты ужом изворачиваешься, зеленым ребятам душу смущаешь!.. Мы с рабочим классом договариваемся о братской помощи, чтобы вырастить нам настоящие промышленные сады, с механизацией мы здесь зачнем новую полосу жизни! А ты палки в колеса? Да кто ты такой, чтобы против этого идти?

— Кто? — с горделивой горечью повторил Шмалев

и даже подбочился.— Кто? Не так давно батрак бездомный, прямо сказать — нищий... И ты мне рот затыкаешь!

— Ох, любовнее с народом надо! — огорченно взмолился Никодим Филиппыч.— Ох, жалеть надо народушко!

— Плевали они на народ, им чужие приятней. По чужой дудке и пляшут, а мы вот локти кусай!

Это поднялась с места и вышла из-за стола уже ободрившаяся и потому разъяренная Устинья Колпина. Вьющиеся жесткие волосы, намокшие от пота, как дикарский убор из перьев, стояли над ее красным, будто воспаленным лицом.

— Мы вам не ребятишки — балясы точить! Рученьки, ноженьки, сидючи, затекли, а толку не вижу. Да еще слушай, как эти двое (она ткнула пальцем в сторону Семена и Шмалева)... ишь какие спорщики, благо-а-родные!.. перепираться вздумали! А кто не знает, что эти двое...— Устинья еще злее замахнулась на Семена и Шмалева,— эти двое за одну девку, за Александру свет Трофимовну, дерутся, горло друг другу вот-вот перегрызут!

— Как... как ты смеешь?! — пронзительно, вскрикнула Шура.— Никогда этого не было, врешь!.. Семен Петрович, да осади ты ее!

Шура, сорвавшись с места, остановилась как бы на лету под молодой легкой и сквозистой липой. Болезненной легкостью дышала и сама Шура; вскинутая к Семену ладонь ее как бы готовилась схватить летящее ей навстречу избавление.

— Семен Петрович!

Но Семен, бледный, пришибленный, молчал.

— Я...— после тяжелого вздоха заговорил он, смотря пустыми глазами на закатное радужное, точно свадьба, небо,— я против... товарища Шмалева отнюдь не возражал... Не возражал,— повторил он и надел машинально кепку.

— Вот и слава богу! — безмятежно сказал дедушка.— Люблю, когда дружба.

И, сделав знак роду своему, старичок неспешно пошел прочь во главе семейного шествия.

Устинья, играя боками, проплыла мимо Шуры.

— Ай. голубка, голубка, не по тебе наш Семен

нареченный! Не защитник он тебе... бедная ты моя, голубушка!

— Ну, извините, жалеть здесь некого,— сказал быстро Шмалев и, почти угодливо поклонившись Шуре, осторожно взял ее беспомощную руку.— Александра Трофимовна не из таких. Кого сама наречет, тот и атаман!

Все стали молча расходиться.

Кто-то дернул Никишева за рукав. Оглянувшись, он увидел насмешливо улыбающееся лицо Баратова.

— Ловок парень... а? — шепнул Баратов, кивая на Шмалева, который явно торопился увести Шуру подальше от всех.— Деревенский Ромео не так-то легко уступает свою Джульетту!.. Ка-ак все шло у вас деловито... но столкнулись страсти, и все смешалось!.. Посмотри же, ваша партия собеседников расходится далеко не победительно!

— Да, «беседушка», которую мы взяли в свои руки, могла завершиться несколько иначе,— задумчиво сказал Никишев.

— Вот и говорю... страсти помешали! — повторил Баратов.

— Страсти... Ромео и Джульетта... ей-ей, выдумки все это, Сергей. Не в страстях тут дело!.. Ты слышал, что Устинья пробурчала этому благолепному старичку... Недослышал? Жаль. А она констатировала фигурально следующее: «Коли шерсти не собрали, так хоть дегтем плеснули!» Вот они и плеснули дегтем в сторону Семена и Шуры... и кое-кого смутили. Но «деготь», с чем фигурально Устинья сравнила их общий «трюк», уверяю тебя, порожден не взрывом страстей, а другими причинами.

— Так раскрой их, Андрей Матвеевич!

— Не все сразу, Сергей Сергеевич, не все сразу.

— Ах, да... ты ведь все любишь взвесить, потом убедиться... и только после всего этого рука твоя наконец выведет первую строку... Ну, хорошо, не будем спорить на сей счет... Все-таки Шмалев Шуру увел... и она с ним, смотри, идет и слушает его... что?

— А по обочине, обрати внимание, за ним идет Семен Коврин.

Семен, мелькая из-за кустов темноволосой головой, шагал неслышно по траве, и каждое слово идущих впереди доносилось до него вполне ясно.

— Вы не сердчайте на меня, Александра Трофимовна,— просительно говорил Шмалев.

— Да за что? — лениво спросила Шура.

— За прибаутку не сердчайте... насчет того, что кого вы отличите, тот и атаман.

— Никого я не отличаю,— холодно сказала Шура и отвернулась от Шмалева.

Тот неловко пожал плечами и быстро свернул в переулок. Тогда Семен подошел к Шуре и посмотрел ей в лицо беспокойным и печальным взглядом.

— Ну? Что тебе? — вздрогнув от неожиданности, отрывисто бросила ему Шура.— Эх ты... герой флота... Грубую, скверную бабу осадить не сумел, она ж надо мной, да и над тобой тоже издевалась!..

Семен поднял на женщину тусклый, точно выпитый взгляд.

— Личную мою линию не могу вмешивать в общие дела! И чтобы этого не допустить, я на все пойду... Ежели личная линия покажется у всех на виду — позор... нельзя терпеть...

«Словно подмененный, даже почернел весь», — подумала Шура с невольной жалостью.

Некоторое время она молча шагала рядом с Семеном, остывая от возбуждения и досады.

— Странное дело! — заговорила она задумчиво и строго.— Если ты позора не допустил, так почему от этого радости нету? И опять же я не понимаю... Ты вот в мужья ко мне просился... Если бы я за тебя вышла, мы с тобой тайком бы жили, чтобы никто не знал, что мы друг дружке родные?

— Но ведь ты все не идешь за меня, Шура,— угрюмо возразил Семен.— Поддерживаешь меня в деле, а чтобы в загс вместе, наконец, поехать,— тут я тебя не докличусь!

— Все еще испытываю я тебя...— грустно вздохнула Шура.— Была ошибка у меня в жизни... тебе об этом я сказала, а все-таки еще испытываю тебя, какой ты есть: не станешь ли потом меня попрекать да мучить?

— Эх, Шура, Шура!.. знаешь ведь, как ты любя

мне... а вот оттого, что ты все еще пытаешь меня, я все знают, что ты не жена мне, а та, кого я к другому ревную... значит, я и завидовать могу, злобствовать и портить отношения с людьми в общем колхозном деле из-за личной моей линии? Нет, невозможно, это нельзя!.. Как большевик, я, Шура, от этого должен быть чист, как стеклышко.

— Нет,— сказала она убежденно,— если уж чист, так и горд, гордее всех. А ты где-то заврался, Семен... Ну, ладно, потом договорим... Что-то обидно мне и тяжело на сердце... я пойду... прощай пока.

Семен долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась за косогором.

— Вон Шура-трактористка домой торопится... что-то невесела она...— робко произнесла Лиза, чтобы как-то нарушить молчание. Володя шел рядом с ней, но словно не замечал ее, погруженный в странное и мрачное раздумье.

— Володенька, да что ж это с тобой? — чуть не со слезами спросила Лиза.

— Что, что? — мрачно передразнил он.— Размазни мы несчастные, вот мы кто!

— Почему... размазни? — удивилась Лиза.

— Потому что ничего не смогли возразить Устинье, Шмалеву и мерзкому старикашке. Они же нарочно на Семена Петровича и Шуру напустились, чтобы собрание сорвать... Вот тут-то бы нам и срезать Устинью с ее компанией... а мы, комсомол, ничего не могли придумать, так и промолчали, как чурки!.. Сначала в ладошки хлопали, веселые словечки выкрикивали... а как дело хуже пошло, мы сразу и скисли!..

Володя сел на траву и сжал ладонями голову.

Лиза робко придвинулась к нему.

— Володя, нельзя же все к сердцу принимать. Смотри, как хорошо лодки плывут — должно, рыбаки...

Он с сердцем зажмурился.

— Ну их к черту!

Девушка отодвинулась и вспыхнула.

— Ничем тебя и занять нельзя. Видно уж, противна я тебе...

— Ну, пошла молоть! Ты понять должна, что я переживаю, а ты... — он взял в руки ее круглое лицо, с изумленно полуоткрытым пухлым ртом и мелкими,

как бисер, веснушками на щеках,— а ты совсем дурочка... В идеях ничего не смыслишь, вот в чем дело.

— Какая есть,— обиделась Лиза, оттолкнув его руки.— Какая есть, бессовестный ты человек!

— Да это ведь я виноват, что ты такая. Не заострял я перед вами никаких вопросов!.. Ты бы слышала, как на комсомольской конференции один старый большевик выразился: «Поймите, говорит, товарищи, что настоящий комсомолец не просто житель — день, мол прожит, а как — не все ли, мол, равно? Комсомолец, говорит, деятель, помощник партии и государству». А мы кто? Мы беспомощные, неумелые, просто жители, как и многие прочие. Понимаешь? А почему так получилось?.. Вот у меня еще замечательный разговор был с Андреем Матвеевичем... и я еще больше понял: плохой я еще секретарь... Эх! Не заострял я перед вами никаких важных вопросов! Вот и вышли мы как безоружные, с голыми руками... Больше так не может продолжаться!

— Ну... так поучи и меня... я помогать тебе буду! Вот честное комсомольское! — уже забыв обиду, горячо пообещала Лиза.

На другой стороне по кособогу Шуру остановил Шмалев.

— Присядьте хоть на минутку, Александра Трофимовна!

Шура нехотя села на траву.

— Плохо ли, что я вас после неприятного разговора перехватил здесь, на самом прекрасном месте, а, Шурочка? Этакая чудная картина!

— Да,— неопределенно вздохнула Шура. Задумавшись, она смотрела на широкую реку.

Большое, уже бледнеющее пятно света дрожало в воде, как последняя судорога остывающего пламени. Тонкие прозрачные облачка, как теплый парок, курились и таяли в дымчато-синей вышине.

— Чудная вещь — природа! — прочувственно сказал Шмалев.— Придешь к ней, как к матери, особенно когда разные гнусные житейские дела треплют твою душу.

— Дела-то эти не гнусные, а важные,— сурово сказала Шура,— только вот людишек плохих у нас немало.

— Сами мы виноваты: жадны очень на хорошую жизнь, а выходит одно беспокойство. И что человеку — мне хотя бы — к примеру, нужно? Заработал — и сыт. А отработался, — дай мне хорошей девушке песни поиграть...

Не дождавшись ответа, Шмалев начал тихонько перебирать клавиши — и баян запел низким, бархатно всхлипывающим голосом, как бы жалуясь на что-то, раздумывая и надеясь.

Река внизу уже потухла, тускнело небо, и только тонкая багровая полоска света, как раскаленная стрела, еще горела в темных облаках.

Охватив руками колени и откинув голову, Шура следила за упорствующей одинокой полоской. Шмалев, оглянувшись, увидел в полузакрытых глазах Шуры острый отблеск этого непокорного гаснущего света.

— Что вы, Шура?

— Вот солнце какое... — заговорила она, чему-то своему потаенно и скупно улыбаясь. — Вот оно какое... Каждый день ему заходить, а все упирается, не хочет...

— Но все равно скроется, а потом опять взойдет, — быстро перебил Шмалев. — Эх, жизнь наша единственная! Все в ней, как солнышко родное, заведено на полный век, а мы мудрим, злобствуем, жилы из себя тянем, как богатырь в сказке, землю-матушку за кольцо подымаем. Эх, дураки мы! А годы идут, полюбить не успеешь...

И Шмалев вдруг прижался щекой к коленям Шуры.

— А девушка дорогая, — забормотал он, мгновенно опьянев от тепла ее тела, — девушка нынче любит, а завтра...

— Стой, погоди... — глухо отозвалась Шура, и в ее задрожавших прохладных руках, которыми она освободила себя от него, Шмалев почувствовал гордое и непримиримое упорство. — Со мной так не надо. Этим меня не возьмешь. Прошло то время...

— Станный разговор, Шурочка! — слегка смутился Шмалев.

— Это я про то, что меня так просто не поманишь, знаю эти дела. — Шура заломила руки за голову, с силой потянувшись и добавила жестко: — Восемнадцати лет у меня ребенок был. Через год умер от безотцовства да моего стыда.

— Ха... да мне-то какое до этого дело? — вдруг бойко заговорил Шмалев. — Я, дорогая, не поп и не злодей, чужие грехи не считаю!

Его русые волосы маслянисто блестели под луной, баян на правом плече темнел, как щит.

— Не знаю точно, какой ты, — раздумчиво проговорила Шура, — но тебе, конечно, все равно... у тебя, похоже, душа ни о чем не болит... А я вот думаю, начали мы большое верное дело, а оно — трудно... ох, до чего же трудно! Еще многие у нас не понимают: ведь для того и колхозы, чтобы люди жили разумно, по-человечески!

Еще до луны Баратов затащил Никишева к себе на сеновал, где, вдыхая ароматы свежего сена, Сергей Сергеич перед сном любовался картиной ночного сада.

— Я почему-то уверен, Андрей Матвеевич, что у нашего героя Семена Коврина сердце сегодня так болит и кипит, что он не усидит дома... и еще будет искать нашу милую трактористку.

— Возможно, — согласился Никишев. — Да и ночь сегодня уж очень хороша... и как яблоком пахнет!

— Но Семена Коврина и яблоко сегодня не успокоит! — насмешливо сказал Баратов, которому хотелось повернуть разговор ближе к своим мыслям и настроениям. — Да, да... И даже эта чудная лунная ночь Семену сейчас не радость. Ты же видел, что он начал беседу, как «братишка» с «Авроры», а кончил, как измученный пламенем чувств человек, достойный поддержки и сожаления!

— Так... И какой же ты выход посоветуешь?

— Погодите с иронией, товарищ Никишев. Еще посмотрим, как сойдет у Семена торг с жизнью, со всякими нормами и установками за свое живое, черт возьми, естество! Счастье твоего Семена будет зависеть от неминуемых уступок своему сердцу, своей страсти... вот что я пророчу! — и Баратов решительно махнул рукой.

— Н-да, операция серьезная, — пошутил Никишев. — Однако помолчим, сюда идет кто-то.

Снизу приближался негромкий разговор двух голосов. Приятели затихли у окна.

— И зачем ты опять пошел искать меня, Семен

Петрович? — устало и грустно произнес грудной голос Шуры.

— Ищу, потому как сердце кипит, покоя не дает!.. — ответил ей охрипший от волнений голос Семена Коврина.

Баратов в эту минуту толкнул локтем Никишева и торжествующе прошептал ему на ухо:

— Слышишь? Сердце кипит!.. Я предсказал!..

Семен первым ступил на тропу, озаренную луной.

Шура, выйдя на лунный свет, остановилась против Семена. Ее склоненная голова и опущенные плечи выражали глубокую телесную и душевную усталость.

— О чем опять разговор у нас будет? — горько усмехнулась она. — Уж хватит вроде на сегодня... Обидел ты меня, как в сердце ножом пырнул...

— Не вспоминай, не вспоминай об этом, Шура! Я с другим делом к тебе! — взмолился Семен, протягивая к ней руки. Но женщина резко отступила, чтобы его руки не коснулись ее.

— Ты уже с другим делом, а я еще из-за давешнего душой болею... Подумать же надо: живу я одна, честно свой хлеб зарабатываю, никому не подвластна... и вдруг злая, хитрая баба при всем народе заводит сплетню, будто вы двое меня делите, как... как овцу или лошадь! И не забуду я, Семен, каким ты трусом оказался... меня словно змея ужалила, а ты не защитил меня, подставил голову мою под напраслину... на смех всяким злыдням меня выставил!.. — Голос Шуры вдруг налился и зазвенел. — Тебе бы оборвать этих злыдней, а ты забормотал (она зло и сухо засмеялась), что, мол, против Шмалева ничего не имеешь... А что со мной, тебе до того...

— Да я ненавижу Шмалева, когда эти слова говорил!.. Вот узнай теперь, что не впервой у меня в груди будто нож поворачивают (Семен сделал резкое движение правой рукой), когда Шмалев к тебе подходит... Ты этого игральщика на баяне слушаешь, а я зубами скриплю... А обрезать его при тебе — как душа ни рвется — не могу, нельзя!.. Личную свою линию к общему делу припутывать не могу, позор это на мою голову!.. Но... погоди, погоди, Шура!.. Я ведь уже начал было с того, что у меня к тебе новое, важное дело: выходи за меня, немедленно выходи, вот завтра же поедем рас-

писываться! — и Семен широко шагнул к ней, но Шура не шевельнулась.

— Откуда спешка такая? Почему?

— Эх, Шура! Неужто не сдогадалась?.. Будь бы ты жена моя, разве кто посмел бы тебе худое слово сказать и меня попрекнуть, будто я из-за моей личной линии в работе большевистскую мою честь...

— Ладно! Хватит! — прервала она, и презрительная нотка зазвучала в ее голосе. — Все понятно, председатель... не продолжай. Тебе бы только все работа да работа... а жизнь где? Тебе бы только не к чести укор, не для молодца спор. Ты горазд только из себя жилы тянуть, богова коняга. На что ты мне такой? И зачем мне торопиться за тебя замуж выходить, ежели главней всего для тебя «линия» твоя... чтоб она пропала!..

— стыдно тебе, Александра! — негодуя остановил ее Семен. — Я за передовую пролетарскую идею кладу всю жизнь свою и послабления не просил себе никогда.

— Ах, ах, какой богатырь каменный! А кому радость от тебя такого?

— Еще, еще как умеешь?.. Эх, когда зайдешься ты, Шура, нет в тебе жалости, хоть и знаешь, кто ты для меня... Я бы тебя сквозь огонь пронес, сам бы горел, а сердце бы радовалось, что ты у груди моей... Подымись кто на тебя, я бы с голыми руками на ножи кинулся...

— Не верю я храбрости твоей... И не рассказывай ты мне больше, не терзай мою душу. Уходи, слезно прошу тебя...

— Шура!

— Уходи! — задрожав, прошептала она.

Семен тяжелым шагом пошел по тропке и скрылся в темноте. А Шура некоторое время стояла неподвижно. Среди черных ветвей светлело ее платье и закинутое к небу лицо.

— Ах ты... — сказала она с неопределенно страстным и печальным вздохом и, бросив руки вдоль тела, пошла к дому.

— Вот где показываются люди в настоящем свете, — зашелестел шепот Баратова. — Эта женщина стояла сейчас под звездами, как тоскующая богиня. А Семен? Только на минуту освобожденный от лямки

норм и условностей, от очередных обязанностей у котла истории, этот басистый матрос заговорил, как поэт...

Баратов откашлялся и певуче повторил:

Я бы сквозь огонь пронес тебя,
Сам бы горел, а сердце радовалось,
Что ты у груди моей...

— Боже мой, Андрей, ведь это ж Саади, это любовь Лейлы и Меджнуна.

Меня друзья корили за страстную любовь.
Ее хоть раз увидя, простили бы меня...

Председатель плодового колхоза, как говорится в «Гюлистане» Саади, «опустил поводя воли». Он провождается всю ночь, изнеможенный, повторяю тебе, испепеленный в «пустыне своих чувств», как поэт «Гюлистана».

— Погоди, погоди козырять «Гюлистаном», — усмехнулся Никишев, взбивая охапку сена, тонко пахнущую цветами и пылью. — Как известно, Меджнун, забыв о всех своих совершенствах, сокрылся от людей и, по выражению некоего арабского царя, «отказался от чести быть человеком». Нет, шалишь! Семен мой — не Меджнун. В нем, брат, не пепел, а сердце, мысль. Он не испепелен, — он спотыкается, страдает, но жаждет найти верное решение.

— А Шуре все это уже надоело! — снова заспорил Баратов. — Женщине нужны не доказательства, а непосредственное выражение любви, защиты своей страсти... Нет, Шура в конце концов бросится на грудь Шмалева — вот увидишь!

— Уж если и случится так, боюсь, что это ей дорого обойдется, но думаю, этого не будет, — ответил Никишев и пошел к себе.

Как всегда неожиданно поспели ранние сорта яблок, и в колхозных садах начали сбор.

Накануне Семен вызвал к себе Володю. За столом, в комнате председателя, сидел как всегда озабоченный Петря Радушев и громко щелкал костяшками старых конторских счетов, оставшихся еще от помещичьей «экономии».

— Вон идет твой желторотый командир, — неодоб-

рительно сказал Петря, бросив беглый взгляд в окно.— Ишь торопится... будто ему тут подарок заготовили!..

— Сознание у парнишки пробуждается,— возразил Семен.

— Какое там у них сознание? — фыркнул Петря и еще сердитее защелкал на счетах.— Сознание-то у нас искать надо — мы в боях да трудах землю нашу создавали, а эти желторотые на готовенькое пришли... им только приказы наши слушать, а не самим руководить... тоже мне... руководители...

— Выходит по-твоему, ребята эти виноваты, что после нас родились,— уже резче сказал Семен.— По-твоему, мы им завидовать должны, что их доля легче нашей оказалась? Моему Васятке, к примеру, жить будет уже легче намного, чем этим ребятам... Ну, так мы, отцы, должны этому радоваться, а не завидовать...

— Поглядим еще, чем они нас, отцов, порадуют, когда сами начальниками заделаются! — заключил Радушев и молчаливым кивком ответил на поклон показавшегося в дверях Володи.

— Ну... комсомолец, разговор у нас сейчас будет решительный,— начал Семен, указав Володе на табуретку возле стола.— Сам понимаешь, события у нас развиваются... и работа должна быть поставлена куда лучше.

— Я понимаю,— быстро сказал Володя. Он заметил, что председатель хотя и говорит бодро, но очень осунулся, как после болезни. Володе вдруг стало жаль его: ох, труднейшее это дело — руководить большим хозяйством... Наркизову даже стало приятно, что он может сообщить Коврину нечто новенькое, чего прежде не водилось в колхозе.

Прежде всего, впервые удалось созвать большое комсомольско-молодежное собрание. Правда, на собрание пришли не поголовно все, но многие из тех, которых, бывало, никогда ни на какие собеседования и позвать не удавалось. Очень возможно, как он полагает, что внимание молодежи привлекли слухи о новостях в связи с готовящимся открытием машинно-тракторной станции в их районе — а ведь машины труд людей облегчают. На собрании решено было работать добросовестно, без опозданий и прогулов. Были даже разговоры, что не худо было бы выходить на работу

под знаменем и с песней под баян. Но жаль, небольшое сатиновое полотнище с нашитыми на него буквами из белого коленкора, право, так выцвело, что и на знамя мало похоже; а баян только у одного Шмалева, который свой инструмент никому не доверит, а сам «по заказу» играть не любит.

— Ишь чего захотели... знамя, песни... тьфу! — возмутился Радушев, сердито стукнув счетами. — Тоже выдумают!.. Работа — сухота да забота, а не пляс с песнями!

— Эх, голова!.. Да отчего ж работу не скрасить? — с досадой возразил Семен. — Я, например, во флоте в песельниках числился...

— Ничего, Наркизов, повремени малость, — обратился он к Володе. — Разживемся механизацией, деньжонки в колхозной кассе появятся... и купим баян для клубного пользования...

— И уж Шмалеву кланяться не будем! — подхватил Володя.

— Провались он к дьяволу со своим баяном! — вдруг с силой вырвалось из груди Семена. — Обойдемся мы без этого му-зы-канта, лучше вы сами играть на баяне выучитесь! Уж это я вам обещаю, ребята! — и он даже ударил кулаком по столу.

Володя не задумывался, почему при этом возгласе так помрачнело лицо председателя: самое важное заключалось в его обещании.

«И как это здорово выходит, — думал довольный Володя, возвращаясь домой после разговора с Ковриным. — Вот расскажу об этом нашим ребятам, веселее им будет работать!.. В первую очередь пусть Костя об этом узнает, — он ведь спит и видит на баяне выучиться играть!»

Но к вечеру Костя убежал на рыбалку, и Володя так и не увидел его.

А рано утром, занятый собиранием своей бригады, Володя уже забыл рассказать Косте, что обещал молодежи Семен Коврин.

«Всей колонной», как выразился Володя (слово это было одно из тех, что он привез с конференции), дружно пришли комсомольцы и беспартийная молодежь на свой участок сбора.

Петря Радусев по привычке сунулся было с указ-

кой, где кому стать, но Володя со сдержанной важностью предупредил его:

— Не трудись, дядя Петря... ведь мы же еще вчера с председателем наш участок сбора обозначили... а кроме того, я как бригадир...

— Ну ладно, ладно...— прервал Радушев и отошел. Володя проводил его удовлетворенным взглядом. Уверенность, что он как бригадир поступил правильно, все сильнее бодрила Володю. Опьяненный легкой, как молодое вино, веселостью, Володя снял первое яблоко.

— Ребята! Помните уговор! — и Володя быстро оглядел десятка полтора обращенных к нему юных лиц, освещенных золотистыми отблесками раннего утра. — Яблоко не рвать, а вот так снимать... сн-мать, понятно? Осторожно повернуть... раз-два... и снять вместе с ножкой... так оно дольше сохранится. Далее. Избави вас боже яблоки наземь сбивать!.. Оно же нежное, яблоко... сразу образуется на нем пятно — и начнется гниение...

— Да что ты разгуделся, право... будто мы об этом не знаем, — проворчал нетерпеливый Костя Шилов, тараща на бригадира белесо-голубые глазки.

— Во-первых, мне об этом вчера председатель напоминал... а я твердо обещал своей бригаде его слова передать, — со сдержанной строгостью разъяснил Володя. — И, во-вторых, хотя все мы это и знали, а в прошлом году яблоки чаще всего просто рвали... и я тоже рвал как попало...

— Верно, верно, Володя... — горячо поддержала Лиза. — Вот и поэтому еще в прошлом году уйма яблок пропала!.. Ты тоже помнишь, Валя?

— Помню... так вот и было, — подтвердила Валя, помаргивая коричневыми глазами с влажной поволокой, которая и придавала ее взгляду выражение телячьей кротости, как иногда посмеивался над ней и Володя. Сегодня Валя еле поднялась с постели. Вчера тетка заставила ее перестирать целую гору белья, с которым девушка, даже при завидном здоровье, еле управилась только перед самой зарей. Ей и двух часов не удалось поспать, тело у нее все еще ныло от усталости, голова болела, в висках словно постукивали злые молоточки, отяжелевшие веки так и закрывались против ее воли.

— Ты уж не заболела ли, Валька? — обеспокоилась

Лиза, которая рядом с ней снимала яблоки. — Ой, да у тебя глаза слипаются!..

Валя не умела и не привыкла жаловаться: это ведь было бесполезно — ее, сироту, мало кто жалел. Она кротко ответила, что почти до рассвета стирала.

— У-у, знаем мы эту Устинью... ленивее да злее никого в селе нету! — возмутилась Лиза. — Но неужто дядя Ефим не мог за тебя заступиться?

— Он заступался... да ведь он дома-то как на отшибе... — вздохнула Валя. — Если бы он не помогал мне, я по сю пору у корыта мучилась. «Ты,— говорит он тетке,— будто назло навалила на девчонку столько работы — ведь ей же завтра в бригаду ранехонько надо выйти». А тетка ему: «А я назло, назло и делаю — пусть лопнет бригада эта!»

— Вот гады ползучие! — вспыхнула Лиза. — А мы, знаешь, давай-ка назло всем Устиньям так поработаем, что они только ахнут... ладно?

— Ладно... — кротко улыбнулась Валя, скидывая тяжелую голову. Но понемногу, равномерно двигаясь на прохладном ветерке, Валя оправилась, и несносные веки перестали слипаться. Она даже повеселела и на вопрос Володи: «Ну, как там?» — свежим голосом ответила:

— Дело идет!

Кое-где под яблонями уже начали шуметь из-за нехватки корзин. Стоило появиться Николаю Самохину, как на него сразу накидывались с просьбами и попреками. Не хватало корзин, из-за чего задерживались перевозка фруктов и взвешивание их на складе.

— Слышь-ка, Самохин, придумай что-нибудь,— предложила обстоятельная Антонина Шилова.— Ежели ты взялся за перевозку да за развес, так уж обеспечи-вай все как следует.

— Да уж я, кажись, стараюсь,— смущенно басил Николай. — Но сама видишь, лошаденка-то ведь одна для перевозки отпущена, да и на телегу сверх меры корзин не поставишь... а на складе мне в помощь даден один зеленый парнишка... вот я и кручусь, верчусь, как выюн!

В ответ раздался дружный хохот и посыпались шуточки насчет того, что широкоплечий и грузный Николай Самохин меньше всего напоминал выюна.

Но бойкая чернобровая молодайка Домашка Селезнева, озорно подмигнув, насмешливо заявила:

— Что вы на него зря наговариваете, на Николу Самохина? Это он с нами на ногу тяжел, словно медведь в малиннике, а где в другом месте он суший вьюн... ей-ей! Вон как он возле Вальки вьется-увивается... ну вот словно невидимая сила туда его тянет!.. Охо-хо!.. Беда ведь это — быть бородатым да женихаты-ым!

Николай побагровел от смущения и, бурно отмахиваясь от хохочущей Домашки, как от наваждения, вскочил на телегу и поехал дальше по дороге, соединяющей ближние сады с дальними. Оглядываясь на привязанные к телеге корзины с яблоками, Николай осторожно ехал трусцой и обиженно бормотал себе под нос. На задористые шутки он не умел отвечать, да и что он мог возразить против правды? Из песни, как говорится, слова не выкинешь — да, вот он, вдовый, неуклюжий бородач, берет к своим осиротевшим ребятишкам молодую девушку, которая почти годна ему в дочери. Он же уверен, что она, сама выйдя из горькой сиротской доли, заменит его детям мать и почувствует привязанность к нему. Люди только посмеиваются над ним, будто, задумав жениться на молоденькой, он проявляет себя чуть ли не дурнем. А он считает, что рассудил правильно. Не брать же ему вдову (да еще с ребятами!) или ворчливую старую деву, которая к детям не привыкла и едва ли полюбит их. А эта, Валюшка (как Николай уже называл ее про себя), сама еще недавно девчушкой была, прав у ней кроткий, мягкий; она сердцем вдоволь настрадалась, сначала у чужих людей, потом у безжалостной злой тетки и живо отзовется на ребячью ласку. Николаю вдруг так захотелось увидеть Валю, что он подъехал к ее участку раньше, чем было нужно.

Среди девичьих лиц Николай сразу увидел ее густой румянец, влажный коричневый блеск ее глаз и кроткую улыбку.

— Ну... как? Справляешься, Валя? — нагнувшись под деревьями и заглянув ей в лицо, спросил Николай слегка дрогнувшим голосом.

— Ничего... работаем... — спокойно ответила девушка, конечно не понимая, что он только для нее пришел сюда.

— Валька-а! Разве этак жениха встречают? — крикнул Костя, и опять начались шутки и смех.

В эту минуту откуда-то с боковой тропинки, словно заяц, вывернулся Дима Юрков с неразлучным своим фотоаппаратом в кожаном футляре апельсинового цвета.

— Минутку! — повелительно воскликнул он звонким тенорком. — Продолжайте смеяться... прошу! Смейтесь... ну! Так!.. Еще разок!.. Сниму с выдержкой... чудно!.. Спасибо!.. Будет великолепный кадр!..

Дима побежал дальше, неумоимо запечатлевая лица, позы, деревья, яблоки, легкие пятна солнца и теней на тропинках.

— А!.. Это вы!.. — обрадовался он, увидев Шмалева на нижних ступеньках лестницы, приставленной к раскидистой старой яблоне.

— Ну... как? Благодать? — весело спросил Дима.

— Что — благодать? — улыбнулся Шмалев, вытирая лицо.

— Ну... вот все это! — махнув вокруг сухощавой ручкой, пояснил Дима.

— Жалко, что скоро жарница начнется, — с той же неопределенной улыбкой сказал Шмалев.

— Какая бодрость всюду, какое единодушие! — заворковал Дима. — Там бородатый дядя радуется рвению молодежи, рядом группа женщин шутит и смеется... а здесь вы в позе победителя природы!.. Минутку!.. Оставайтесь в этой позе!.. Та-ак... Еще раз... с выдержкой... великолепно!.. Спасибо! — И Дима заторопился дальше.

Шмалев проводил его прищуренным взглядом, о чем-то подумал, спрыгнул с лестницы и ходко зашагал к участку комсомольско-молодежной бригады.

— Здорово, красавицы! — весело и звучно приветствовал он девушек, выглядывая кого-то среди них.

— А... Валечка! Милая невеста, здравствуй! — с лукаво-нежной лаской протянул он.

Валя взглянула в его сторону, румянец жаркой волной залил ее лицо и шею. Руки ее разжались, и целая груда яблок рухнула из передника на землю.

— Ой... да что ты яблоки-то роняешь! — недовольно заметила Лиза. — Ведь у нас же уговор был!..

— В строгости тебя держат, Валечка! — громко по-

жалел Шмалев и быстро погладил ее круглое плечо. — Уж ты-то всегда такая работающая, что на тебя и посмотреть-то строго нельзя, а не то чтобы злое слово тебе сказать!..

— А я никаких злых слов ей и не говорила! Нечего зря выдумывать! — рассердилась Лиза. — Мы обещали работать добросовестно, без брака... вот какой был уговор... А ты сюда зачем пришел, Шмалев? Почему не работаешь?.. Значит, ты лодырь?

— Ска-ажите, какая решительная девица... Сразу оскорблять человека? — мягко обиделся Шмалев. — Хоть бы ты, Валечка, за меня заступилась... сказала бы ласковое словечко... а?

— Да ведь я... — начала было Валя, подняв к нему влажный взгляд, полный мольбы.

— Что тут происходит? — раздался голос Володи Наркизова, и он быстро вышел из-за соседней яблони. — А... у нас гость, оказывается... Только время вроде не очень подходящее в гости ходить.

В его серых настороженных глазах Шмалев прочел: «Да, да, я помню, как ты высмеивал меня. Нет, это больше тебе не удастся!»

— А ты что, Борис, во время работы разгуливаешь? — жестко спросил Володя. — Старше нашего брата, должен бы все понимать, а ты вот лодыря гоняешь!

— А ты сначала спроси, умник, зачем я сюда пришел, — с оттенком превосходства в тоне и во взгляде заявил Шмалев. — По-человечески, от всей души захотел я поведать... вот ее...

И, выбросив вперед руку (с таким видом, будто что-то в ней было крепко зажато), Шмалев указал на Валию.

— Зашел я словом с ней перемолвиться, посочувствовать ей — ведь силком же ее замуж выдают, а она вот... бессловесная, размазня несчастная... меня же под вашу комсомольскую ярость подвела и защитить меня, ее же доброжелателя, не сумела... Эх! Тошно мне смотреть на этакое убожество!..

Румяное лицо Шмалева выразило презрение, он отмахнулся от Вали, будто отбрасывая ее в сторону, потом резко повернулся и зашагал было прочь. Но тут некстати высунулся Костя Шилов. Только сейчас услы-

шав голос Шмалева, он подбежал к нему, запыхавшись и ловя его взгляд.

Взглянув на его маленькое востроносенькое лицо с любопытно бегающими светлыми глазками и с пухлым подбородком, будто проколотым посредине глубокой ямкой, Володя сердито подумал: «Ох, какой он еще несмышлениш».

— Стой, Борис, стой!.. Когда ты мне покажешь, как перебор на баяне делать? — спросил Костя.

— Что? Перебор показать? Тебе? — презрительно хохотнул Шмалев. — Да тебе же медведь на ухо наступил... очень нужно для тебя стараться.

— Да ведь ты же мне обещал! — в отчаянии напомнил Костя.

— Обещанного три года ждут, — усмехнулся Шмалев.

— Эй, узнай его, Костя! — резко произнес Володя. — Это такой обманщик — обещал бычка, а дает тычка!.. А ты нос не вешай, Костя... Я тебе новость скажу: будет у нас свой колхозный баян и всякая другая музыка... председатель обещал после сбора урожая нас, молодежь, самыми лучшими инструментами обеспечить... Значит, нечего тебе за Шмалевым бегать, обойдемся и без него... пусть не задается своим баяном!..

Шмалев обернулся на ходу и, как бы оставляя за собой последнее слово, бросил через плечо:

— Что будет, комсомол, не знаю... а пока я один играю!

Володя до боли закусил губу, досадуя на свою не находчивость. Только что он своевременно осадил Шмалева, а сейчас тот удалялся, конечно смеясь над ним. Знакомая зависть к неизменной находчивости, выдержке и озорной веселости этого человека снова охватила Володю. Он стоял, зло и бессильно глядя вслед удаляющемуся Шмалеву, и все еще не мог придумать, что бы такое сказать ему.

— Володя!.. Да Володя же!.. — долетел к нему голос Лизы. — Что ты, оглох, что ли? Иди же сюда... Валя плачет...

Валя сидела на земле, закрыв лицо руками и согнувшись, будто под тяжелой ношей, которую уже не было сил больше нести. Ее круглые плечи, темноволосая

голова с короткой толстой косой и все ее тело дрожало от беззвучных слез и горя. Рядом валялись на земле пыльные яблоки, которые она уронила от неожиданности, в пыли были ее босые ноги, старенькое пестрое платишко, заплатанный передник, — все, казалось, говорило, как безрадостна и заброшена была эта молодая жизнь. И Володя понял это.

— С чего это она? — прошептал он Лизе.

— Она ничего не говорит... Знаешь, что?.. Устиньша выдает ее за Николая Самохина, а Вальке, видно, нравится Шмалев... Вот тебе и все... — закончила Лиза и тихонько под села к Вале.

— Ну... будет тебе... Вытри слезы, а то глаза у тебя, поди, уж не видят ничего.

Лиза осторожно разняла ее мокрые дрожащие пальцы и сама вытерла залитые слезами глаза. Потом помогла Вале встать.

— Что случилось с нашей милой фламандкой? — спросил Баратов, проходя с Никишевым мимо участка Володи Наркизова. — Смотри, Андрей, как она плачет... Вот оно: «всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!»

— Какие там страсти? — укоризненно сказала Лиза. — Обидели ее...

— Оставь ее в покое, — посоветовал Никишев.

— Но я все-таки угадал, Андрей!

— Посмотрим... ей не до разговоров... пойдем.

Валя стояла, еще ощущая в себе пронзительный холод душевной боли. Она не только была унижена презрением к ней Бориса Шмалева — она еще выдала свою горькую тайну: сколько мучений принес ей этот человек, которому она была совсем не нужна, но все прощала ему!

Помогая Володе отнести тяжелую корзину, полную яблок, поближе к дороге, Лиза зашептала ему:

— Ну и безжалостный же этот Шмалев!.. Если девушка не любя, зачем же издеваться над ней?

— Да он настоящий чертополох! — гневно вспыхнул Володя. — Вот так и чую, он нарочно притопал к нам, чтобы работе мешать, лодырь он гладкий!..

— Володя... а Володя! — вдруг высунулся Костя. — А ты насчет музыки верно сказал? Так и будет... а?

— Честнейшее комсомольское слово. Так оно и бу-

дет! Давай только урожай соберем как надо! — торжественно промолвил Володя. — Шмалеву больше кланяться не смей.

— И не буду! — пообещал Костя. Потом подскочив козлом, подмигнул девушкам: — Погоди, девчата, может, самым главным баянистом буду я!

Костя как напоказ озоровал и кривлялся перед девушками, но, как ревниво замечал Володя, работал ловко, — яблоки дождем сыпались в корзину.

Петря Радушев спросил мимоходом:

— Которую яблоню обрабатываете?

— Вторую! — задорно крикнул Костя.

— Молодчаги!.. А ты что? — Петря сердито понизил голос. — А ты что, подлец, за ноги девок обнимаешь?

— Не тебя же обнимать! — хохотнул Костя.

— Да уж срам какой, господи! — подала голос Устинья. Она нашла-таки Петрю со своей доукой и по обыкновению не могла упустить случая показать себя. — Парень охальничает, а ему спускают, потому кругом никто бога не боится, людей не стыдится.

— Чего тебе, конкретно? — неласково осведомился Петря.

Устинья гневалась на то, что обоих ее сыновей перевели сегодня на другой участок, а не оставили работать с ней.

— Эт-та что же, матери с дитем нельзя вместе работать? Это каки-таки законы?

— Я твою семейственность со вчерашнего дня — к ногтю! — отрезал Петря.

— Что-о! Мать с дитем...

— Обнимайся ты с дитем сколько влезет, но не вели ему домой яблоки кулями таскать, как вчера было.

— Я велела? Я? Кулями?

— Ты. Явно ты.

— А ты видал, иро-од?

— Не у меня одного глаза.

— Кто? Кто сказал? Ежели это Тонька Шилова нам встретилась, так я ее...

— Вот, сама же себя выдаешь.

— Я ее, белорожую, высрамлю! — Устинья заиграла кулаками. — Я-то ее к Вальке на свадьбу позвала, как почетную гостью...

— Сначала надо урожай собрать,— погрозил пальцем Петря.

— А что я? — взъярилась Устинья. — Я свое кровного не получу? А?..

— Дядя Петр! — зазвенел тенорок Кости. — Как урожай соберем, так мы себе баян заведем!

Петря Радушев замысловато крякнул.

— Вам бы только дурь, сосункам желторотым... Куда вы с безделкой своей?

— А мы из района учителя пригласим, он нас научит,— радушно ответил Костя. — К твоим похоронам, Устинья Пална, как раз марш разучу.

— Бож-жа мой! — заголосила на весь сад Устинья. — Дождалась времечка,— молокосос на горло лезет, а тебе и пальцем его не тронуть и прогнать некуда!

Место ли попалоcь неудобное (по угору), силы ли распределили плохо, действовали ли Устиньины вопли,— но бригада, сбита Петрей из людей «солидного» возраста, оказалась позади всех. Чтобы не оставлять «хвостов» на другой день, Петря уговорил бригаду поработать после ужина.

Еще засветло пришел Кузьма Безмен. Он сел за стол без приглашения и привел с собой своих соседей — мужа и жену, очень чистоплотных, мелкорослых, известных в деревне под прозвищем «Опенки».

— Давно не бывал у вас, друзья,— заговорил Кузьма, кладя на стол большую опрятную руку. — Как живете?

Семен зашептал на ухо Никишеву:

— Заприметь Кузьму: был здесь в колхозе, поссорился со мной и Петрей, вот уже второй год как ушел, живет сам по себе.

— Смотрю я, товарищи, а вы до ночи работать готовы,— продолжал Кузьма, не скрывая насмешки в густом звучном голосе. — Я, например, уже на сегодня кончил, гулять пошел, а у вас все суета.

— Обороты не с твое,— хмуровато отозвался Семен.

— Что в обороте, ежели невпроворот работы! — тут же нашелся Кузьма и подтолкнул локтем Опенка-мужа. — Верно ведь?

Опенки подобострастно захихикал.

— Гы-ы! — раздраженно передразнил их Семен. — Какие смешливые... А ты, Кузьма Павлиныч, давно ли с провожатыми стал ходить?

Кузьма, не смутясь, обратил ко всем крупное, как и он сам, серьезно вопрошающее лицо. Некоторое время он смотрел на всех затуманившимися от дум глазами, потом пощипал аккуратную щеточку усов и сказал неторопливо:

— Мне без свидетелей нельзя: самую важную проблему жизни проверяю.

Кузьма чуть задержался взглядом на Никишеве и, казалось, быстро, как в военной разведке, определил свое отношение ко всему замеченному: «Вы, товарищ из города, не очень воображайте, что все у нас тут сенько и просто. Одного только меня, Кузьму, понять — и то дело не малое».

— Сделал я нынче посадку, — начал неторопливо Кузьма, — целый угол в саду под малину занял, кустов этак двадцать пять...

— Мы тоже ныне посадили... — бросил Семен, — четыре тысячи кустов.

— Однако... — хотел улыбнуться Кузьма и не смог. — Однако здорово это! Сколько это работы приходится на одного человека? — спросил он, задумчиво разглядывая свою большую мясистую руку.

— Да не с твое! — усмехнулся Петря Радушев. — Мы по темпам работаем. Без никаких разговоров, как машины. Клади по полсотни кустов на голову.

— Ты людей, как скот, по головам считаешь, — усмехнулся Кузьма. — Мы двое работали с женой, не спеша, конечно, работали. Над нами учетчиков нету.

— А-а... — будто жалея, протянул Борис Шмалев. — У нас без этого шагу не ступишь, у нас, браток, масштабы, темпы.

— А ты про это как? — неожиданно поднялся Семен. — Ты как про это — за или против?

Борис аккуратно вытер губы после каши и будто с грустью улыбнулся:

— И вот всегда так. Что ни скажи, всегда тебе нож к горлу приставят...

— Из-за этого и я ушел отсюда, — словно обрадовавшись, быстро подхватил Кузьма. — Нельзя в этих местах помыслить как хочешь.

— Ишь ты, мы-ыслить! — скосив глаза, презрительно сказал Петря. — Инте... интеллигент выискался!

— А кто же я? Интеллигент и есть. Крестьянин-интеллигент. Я семилетку кончил, в партию собираюсь, газеты всегда читаю... А у вас мне атмосфера приказов не нравится. Товарищ Радушев до того любит администрировать, что просто не может видеть мыслящего человека... Помнишь, Александра Трофимовна, как он меня моей библиотечкой донимал?

— Ну еще бы! — и Шура сочувственно сверкнула глазами.

— Досок мне для книжной полки не отпустил: барство, говорит. А как тебе это кажется, Александра Трофимовна? А помнишь, как я о международном положении докладывать собирался? Пустые, говорит, разговоры...

— А ты что у нас, голодал, холодал? — обидчиво накинулся на него Петря.

Кузьма надменно прищурился.

— А ты думаешь, кроме сытости, человеку так и не нужно больше ничего?.. Не-ет, не все такие. Не для брюха только живет человек. Невозможно так жить, Семен Петрович.

— Да что ты на меня одного пальцем показываешь, — взволновался Семен и обвел стол, как поле битвы, горячим, нацеливающимся взглядом. — Ты для облегчения души все валишь на меня, Кузьма Павлиныч. Ну не нашли мы с тобой общих мнений, ну повздорили, но ведь не из-за чарки водки, черт те побери, а по принципиальной линии. У тебя сомнений было всегда больше, чем желания работать. А я вот верю в то, за что взялся... и пробиваюсь вот, хоть и локти в синяках. Без практики, Кузьма, ни до чего не дознаешься — как жить, как руководить. А ты за сомнениями своими потянулся и ушел от нас. А теперь к нам захаживаешь, как зритель какой. Зачем?.. Чтобы, на наши занозы глядя, себя успокаивать, что ты, мол, правильно поступил, когда вскоре же ушел из колхоза.

— Попрекать тебе нас не за что, — опять обиделся Радушев. — Все тебе возвратили: и лошадь твою и зерно твое.

— Так я ведь не с попреками сюда прихожу... — смутился Кузьма.

— Вот ведь какие случаи в жизни бывают, Андрей Матвееч,— обратился Семен к Никишеву и опять кивнул в сторону Кузьмы.— Только вошел человек в колхоз, попал в самую сутолоку первых дней, сразу сдрейфил... и на попятный. А теперь вот ходит-бродит и все что-то примеривается: не прогадал ли, или, наоборот, здорово выиграл? Ну, отрезал раз, так значит, и успокойся на этом. Так нет, тебе и этого мало... шут тебя разберет, Кузьма Павлиныч!

— А я не спокоен,— сказал Кузьма с расстановкой и остановил на Семене тяжелый, как бы налитой раздумьем взгляд.— Я ведь не потерянный и великую идею понимаю, я за нее. Но мне надо точно доказать, что мы до нее уже доросли, что мы понимаем и потому действуем по доброй воле.

— Доказать! — словно взорвался Семен. — Так только делом же, делом это доказывается! На блюде я тебе, Кузьма, этого в готовом виде не преподнесу... Нет!

— Я бы насчет доказательства согласен был обождать,— опять заговорил Кузьма.— Но вот приказа не выношу! Вот таких распорядителей, как Петра Радушев, не выношу... Он колхозную жизнь портит... учтите это!.. И вот я спрашиваю себя: такой ли жизни хочет для нас советская власть?

— Золотые твои слова, Кузьма, ясная твоя голова! — подхватил дедушка, высунув юркую головку.

— Не для тебя говорят! — резко оборвала Шура.

— Ах, опасно это, Кузьма Безмен! Ах, опасно! — вкрадчиво вмешался Шмалев.— Разные элементы и кулаки такие разговоры обожают,— и он посмотрел на Петрю.— А нет ли меж нами, товарищ Радушев, например, кулаков?

— Кулаки из наших мест все высланы,— непоколебимо отвечал Петря,— значит, и быть им негде. А в общем, будет вам трепаться. Лучше вот поглядите...

Петря разжал пальцы, и по столу вдруг покатилося яблоко.

— Ну-ка, проверьте спелость, скоро ли можно собирать.

Яблоко заходило по рукам. Это был один из немногих пока высоких промышленных сортов, и люди трогали его атласную зеленоватую кожицу, на которой не-

спешно пробивался румянец,— оно зрело спокойно и неторопливо, готовясь покрыться густым пурпуром.

— Царь-яблочко!— крикнул Семен и бережно надавил большим пальцем на нежную округлость плода. Несколько прозрачных капель выступило сквозь лопнувшую кожицу. Загорелые пальцы Семена так медленно поворачивали яблоко, словно этот круглый тяжелый плод заключал в себе всю тягу земную.— Сколько горя-то с тобой было! — сказал он любовно.— Ан нет, мы тебя выходили!

Эти яблони плодоносили уже давно. Их когда-то гладкая кора со временем огрубела, стала шероховатой, покрылась глубокими трещинами. Каждую яблоню, как любимого человека, лечили терпеливо и упорно: скребли, обмывали, обмазывали известью, одевали в лубки надломленные зимними ветрами ветки, заделывали дупла. Потом пришлось бороться с фруктовой гнилью, перебороли ее, пришла яблоневая моль,— и этого врага перебороли. Наконец яблони вздохнули свободнее и, освеженные, помолодевшие, начали плодоносить вновь.

— Дай-ка поддержать,— хмуровато попросил Кузьма.

Он смотрел, гладил и нюхал яблоко при робком и почтительном внимании Опенки.

— Ну как, Кузьма Павлиныч?

— Яблоко — что надо! — кратко ответил он.— У меня пока таких нет.

— И не будет,— наставительно заметила Шилова.— Такое нравное деревцо мы в сотню рук к жизни подымали.

— Только польза будет ли? — вздохнула Устинья.

Узнав, что к ужину в столовой будет борщ, Устинья решила остаться ужинать. Наевшись, она разомлела и сидела багровая и потная, отдуваясь от сытости.

— Устинья Пална,— укорила Шилова,— да ты, никак, дремлешь? А ведь идти надо работу кончать.

— Ох, погоди ты! Вздохнуть не дадут...— бормотала Устинья, не двигаясь с места.

— Шагай, шагай по порядку! — заторопил Петра Радушев.

И тут вдруг произошло нечто, никем не предвиденное.

Густой и теплый, будто вздыхающий звук проплыл

в воздухе и замер. Секунда — и неисчислимые хохочущие, будто даже видимые, пританцовывающие друг с дружкой трели взорвались, рассыпались по всему саду — это Борис Шмалев заиграл на своем баяне. Большая гармонь, разукрашенная медными бляшками и пестрыми лентами, как прирученный зверь, послушно лежала на его коленях и пела утробными, жирными и зазывающими голосами.

— Потом, потом... Айда работу доделаем! — Шилов потянула за рукав упирающуюся Устинью Колпину.

— Дай послушать! — гневно пробасила Устинья. — В кой-то веки у нас людей позабавят. Я ведь под эту песню, голубчики, прежде в хороводе ходила-а...

Устинье вдруг вспомнилась ее веселая, озорная молодость, когда из-за нее дрались парни на деревенских вечеринках.

— Играй, Бориска! — заорала она, горестно топая. — Играй, бес!.. Ефимко, муженек богоданный, где ты?

— Тут я, тут, — успокоительно замахал короткими руками широкоплечий и приземистый Ефим. — Ты бы лучше, Устинька...

— Поди ты... — Устинья злобно выругалась. — Не мешай ты мне, шестипалый урод!

Устинья затопала по кругу, уперев руки в бока и сотрясаясь тяжелым, как бурдюк, телом. Она задыхалась от слишком быстрых движений, и все видели, что для женщины пятидесяти лет танец непосилен.

— Ах, веселая бабочка! — недоуменно подал голос Никодим Филиппыч.

Баян ходуном ходил на коленях улыбающегося Бориса, ухарски взвизгивал, гудел басами, изливался дискантами и тенорами.

— Эх, Устинья, брось! Работать надо! — выступил было Петря, но его с веселым криком оттолкнула чернобровая Селезнева. Подхватив под руку своего молодого и во всем ей послушного мужа, Домашка вытащила его в широкий проход между длинными столами и, напевая, завертелась с ним, как юла.

— Эх, Колька-а!.. Душа горит, не могу!

Костя Шилов тоже не выдержал, подпрыгнул на месте и, обняв на лету первую попавшуюся на глаза девицу, вынесся с нею вперед, явно желая расширить плясовой круг.

— У-ух! У-ух! — буйствовал, как козленок на свежей траве, расплясавшийся Костя.

— Кончай, Константин! — прикрикнула Шилова, поймав себя на невольном любованье ловкостью единственного сына. — Будет тебе девушку вертеть!

Устинья все топала, как одержимая.

— Стойте!.. Стой, говорю! — вдруг пересек трели и вздохи тугой и медлительный голос Семена. — Эт-то что ж такое? Отчего женская бригада не на месте?

— Пойдем, пойдем! — Антонина Шилова, устыдившись своей минутной слабости, дернула Устинью за рукав. — Хватит, матушка моя, хватит, не молоденькая.

Устинья, остановившись с разбегу, чуть не споткнулась и потеряла с ноги огромный, стоптанный, облепленный землей башмак.

— Тюфельку, танцорка, потеряла! — озорно выкрикнул Петря Радушев, и все разразились хохотом, будто наверстывая недавние минуты изумленного созерцания.

— Вот так Устинья!

— Ну и актерка! Хоть за границу вывози!

И все теперь видели, что Устинья смешна и нелепа, что даже, наконец, совсем зазорно почтенной матери взрослых сыновей подпрыгивать и кружиться при всем народе.

Борис Шмалев по-прежнему сидел под деревом с баяном на коленях, еле слышно перебирал лады и будто слегка разочарованно шурился.

— Чего и кричать тут, не понимаю... Повеселились люди и пошли работать.

— А ты, Шмалев, не понимаешь, что момент для игры не подходит? — сурово спросил Семен.

— А когда он у нас подходит? — наивно улыбнулся Шмалев. — Терпишь-терпишь, да ихватишь. Не пропадать же хорошему инструменту.

— Справедливо, молодец, справедливо! — закивали Опенки.

— А я заявляю... — сверкнув глазами от прорвавшейся ненависти к Шмалеву, громовым голосом сказал Семен (Опенки содрогнулись), — заявляю как руководство, что пока сбор не прошел, мы никому не позволим срывать колхозную дисциплину. Ставь свой баян на место, не мешай людям работать.

— Жизнь наша артельная, подневольная!— шумно вздохнул Никодим Филиппыч.

Шура обернулась к нему, и темные большие глаза ее гневно блеснули.

— А тебе чего, за каждое слово цепляешься? Не о тебе, святость лысая, а о главном деле жизни страждем... под ноги не подкатывайся!

Тут выступил с хмурой и осуждающей улыбкой Кузьма Безмен.

— Дисциплина нужна, ясное дело, но ведь вы, руководство, работать планомерно не умеете. В гражданскую у нас в Красной Армии, бывало...

— Ты Красной Армией не козыряй, я сам из Красного Флота!..— прервал Семен.— Тебе вот любо ходить сюда, любо укорять нас, грешных... выглядывать наши прорехи и недостатки... А потом, когда мы окончательно укрепимся и знатно заживем, ты, рассудительный и осторожный, опять к нам попросишься... Самые, мол, тяжелые волнения и испытания прошли, вот такое время для меня, Кузьмы, самое подходящее... Это мы, простаки, все свои силы, кровь сердца как на огне пережигаем, а такие, как ты, на готовенькое приходят... себя любите вы! Вот развернется в наших краях всякая техника, будут могучие машины наши пашни обрабатывать,— и ты, глядишь, опять в колхоз попросишься.

— Эх, пошел-поехал! — отмахнулся Кузьма. — Этакий, извини, характер стал у тебя тяжелый.

Опенки испуганно и угодливо повторили:

— Ох, верно, верно... Тяжелый нрав, тяжелый!

— А у тебя, Кузьма, нрав легкий — еще б тебе!.. — с гневной горечью продолжал Семен. — Советчиком у единоличников ведь куда легче быть, чем вперед прорываться!.. Ты рассудительный да оглячивый, улегся себе камешком при дороге — и все-то тебе видно, и силу тратить не надо, и солнышко тебя греет!

— Ох, колюч ты стал, Семен! — вздохнул Кузьма. — Прекратим лучше нашу беседу... Пошли-ка лучше по домам!

— Правда глаза колет!.. — громко бросил вслед Семен, проводив взглядом раболепные спины Опенков и неторопливую походку Кузьмы.

— Много я тут наговорил, товарищ комиссар? — спросил Семен немного спустя, шумно и утомленно ды-

ша, как после поединка. — Может, я, как говорится, много дров наломал?

— Нет, Семен Петрович, я тебя понимаю — мысли и настроения у тебя выстраданные. Только жаль, ты забываешь, что не тебе к Кузьме Безмену возвращаться, а этому неглупому, но архирасчетливому Кузьме предстоит возвращаться в колхоз. Кузьма, как хорошо грамотный и культурный человек, конечно, сразу оценит первостатейную важность сельскохозяйственной техники и ее великое значение для человеческого труда... и вам, колхозные руководители, еще придется заниматься... проблемой Кузьмы Безмена.

— И откуда эти себялюбцы берутся, Андрей Матвеевич?

— Да ведь ты не наивный парнишка, Семен Петрович!.. Откуда? Из самой сложной диалектики жизни. Это все она, мелкособственническая, дворовая ограниченность, многовековая крестьянская недоверчивость к переменам...

— «А что-то, мол, они мне принесут, хуже будет для меня или лучше...» Это ты верно заметил, Андрей Матвеевич. Но почему-то вот я, грешный, не такой...

— Эх, Семен Петрович! Да ты ж целую школу прошел, в широкой политической жизни пребывал, и оттого в тебе уже многое старокрестьянское выветрилось. А у многих оно еще продолжает жить в сознании. Да и учти: мы еще только начали перевоспитывать эту противоречивую крестьянскую душу... А это, сам понимаешь, сложная и тонкая работа... на годы и на годы! Ты вот идешь трудным и прямым путем, а иные петляют обходными тропками, сомневаются... И от этой реальности никуда не уйдешь. Да ведь и в колхозе у вас еще немало таких людей.

— Да, да.. Они будто и вместе со всеми нами, а думки у них... Мы-то думали — они свежи, а они все те же!..

Семен истомленно помотал головой и шумно вздохнул.

— Представь вот ты как писатель мое положение, Андрей Матвеевич. Доходит, понимаешь, до того, что я на некоторых наших колхозников смотреть не могу. Злоблюсь и думаю: «Заели вы, черти, мою жизнь!» Но жить без них тоже не могу.

— А еще больше на себя наговариваешь, — бросила

Шура, не то жалея его, не то раздумывая над чем-то своим.

Семен, казалось, уже засыпал. Голова его клонилась к плечу, закрывались глаза. Но Никишев успел заметить, как из-под темных вздрагивающих век выбился в сторону Шуры трепетный и острый лучик: Семен видел ее всю сквозь тяжелый дневной устаток, сквозь пот и пыль, в избытке напитавшие его тело.

— Эх, Шура, Шура! А тебе, вижу, легче моего...

Он вдруг резко выпрямился, что-то почуяв, точно в боевой тревоге собрался вскочить на коня, и сдавленно крикнул:

— Да ты все еще тут?!

Борис Шмалев показался из-за дерева. Его чистое сероглазое лицо было неувязимо спокойно и гладко.

— Ну и что из того? Тут... умных речей заслушался!

Баян еще висел на его плече. Бережно поддерживая баян одной рукой, Шмалев сказал почти смиренно:

— Я тут, Семен, дожидался удобной минуты сказать тебе: извини, мол, пожалуйста! Может, я глупый, смешной человек, но душа играет, ничего с собой не поделаю... Уж извини!

— Мне из твоего извиненья не шубу шить... Не случись по твоей вине глупое происшествие с плясками этими, не пришлось бы тебе извиняться... А, да и самому извиненью твоему — грош цена!.. — медленно и тяжело выговаривал Семен, помахивая головой. — Поди, поди, прошу, не хочу я на тебя глядеть!

— Ничего не попишешь... Пока до свиданья! — намеренно простецки раскланялся Шмалев и отошел вразвалку. Баян, как весело проснувшийся зверь, заурчал в его руках басовитыми переливами. Оглянувшись назад, Шмалев проговорил с покорной грустью: — Эх, Александра Трофимовна, хотел было специально для вас сыграть, да не пришлось!

— Ладно... в другой раз когда-нибудь, — небрежно ответила Шура, смотря в другую сторону.

— А! Сынок! — ласково сказал Семен.

— Папка! — нежно и капризно произнес мальчоночка лет пяти-шести, выйдя из-за кустов. — Я тебя искал...

— Васенька! Пташечка моя! — вдруг крикнула Шура, засияв улыбкой, и протянула вперед ожидающие руки...

Черноволосый ребенок в выцветших трусиках, выгибая голенькую загорелую грудку, косился на чужих: густые брови выдавали в нем крепкую Семенову породу.

— Зачем на «интере» не катала меня нынче, Шурка? — сказал он, обидчиво шепелявя и коверкая слова.

— Ты бегал где-то, а мне, сам знаешь, искать тебя некогда, — ласково говорила Шура, глядя его жесткие кудри.

— А завтра покатаешь?

— Покатаю.

— На передок посадишь?

— Да, да, пташечка моя.

— А трактор-то зарычит?

— Обязательно.

— Песни будем петь?

— Ну конечно... Кто это тебя так исцарапал?

— Колька, конопатый черт!

— А ты не ругайся, маленький еще. И над Колькиным лицом не смейся, — это у него оспа была. Не будешь?

— Не буду, — рассеянно сказал ребенок и потянулся за яблоком. — Дай съем.

Женщина и ребенок разделили яблоко. Блестя зубами, они кусали его еще твердоватую, в нежных жилках плоть, и казалось — от этих медовых животворных соков пылал румянец на их щеках и весело искрились глаза. Ребенок доел свою долю и блаженно потянулся.

— Шура, я спать хочу...

Он привалился кудрявой головенкой к ее груди и через минуту уже спал, улыбаясь чему-то, может быть, яблоку, которым еще пахли его губы.

На лице Семена появилось то покорное, жадное и благоговейное выражение, которое Никишев уже не однажды замечал у него в присутствии Шуры. Она еле слышным голосом баюкала ребенка и была занята одной лишь заботой — как бы, перенося его в постель, не спугнуть сладкого сна.

— Дай помогу! — рванулся к ней Семен.

— Ш-ш... — прошептала она, договаривая остальное блестящим от материнской нежности взглядом, обращенным к спящему у ее груди ребенку.

Семен проводил взглядом ее плавно покачивающиеся

от ноши плечи, потом медленно, будто боясь в чем-то помешать ей, пошел за ней.

Баратов поднялся со своего, уже облюбованного им места за старой раскидистой липой и подошел к Никишеву. Тот тоже смотрел вслед раздельно идущей паре.

За столами уже никого не было, и приятели могли без помех обмениваться мыслями.

— Как красиво эта женщина несет ребенка! — шепотом восторгался Баратов. — В каждом ее движении столько сильной и нежной грации!..

— О которой, кстати, она и не думает, — сказал Никишев.

— А как ты себе представляешь, Андрей, о чем Шура сейчас думает?

— Может быть, о своем ребенке, которого из-за тяжелой жизни ей не удалось сохранить. Теперь к этому маленькому Васятке устремилось ее голодное материнское чувство.

— Да! Действительно! — увлекся новой мыслью Баратов. — Вот почему, как мне сегодня открылось, сердце Шуры сейчас раздирается противоречиями: к кому же тянется ее душа?.. Знаешь, до сегодняшнего дня мне как-то не приходило в голову, что в ней может происходить своя внутренняя борьба... Как, например, небрежно она ответила Шмалеву? Да, ты тоже заметил?.. Черт возьми, а ведь так не обращаются с тем, кого любят... Признаюсь, наша «богиня» сегодня меня смутила...

— Благодаря тебе же самому, Сергей.

— То есть... как это?

— Да вот так... Ты уже заранее «объяснил» ее, и даже «назначил», кого ей нужно любить и кто ей больше подходит...

— Ну, что же... винюсь, — недовольно вздохнул Баратов. — Мои предположения казались мне правильно угаданными. Я вижу в этой женщине страстную и поэтическую натуру, ищущую счастья и радости, которых она пока не видит вокруг себя...

— А ты не задумывался, Сергей, не слишком ли узкий и условный круг жизненных впечатлений ты очертил вокруг Шуры?

— Но для художника, я всегда был в этом убежден, Андрей, лучше сузить, ограничить свое художественное задание. Еще Гете учил искусству строгого отбора, уме-

нью ограничивать себя количественно ради художественного качества!

— Да что ты, Сергей, жизнь хочешь подвести под собственное творческое задание? Мало ли как мы сами внутри себя располагаем потом наблюденное и прочувствованное нами, художниками? Но когда живая, независимая от всех твоих планов, жизнь обстает тебя, ты впитываешь ее во всей широте, в звуках, красках, словом так полно, как только все твои чувства и мысли могут охватить ее!.. Как можно уйти от всего этого?!

— Я знаю тебя, Андрей Матвейч... ты, как двуличный носильщик, набираешь такой груз впечатлений, что уж еле дышать можешь... и все-таки продолжаешь жадничать... Но перейдем к нашей героине. Скажи мне, положив руку на сердце, какое преимущество дает тебе твоя жадность к широте впечатлений и так далее... в отношении вот этой Шуры?

— Пожалуйста, отвечу... вот видишь, даже положил руку на сердце!.. Ты, Сергей, «назначил» Шуре только дорогу любви, а я вижу эту хорошую женщину и на других путях ее жизни. Мне представляется, что долго она жила очень трудно, видела и горе, и несправедливость, и тоску обманутых надежд... Она не согнулась, потому что это — богатая натура, но многое в ней еще, как говорится, в потенциале, многому еще предстоит развернуться. Ты заметил, например, как она чутко и жадно вслушивается в каждый разговор? Ей, конечно, недостает культуры, но речь ее чиста, вдумчиво-грамотна. В ней живет огромная забота о колхозных делах, она хорошо разбирается в людях и точно знает, кого и за что она уважает или ненавидит... Она твердо настроена помогать Семену как руководителю, хотя у нее с ним сложные отношения.

— Тише... — вдруг шепнул Баратов. — Она идет в нашу сторону...

— Уложила Васятку в постель... и вот идет одна... о чем-то задумалась...

— Слушай, Андрей, пригласим ее пройтись с нами по этому лунному саду?

— Согласен.

— Придумал это я... а приглашай ее ты, Андрей Матвейч...

— Хорошо.

Шура не удивилась приглашению и сразу же сказала

почему: сегодня товарищи писатели добросовестно поработали в саду как сборщики.

— Домой вот яблочков увезете за ваши трудодни! — пошутила она, сверкая белоснежными зубами.

В саду уже было тихо. Обснятые ветки яблонь выпрямились, и лунный свет скользил между ними, зажигая холодные голубоватые лучики то на коре, то на листьях. Трава под деревьями, обтопанная за день сотнями человеческих шагов, поблескивала неровными пятнами светотени, как старые ковры. Широкая проездная аллея, мягко темнея фиолетово-черными колеями, казалось, беззвучно и упорно неслась куда-то в бесконечную даль.

— Идемте на прогалину, — предложила Шура. — Там хорошо, просторно, да и на бревнах там присесть можно.

Несколько минут все трое молча любовались лунным светом, потом присели на старое длинное бревно на береговом гребне над Пологой.

— А где ваш третий товарищ? — спросила Шура.

— Наш Дима Юрков, наверно, седьмой сон видит, — засмеялся Баратов. — Завтра рано утром он опять куда-то едет, непоседа! Все охотится за впечатлениями, и, пожалуй, так обскачет нас с Андреем Матвеевичем, что нам просто завидно станет!

Все трое засмеялись. Вдруг снизу, из темноты, где берег спускался к самой реке, раздались переливчатые переборы гармонии, смех и говор нескольких девичьих голосов.

«Ага, голубушка! Это наверняка твой Ромео гуляет! — подумал Баратов, украдкой следя за освещенным лунной лицевой Шуры. — Ну?.. Ты волнуешься, наша героиня?»

— Кажется, это Борис Шмалев девушек своим баяном развлекает, — небрежным тоном произнес он.

— Кому же больше, — спокойно ответила Шура, пожав плечом.

Внизу совсем близко заскрипел песок, и девичий говор приумолк.

Борис Шмалев заиграл на баяне, подпевая мягким баритоном:

Как под солнцем, как под ветром, на песчаном бережку,
Дорогую призывая, буйну голову сложу.

Шура, прислушиваясь, заговорила тихонько:

— Почему это в старинных песнях люди все зазря погибают? Слушаешь-слушаешь, а сердце ведь не камень... Хотя, вот к примеру, я понимаю, что беззащитному бедному человеку обязательно-нужно было горе излить... ведь, когда поплачешь, вроде и легче тебе станет. Ох, как все это я по себе знаю!.. Мне ведь всего двенадцатый годок был, когда я круглой сиротой осталась: сначала отец, а потом мать в одну неделю от холеры померли...

Снизу, удаляясь, снова донеслись переливы баяна и будто обволакивающий слушающих своей печалью голос Шмалева:

В золотое время хмелем
Кудри вьются;
С горести-печали
Русые секутся.
Ах, секутся кудри!
Любят их забота,
Полюбят забота, —
Не чешет и гребень...
...И щемит и ноет,
Болит ретивое;
Все — из рук вон плохо,
Нет ни в чем удачн...

Опять прожурчали свирельно-тонкие переборы, и в ответ им кто-то громко вздохнул — и все смолкло.

— Ваш Шмалев, слышу я, песни Алексея Васильевича Кольцова распевает, — заметил Баратов. — А девушки, наверно, так и тают... да? Как вам кажется, Александра Трофимовна?

Никишев улыбнулся про себя: Сергей Сергеич, расчетливо-наивным тоном своего вопроса, конечно, хотел узнать, не испытывает ли сейчас Шура ревности к Шмалеву, разгуливающему лунной ночью в окружении молодых девушек?

— Наверно, среди этих слушательниц есть и такие, которые даже влюблены в этого молодца с баяном, — продолжал вкрадчиво подшучивать Баратов. — Как вы думаете, Александра Трофимовна?

— Ясно дело, есть... Я даже кое-кого примечала, — ровным голосом сказала Шура. — Живем мы скучно, после работы — куда деться?... А тут баян у молодого парня...

— Да еще красивого да голосистого, — добавил Баратов.

— Лицом его бог не обидел, — спокойно согласилась Шура.

«Этот ответ даже ревность не показывает», — отметил про себя Никишев.

— Скажу вам откровенно, Александра Трофимовна, — уже начал наступать Баратов, — меня очень интересует Борис Шмалев. Поведайте мне, очень прошу, что это за характер? И, простите, я не из пустого любопытства спрашиваю... кого он любит?

— По-моему, никого... — неторопливо и задумчиво ответила Шура. — Разве вот свой баян, да еще пенье свое любит. Потом, примечала я, любо ему души людские тревожить, манить их куда-то, будто кругом все плохо и куда-то надо вырваться, где-то счастье искать... Однажды я даже осердилась на него: что ты, говорю, как птица залетная, под окном пропоешь, а потом в кусты улетишь...

— И ничего в руках не осталось? — пошутил Никишев.

— А ведь в самом деле, ничего в руках не остается от его речей, — будто изумившись новой мысли, повторила Шура. — Знаете, у него словно какая-то заковыка в голове... даже понять иногда невозможно, для чего он помудренному скажет или над кем посмеется...

«Нет, так о любимом человеке не говорят», — снова отметил про себя Никишев.

— Эта черта характера Шмалева вас огорчает, Александра Трофимовна? — испытующе посочувствовал Баратов.

— Огорчает? — переспросила Шура, покачав головой. — Мне досадно, когда я что-то в человеке не понимаю, вот, думаешь, образования-то у меня настоящего нету...

— А вы замечали, Александра Трофимовна, что бывает, мы с человеком говорим и встречаемся, как бы себе наперекор, — осторожно заговорил Никишев. — Но, знаете, иногда какие-то обстоятельства, от нас не зависящие, сдерживают наши настроения...

— И тогда, значит, разговаривают, встречаются... и даже боятся, как бы человека не обидеть... — подхватила Шура, словно продумывая что-то про себя. — Вот, примерно, взять мое отношение к тому же Шмалеву. Иногда и подосадуешь на него и даже так бы вот и оборвала его

по-свойски: уж очень любит себя вперед всех выставлять, будто люди глупей его, уж очень привык заноситься над всеми в гордости своей... Однажды я его этак-то оборвала, а он нос повесил и целый день ходил как прибитый...

— И вы... любовно пожалели его? — нетерпеливо прервал Баратов ее размышления вслух.

— Не то чтоб пожалела... — неторопливо повторила Шура, несколько даже растягивая последнее слово, но зато отбросив предыдущее «любовно», которое ей было явно не нужно. — Да, не в жалости тут дело... а я по своей батрацкой судьбе привыкла судить... Господи, до чего ж мне тяжело было с двенадцати лет по людям пойти!.. Никто меня не жалел, а всякий только о том и заботился, чтобы на мои ребячьи плечи работы навалить побольше. А когда, бывало, работу спроворишь, например, к зиме поближе, — вот и не нужна, уходи куда хочешь, ночуй хоть на улице. И пойдешь кланчить работу у кого попало, только бы с голоду не помереть. Боже ты мой, да и разве это была жизнь? — и Шура бурно вздохнула, печально блестя глазами на бледном от луны лице и зябко сжимая руками плечи. — Утром, бывало, трясут тебя: «Вставай, вставай, чертова дочь!» А ты знаешь, что дворовая собака дороже хозяину, чем ты... И ни огонечка тебе впереди!.. Сколько раз я, беззащитная девчонка, думала: может, уж утопиться мне и мучиться перестану?.. Но меня революция спасла. Однажды повезло мне, — это уже после Октябрьского переворота было, — взяла меня в школу сторожихой наша сельская учительница, очень хорошая, добрая женщина... вскорости я узнала, что она старая большевичка была... век буду ее помнить... она как мать родная ко мне отнеслась! Она меня читать-писать, арифметике научила, разные книжки давала мне для чтения — по истории, по географии, а также повести всякие, стихи... Все мне было до того интересно, до того радостно, что я будто после гнилой воды светлую, ключевую водицу пила!.. В работе я старалась, да и она вдруг такой легкой для меня стала...

— Это потому, что душа ваша начала расцветать, — поддержал Никишев.

— Да, да. Я так это и понимала! — оживилась Шура. — Потом нашу учительницу отозвали в город, по народному образованию работать. Я было в слезы, а она меня успокаивать: «Что ты, Шура! Теперь ты уж на доро-

гу вышла, понимаешь, что к чему, грамотная. Только не останавливайся на том, что узнала, дальше стремись... Ну... и я...»

Шура тихонько засмеялась.

— Конечно, я старалась, да и грамота мне впрок пошла. Позвали меня работать в комитет бедноты, потом в ТОЗе я полеводом-счетчиком работала. А когда трактор в нашем районе появился, сразу мне захотелось править этой машиной, так захотелось, что я только о том и думала!.. Подучили меня, — и не так уж трудно мне это казалось! — и стала я, как обо мне потом даже в газете написали, первой женщиной в нашем районе, которая трактор начала водить... Потом (Шура запнулась на миг, опустила голову)... случилась у меня ошибка в жизни... человек тот оказался до того плохим, что мне даже тошно было жить в родном моем селе. Тут как раз из соседнего района — то есть из здешнего, теперь моего района — приехал один товарищ техническую силу приглашать... и я поехала, стала здесь трактор водить... А на жительство определилась сюда, потом в колхоз вступила...

— Словом, ваша рабочая биография, Александра Трофимовна, типична для передовой русской женщины, — заключил Никишев и ласково пожал ее руку.

— Согласен с этим вполне, — добавил Баратов, — но мы отделились от главной темы разговора: насчет ваших, Александра Трофимовна, взаимоотношений со Шмалевым. Разрешите воссоединить ранее рассказанное вами с тем, о чем вы нам поведали потом. Вот вы сказали, что вы привыкли судить по вашей прошлой батрацкой жизни — о чем же судить?

— А все о том же, что со всеми батраками бывало, — пояснила Шура. — Я никогда не забуду, как мне бывало тяжело и больно. Значит, другому ведь так же тяжело жилось... Верно? Вот и думаешь: ах, да ведь таким же, как я, батраком был, скажем, тот же Борис Шмалев, такого же горя вдосталь хлебнул. Не знаю, у какого хозяина он бедовал — ему, видно, горько рассказывать, а я не заставляю — зачем же его принуждать?

— Конечно, если бы вы в здешних местах выросли, вы и сами знали бы и того хозяина, у которого бедовал Шмалев, — вставил Никишев. — Но, простите, я прервал вас...

— Ничего... — улыбнулась Шура. — Я ваш интерес

понимаю — вам всюду жизнь изучать надо... верно? Так вот... потому я и разговариваю с Борисом Шмалевым, что он батрацкой горькой жизни натерпелся... Но тут же я и спорю с ним... да, спорю!

— Спорите? — удивился Баратов. — Это по какому же поводу?

— А вот — почему Шмалев колхозной жизни ценить не хочет?.. Все ему нехорошо, всего ему мало... Ты бы, Шмалев, говорю я, рассудил, как удивительно эта жизнь устроена: к примеру, мы с тобой, бывшие батраки, никакого имущества не имели, внести в колхозное хозяйство нам было нечего. А смотри, мы со всеми другими, которые немало внесли в колхоз, — равноправные члены колхоза, и никто нас попрекнуть не посмеет. А ведь как дорого человеку вровень со всеми по земле ходить!.. Разве, говорю, ты забыл, что в старое-то время батраков за людей не считали?.. На это он только посмеивается: «А/я, говорит, как раз забыть хочу о том времени, на черта мне о нем помнить?»

— Д-да-а... несговорчивый молодой человек, — вздохнул Баратов. — Но... прошу прощения, за новый мой, возможно, несколько назойливый вопрос: вот вы и спорите и досаждаете на Шмалева, а баян и песни его все-таки слушаете... как примирить одно с другим?

— Баян слушаю... да...

Шура снова запнулась, но теперь иначе: прижав ладони к озаренному лунным светом прозрачно-белому лицу с огромными, бархатно-темными глазами, она смеялась нежным грудным смехом.

— Ну... Александра Трофимовна... ну? — даже слегка растерялся Баратов. — Вам мой вопрос показался смешным... или вы обиделись?

— Нет... что вы... я ведь что еще сказать хотела... — и Шура, с тем же тихим и глубоким смехом, вдруг закинула руки вверх и словно в беспокойной истоме сплела пальцы на черноволосой голове.

— Ах... вы подумайте только... Мне двадцать восьмой, а до двадцати я была тупая, неграмотная. Молодость-то на исходе, а у меня жадность к жизни — на десятилетиях. Все бы я разумом понимала, все бы я умела!.. Недавно в область по разным поручениям мы ездили. И вот я слышу на улице какие-то люди разговаривают по-иностранному, красивый такой язык, прямо как музы-

ка... так бы я на нем и поговорила!.. А музыки сколько я наслушалась!.. То радио поет, то из чьего-то окна слышно, как на рояле играют... так вот и забыла бы обо всем и только эту музыку слушала!.. Потом знакомые люди повели нас в рабочий клуб, а там молодые ребята на сцене, совсем как артисты, так-то складно и хорошо в спектакле играют... Ах, думаю я, вот бы и мне так же играть выучиться, вот бы душа-то моя возликовала... Потом случилось мне на собрании в земотделе побывать — и до чего же толково и ясно один там товарищ выступал, прямо-таки будто вот и мои мысли подслушал!.. Смотрю, как уважительно люди того товарища слушают, хлопают ему, потому что он о полезном говорит... и мне бы знать такие слова, чтобы людям объяснить, что они еще не понимают... Ах... — она горестно бросила руки на колени, — нет у меня таких слов... образование у меня маленькое! А у нас ведь только работа и работа, потому и к Шмалевскому баяну люди тянутся... Да и я вот, — она задумчиво улыбнулась, — тоже его слушаю.

— Не печальтесь, Александра Трофимовна!.. Оставайтесь такой, как вы сейчас, и достигнете многого, о чем вам мечтается! — обнадежил Никишев.

— Спасибо вам на добром слове, Андрей Матвеевич! — растроганно сказала Шура. — А что баян я слушаю, так это, сами понимаете, от тоски моей...

— А если бы на баяне играл да песни пел не Борис Шмалев, а... Семен Петрович? — мягко предположил Никишев.

— Если бы Семен... — начала Шура и вдруг засмеялась снова тем же тихим и потаенным смехом.

— Понимаю! — благодарно поклонился ей Никишев. — Право, я очень рад, Александра Трофимовна!

— Чему? И благодарить за что? — слегка смутилась Шура.

— Потом скажу, — пообещал Андрей Матвеевич.

— Ты просто замучил женщину подобными вопросами, — недовольно произнес Баратов и, встав с места, пожал руку Шуре. — Простите нас великодушно, Александра Трофимовна... мы утомили вас!.. Большое вам спасибо!

— Что вы! — горячо возразила Шура. — Совсем даже наоборот!.. Когда с хорошими людьми по душам погово-

ришь, будто сама в себя зорче заглянешь!.. Мне вас благодарить надо...

Глядя вслед удаляющейся Шуре, Никишев почему-то зашептал Баратову:

— Она даже не представляет себе, какая у нее славная и широкая душа!.. А любит она — мне совершенно это ясно — конечно Семена Коврина, только Семена... и никого больше!

— Ну... и успокойся на этом! — проворчал Баратов и зевнул. — Черт знает как я устал!..

— Может быть, пройдемся еще немножко?

— Нет, спасибо... Я чувствую, что ты сейчас с урожаем, а я только собрал с земли несколько жалких колосков... Пойду спать — прощай пока.

— Резюмируем! — сказал Баратов.

Он сидел на песочке, подставив солнцепеку бело-розовую худую спину с острыми лопатками. Мокрое полотенце венчало его голову наподобие чалмы.

— Резюмируем результаты наблюдений, — сказал он навстречу Никишеву. — Несмотря на некоторую неточность моих психологических прогнозов, я рад, что я здесь. Я рад, ибо я нашел их.

— Кого?

— Героев. Они полны сил и желаний, притом они дают мне зерно для будущего.

— Съедобное ли? — пошутил Никишев.

— Не обязательно! — фыркнул Баратов. — Это как раз не обязательно. Но это нужно для нашей литературы, хватит с нас трудового кряхтения и пота, — «трепетная лань» наша, ей-ей, работает за тяжеловоза.

— Оттого, что много берет на себя! — сказал уверенный тонкий голос, и Дима Юрков, голый по пояс, в зеленых трусиках, прыгнул вниз. Неразлучный фотоаппарат в кожаном футляре цвета апельсиновой корки болтался около его бедра. — Бабушкины сказки! — продолжал он, усевшись на песок. — Безответственные выдумки! Жизнь наша, быстрая и великолепная, умнее нас всех, лучше ее не скажешь, большего, чем есть в ней, не сыщешь... Так в чем же дело? О чем «грусть-печаль»? Знай смотри, успевай фиксируй — и ты богат... Я богат! — блаженно воскликнул он. — И сколько я здесь... — похлопал

сухой ладошкой по желтому кожаному футляру, — сколько я здесь дичи настрелял! Массовое плетение корзин, — не верите? — вот оно! Посадка малины и клубники? Вот она! Вечерний университет — и дедка с лаптем... вот, вот, нате!

— Да вы просто податель благ земных! — съязвил Баратов.

— Завтра я отсюда сметаюсь в животноводческий совхоз, — не слушая, продолжал мечтательно Дима. — Там, говорят, замечательные свиноматки, особенно одна, на двадцать пять пудов, и зовут ее... Астра! Поеду смотреть Астру!.. А, ч-черт! Однако уже время. У меня беседа на ходу о хозяйственных перспективах.

— С кем? — спросил Никишев.

— С Борисом Шмалевым.

— Ага! — рассмеялся Никишев.

— Что вы! — Дима вдруг обиделся и убежал.

Баратов зло сделал ему ручкой.

— Адъё, резвый пожилой мальчик! Вот кто жаворонком порхает, а я... столько страдал!

— Это оттого, что твой последний роман разругали?

— Черт с ним, не в этом дело. Иногда я страдаю от незнания того, чем же я управляю. Как запыленный каменотес, я взираю на гремящую и великолепную гору нашей жизни, я восхищен, я подавлен ею. Я не могу охватить ее, не могу порхать вокруг, как Дима Юрков, мне это противно! Что выбрать, на кого, как говорится, ставить крупную ставку творческой мечты? И вот здесь, в садах, я нашел, нашел! Под гладкой корой объясненной, установленной жизни быются жаркие потаенные ключи — несбывшиеся желания и мечты и во всей ее силе бесконтрольная невнятица чувств. И как он ни скрывайся, человек, мой герой, я вижу в нем два свойства: видимое — для всех, и тайное — для себя, трепещущее от наслаждения, как дикая серна около зеркальной прохлады горного озера. И я слежу, насколько близок тот момент, когда оба эти естества будут иметь одну кровеносную систему. Чем ближе этот срок, тем, конечно, мне меньше работы, да, пожалуй, и интереса. Я теперь частенько вспоминаю господина Бержере. У Франса этот милейший чудаки утверждает, что жизнь человека зависит не от конституций и партий, а от инстинктов и нравов.

— Гм... Ты, однако, неосмотрительно выбираешь фи-

лософов. Тот же господин Бержере, помнится мне, поучал, что только глупцы и честолюбцы способны на революцию.

— Ну это уж ерунда! — горячо замахал руками Баратов. — Этой части не приемлю! Только революции создают жизнь и движение в мире. Как коммунист я значительно моложе тебя, мне еще многому надо учиться, пополнять прорехи моего теоретического багажа. Это я отлично понимаю. Но так же ясно я вижу безбрежный, прихотливый, бесконечно меняющийся мир искусства!.. Как все в нем зависит от индивидуальности творца!.. Появляется гений — и озаряет все вокруг ярчайшим светом...

— Или появляется декадент, мистик, эстетствующий сноб... и тянет за собой целый хвост туманов, бессмыслицы и всяческого мракобесия, — не скрывая иронии, продолжал Никишев. — Об этих «индивидуальностях» тоже не надо забывать, Сергей. А наш милейший «пожилой мальчик» Дима Юрков?.. Ведь это также индивидуальность, но иная, чем ты и я. Внешне все будто вполне благополучно: жадный интерес к жизни, подвижность путешественника, ретиво тратящего свое внимание и силы на поездки по стране...

— Ходячий фотоаппарат! — презрительно фыркнул Баратов. — Ничего худого о нем как о человеке я не знаю, но его творческую концепцию отвергаю!.. Для него нет ни эпоса, ни лирики, ни образа, ни художественного вымысла, ни красот нашего великого русского языка — ничего, как есть ничего этого ему не надо!.. Один голый рекордный по числу набор впечатлений, жалкое регистраторство!

— Абсолютно с тобой согласен, Сергей. Я точно такого же мнения о всей его... так и хочется сказать... анти-творческой практике!.. Я также убежден, что это регистраторство впечатлений, этот фактовизм с его голым фактом, сам по себе, как выражается Дима, не имеет ничего общего с правдой жизни. Я даже уверен, Сергей, что нашего Диму когда-нибудь страшно потряхнет как в ухабе — от какого-то невероятного провала его искусственно построенной схемы..

— Вот, вот... все сказанное и тобой, Андрей, лишний раз подтверждает мои слова, что безбрежный мир искусства зависит полностью от индивидуальности художни-

ка!.. Вот мы трое.. мы можем быть единодушны в проведении партийной линии, в общественных делах, но в сфере искусства мы можем спорить и спорить: мы разные художественные индивидуальности... вот и все!

— Нет не все, Сергей, далеко не все. Во всех наших спорах ты всегда забываешь, что талант не просто растет «из себя», как ты любишь говорить, а из своих связей с жизнью, из отношения к ней... и постоянной проверки того, насколько оно соответствует историческому ходу вещей.

— А!.. Как мне надоело это вечное стремление к широте, к горизонтам!.. Я или ненавижу, или я влюблен — и довольно с меня!.. Я влюблен пока в образ этого молодца с баяном Шмалева. Этому своенравному, нетерпеливому человеку несносен весь этот сухой режим, проперченный истовым рвением Радусева. А Шура! Чудесная Шура! Это тебе не покорная «фламандка» Валя с ее непронувшейся душой. Шура — это орлица, задыхающаяся в клетке. Еще немного — и она распушит крылья, и роскошная стихия ее чувств разметет все преграды.

— Но ведь может быть и так, что Шура сейчас настроена не на то, чтобы разметать преграды, как ты говоришь, а на то, чтобы собрать воедино все свои чувства и мысли... у ней есть два дорогие ей существа — Семен и его Васятка. Ей надо преодолеть свою боязнь, не вышло бы опять ошибки, не будет ли Семен ее ревновать к прошлому. Знаешь, Сергей, если бы я был ей кровно-близкий человек, например, брат или дядя, я бы более непосредственно вмешался в ее жизнь: не бойся, мол, Шура, доверься Семену, только с ним будет счастье. Но в данном положении, просто знакомого с ней человека, я могу только косвенно вмешаться в ее внутренний мир...

— Вмешаться? Каким же способом, Андрей Матвеевич?

— Со страниц книги... или пока что страниц рукописи, хотя бы первого варианта романа.

— Фу-ты, право, как же это я забыл, несчастный! — сердито пошутил Баратов. — Знакомый же мотив: вмешиваться, влиять, зажигать... ох, это твое пресловутое стремление к широте, глубине... этаким груз, господи помилуй!.. Разве мало того, что художник полнозвучно, современно и ярко выразил себя, свой стиль... и разве это в конце концов легко? И разве не уходят на это целые

годы жизни?.. Да, да! С меня хватит и этого. А герои, даже те, в чей облик я влюблен, пусть живут и делают что хотят. А я терпеливый наблюдатель, который будет тем более счастлив, чем больше совпадет жизнь с его прогнозами!

Баратов сердито поправил свою чалму, сползающую от его взволнованных движений, и растянулся на песке.

— Сам ты, Андрей, однако, целишься туда же. Ты выбрал тех же, что и я!

— Верно. Только в другом соотношении.

— Теперь мой вопрос о твоих намерениях. Ты, я вижу, действительно собираешься вмешиваться. Что же ты будешь с твоими героями делать?

— Что? — переспросил Никишев и вдруг, сильно размахнувшись, бросил камень в нежащуюся под солнцем воду. — Что я буду с героями делать? Я буду бороться за них... Да, черт возьми, я драться за них буду!

— Против кого?

— Против всех и каждого, кто им мешает и даже против того, что в их собственной натуре связывает их рост и развитие.

— В чем?

— Быть счастливыми, да!.. Чего ты глаза таращишь?

— Ого-го! Пробрало и тебя, святая душа. «Великая кривая» человеческих страстей и безумств, видно, лучше золотой середины... Эх, дорогой ты мой, вспомни мудрость Пера Гюнта. «Что безумным, что умным быть — все та же опечатка».

— Э, стой, стой! Я не за «кривую» и тем более не за «опечатку». Это никому не поможет. Откуда тоска, нервное беспокойство, казалось бы, по вовсе не материальному поводу у них, у крестьян, у этих бывших «мужиков»? Они чутко ощущают и главнейшую цель советской власти — создание осмысленного человеческого счастья.

— Д-да, это возможно... Чем менее человек удовлетворен в этой жажде счастья, тем больше и скорее, не находя себе выхода, она становится безотчетной, слепой силой. Вчера, например, Радушев застал Костю вместе с Борисом Шмалевым за баяном. Радушев, как водится, заорал, что Костя недоделал столько-то корзин для скорого сбора поздних яблок новых сортов. Тогда этот парнишка обнял баян и со слезами закричал: «Ой, лучше бы вовсе не было этих яблок!»

— Ага! Это оттого, что здесь они разделены друг от друга! — живо воскликнул Никишев.

— Кто «они»?

— Баян и яблоко. Так написано на моем знамени борьбы за героя! Это знамя разверну я в моей будущей повести, чтобы в поколениях моих героев помочь пробудить силу разума и любовь к жизни. Я не устану напоминать, что подлинно разумная жизнь вовсе не аскетическая повинность труда под окриком и по «урокам» ретивых распорядителей типа Радужева, которому думать совершенно и некогда. Нет, разумная жизнь — это осознанное свободное стремление работать с пользой для всех и для себя; это дисциплина и борьба за такую организацию и механизацию труда, которые оставят человеку время для отдыха, веселья, ученья, духовного роста. Тогда не будет глухих вечеров, скуки, безрадостного труда... Тогда кипите, играйте, дерзайте, желайте! Вызревай, яблоко! Пой, баян! И тогда знакомое, будничное, часто серое увидят все в дополнительных оттенках красного, желтого, голубого. Оно будет напевно, как баян, сочно как яблоко. «Вот где, — скажет мой герой, смеясь, в зимний веселый вечер, — вот где сила моя, вот где мое счастье!»

— Да, да, поговорим о счастье! — крикнул Баратов.

Он смочил свою чалму, выжал ее и опять обвязал голову.

— Я, конечно, за то же самое, — почти жалобно сказал он, — но столько лет высочайшие творения искусства были отданы сомнению, тоске, благороднейшей неудовлетворенности... Помнишь, как у Фауста:

Дрожишь пред тем, чему не сбыться никогда,
То, не терял чего, оплакиваешь в свете...

Как можно отказаться от этой терпкой, как застоявшееся вино, печали... И неужели, Андрей, все это уж рассеивается так просто, как дым от ветра?

— Но вспомни, плакальщик, как тот же Вольфганг Гете в другом месте вопрошает:

С великим рвением я искал пути —
Не для того ль, чтоб братьев повести?..

И мы вместе с другими ведем наших братьев в ту эпоху, которая зачинает настоящую историю человечества. И потому, милый мой, человеку несносна собственная мелко-

та, потому деревне надоел идиотизм деревенской жизни, потому от неиспользованных богатств своих страдают Шура, и Володя Наркизов, и тот же суровый Семен Коврин.

— А Борис Шмалев? — спросил Баратов.

— А... он особая статья и... совсем в другом плане.

— Где? С баяном или с яблоком?

Никишев, не ответив, встал, расправил руки, глубоко вздохнул, с веселым изумлением, точно впервые, оглядел залитый солнцем речной простор и, бросившись в реку, шумно поплыл.

Известие о необыкновенных свиноматках в животноводческом совхозе не давало покоя Диме. Едва узнавши о многопудовой Астре, он уже рвался воображением к новым вожделенным местам. Беспокоился он по целому ряду причин. Как корреспондент большой газеты Дима привык «подавать» только «новешенький», еще «ничьим пальцем не тронутый» материал. Кроме того, Дима всегда учитывал, как быстро хороший слух ходит по советской земле, — несравненных свиноматок мог увидеть кто-либо другой — и тогда прощай нетронутость сообщений и гражданских восторгов перед достижениями, — ох, как непостижимо скоро у нас к ним привыкают! Немаловажной причиной беспокойства являлась в таких случаях непоколебимость Диминых принципов: «Великолепная наша жизнь, что бы там ни говорили, больше всего любит бегунов, не стесняющихся расстояниями. Успевающему да воздастся по заслугам!»

Колхоз «Коммунистический путь», запечатленный верным Диминым фотоаппаратом с разных сторон, оцененный по заслугам десятками вдохновенных («прямо с бега, с жару, без этого надоедливого вынашивания») заметок на легких страницах такого же верного блокнота, был уже настолько знаком Диме, что каждый лишний день грозил ему «набить оскомину». Сказывалась отчасти также усталость от того режима, напора и быстроты, с которыми всегда работал Дима. Нелегко было также ловить повсюду для очередных разговоров Семена и Петрю, и, притворяясь наивным, якобы не замечать, как раздосадованы и нетерпеливы лица колхозных руководителей.

Дима домовито подсчитал, что у него в данном случае «все есть для перспективы». Недоставало только некоей «живой реальной ноты» в разборе неизбежных «трудностей» роста, — без этого упоминания ни одно описание не может обойтись. Это последнее недостающее сообщение, на худой конец, мог сделать и Шмалев.

«Этот говорун, — снисходительно подумал Дима, — конечно, не откажется».

Шмалев не отказался, подчеркнул возмутительное легкомыслие председателя и его зама, которые, не давая колхозу «опериться», уже навязывают ему технические усовершенствования — например, эту сушилку, которая, конечно, будет стоить «бешеных денег».

Хотя Шмалев и знал, что сушилку поставят шефы и никаких «бешеных денег» на это не потребуется, он «информировал» Диму в нужном ему направлении, пользуясь тем, что Юрков из-за своих частых поездок о многом не знал.

— Вы заметили, наш председатель слово «мечта» обожает! Все «мечта» да «мечта»! А у самого внутренние ресурсы забыты, так, просто на ветер брошены.

«Внутренние ресурсы» оказались в высшей степени конкретной вещью, — это были печи, лобастые, чумазые печи, обслуживавшие своим теплом десятки крестьянских поколений.

— Вместо бы тысячных расходов — дешево и сердито: осенью, когда солнышко на убыль, весь урожай поскладать в печи, организовано, массовым порядком. Что мы — корявые, не понимаем? Помилуйте, товарищи!

Реальной этой ноты ничего быть не могло, и Дима, записав все, порешил уехать.

Утром, рея пестреньким галстучком, он оживленно распрощался с бывшими спутниками.

— Едете к Астре? — съязвил Баратов.

Маленькое, с тонкими чертами стареющего мальчика личико Димы просияло мечтательной улыбкой.

— О, она этого стоит!

— Из-за нее, чего доброго, все здешние впечатления забудете, — пошутил Никишев.

— Что вы, что вы! Не позже как через неделю вы о них прочтете. Следите за газетами. Пока!

В подкатившей плетенке Диму ждал улыбающийся Шмалев.

— А вот и мой последний информатор.

И Дима с легкой душой укатил за новыми впечатлениями.

В большой комнате даже при открытых настежь окнах было сине и душно от дыма, — виной тому Устиньин табак. Забористый и пахучий, насыпанный горкой прямо на блюде, он полноправно занял место среди свадебных пирогов, жарких и солений. Он дразнил сытые глаза и желудки, вызывая блаженную позевоту, и пальцы гостей невольно складывались щепоткой, чтобы сделать длинные самокрутки, каких никто и никогда не сделал бы в обычное время, да еще из своего табаку.

Устинья встречала всех вновь приходящих гостей радостными причитаниями и поклонами. Ее распаренное лицо светилось гордостью — она высоко поднимала плечи, — еще бы! Она оказалась единственной, кто в таком совершенстве знал прадедовский свадебный устав, кто сообразно этому мог управлять десятками людей, усевшихся за столами. Это только по виду гости сидели празднично и малоподвижно, — по существу же дела все было полно значения: почтительно и осторожно, как с величайшим хитрецом, хозяева дома договаривались с судьбой в час свадьбы — не помешала бы судьба счастью и удаче новобрачных.

Но и Устинья, выпив, устала. Она присела на скамью у ворот и дала, наконец, отдых рукам, ногам, глотке. Посоловевшими, увлажненными глазами, как на самое достойное дело жизни своей, она смотрела на поющий вразнобой и хохочущий хоровод молодежи на полянке, на соседок, до дремоты объевшихся ее, Устиньи, стряпней, на бессмысленно шумливых их мужей, на пьяненького дедуньку Никодима Филиппыча. Тряся маленькой, в белых лоскутинах седины головой, он подсыпался к девкам, и, отгоняемый ими, терпеливо принимался за то же самое.

На поляне развертывалась кадрили. Шмалев, торопливо приглаживая ладонью русый завиток на лбу, носился от одной шеренги к другой и то грозно, то умоляюще кричал:

— Дамы, в середину! Кавалеры, с краю!.. Пра-а-шу! С краю же! Куда же, куда претесь, черти?

Он крутился и топал резвее, чем кони в ночном, каблуки его лаковых сапог мяли и рвали сентябрьскую вялую траву.

— В круг! Пра-ашу покорно выравнивать кру-уг!..

Мимо Никишева пронеслась разругавшаяся Шура, блестя свежим ртом, полным смеха. Она что-то неразборчиво крикнула, увлекаемая плясовым вихрем. Белая кофточка молодила ее; жадное и наивное, почти юное любопытство и радость сияли на ее лице. Шмалев, наконец, дал танцорам передохнуть, и Шура, обмахиваясь, подошла к Никишеву.

— Вот мы как таланты свои показываем, — последние подметки собьем, а спляшем!

Дешевенький лиловый шарфик развевался от вечернего ветерка на ее груди. Никишев смотрел на этот взлетающий, как облачко, шарфик, — и казалось: вся жизнь Шуры представилась его глазам, стремительная, чуткая к каждому дуновенью радости и тепла.

Борис Шмалев потом сидел на виду у всех, прислонившись спиной к Устиньиной избе. Баян на его коленях гудел, пел, клекотал, как будто злой и дерзкий избыток сил раздувал его гибкие бескостные бока.

— Александра Трофимовна! — звонко и повелительно кричал он, притопывая стройными ногами в лаковых сапогах. — Играю специально для вас! Прошу, пройдите еще разок, Шурочка... Что же ты, Родиоша, самую милую девицу не приглашаешь? Вот чурбан! Шурочка, пройдите, умоляю!

Родиоша Дударев, видный круглолицый парень с черными, как вишни, глазами, щеголяя прыжками и коленцами, подлетел к Шуре.

— Па-а-жалуйста-а!..

— Зелен еще! — усмехнулась она, поведя плечом, но опьяненная зазывающей музыкой, шумом и смехом, подчинилась и приняла Родиошину руку. Сияя, играя глазами, бровями, ртом, Шура пронеслась в первой паре мимо Никишева, и убогий ее шарфик птенцом бился вокруг смуглой шеи.

Ефим шестипалый, молчаливый муж Устиньи, зажег лампу под потолком и, шурясь на яркий свет, несмело позвал «товарищей гостей» к огоньку. У него была тайная мысль: укоротить свадебное веселье. Он был свидетелем явного недовольства Семена Коврина тем, что в горячее

время уборки Устинья вздумала устроить свадьбу своей племянницы. В ответ на приглашение Устиньи Семен сурово отказался «праздничать, когда работа не идет».

Ефиму было совестно за жену, но он как-то не нашелся в ту минуту, как отговорить ее от упрямого намерения — поскорее сыграть свадьбу.

И вот Устинья поставила на своем.

Шум и хохот подвыпивших гостей, как буйный ветер, гудел в ушах Ефима. Его все больше беспокоило это, давно уж не виданное им веселье и праздное сидение десятков людей у ворот, во дворе, на поляне. Он, член правления, «представитель руководства» (как учили его), все сильнее ощущал в себе томление встревоженной совести. Проболев однажды с перепоя, он зарекся не пить вина. Не пил он и сейчас, не шутил, не плясал и вообще никак веселья не поддерживал, но все же чувствовал себя ко всему причастным. Ему было хорошо известно, что уже несколько дней правление искало случая «попасть в самую точку»: начать вовремя сбор дорогих поздних сортов. Шестипалая рука всегда очень мешала Ефиму в полеводческой работе — и, когда колхозу прирезали целые гектары садов, Ефим сразу попросился работать по саду: это было и по силам ему и по душе. Он сам еще вчера утром перетрогал плоды на десятках яблонь, проверяя их зрелость: не сегодня-завтра снимать. Он же, Ефим Колпин, подписал договор с самым «дошлым» бригадиром, с самим Петрей Радусевым, при таких решительных пунктах:

1. Начать сбор без опозданий.
2. Работать без прогулов.
3. Работать сдельно, без брака, признавая только «природный брак» (плодовые уродства).
4. Бороться с лодырями.

Впервые в жизни Ефим всенародно расписывался, обещая дать самую лучшую работу, на какую он только способен. В тот миг он даже забыл о нелепом, болтавшемся наросте под большим пальцем правой руки, ловко взял химический карандаш и твердо подписал свое имя и фамилию. Он не мог не заметить тогда, что люди, обычно мало считавшиеся с ним и всегда обращавшиеся через его робкую голову к властной и крикливой его жене, теперь посмотрели на него другими глазами. Соревнуясь с самим Петрей Радусевым, «хватом до работы», он,

Ефим, становился не только обстоятельным, но и по-своему значительным человеком. Он обещал, — следовательно, должен был сделать. И тут он вдруг пришел к выводу, что он, когда-то из милости взятый в мужья самой говорливой и румяной девкой на селе и даже детей заимевший от нее тоже как бы по милосердию ее, — он, Ефим Колпин, уж не такой все-таки пропащий и безнадешный человек. Да и как знать, не зря ли он так много давал спуску жене? Да и не зря ли он так безропотно склонял голову перед людьми? К нему за эти два дня уже не однажды приступало желание не только поспорить с женой, но и решительно опустить на стол кулак, не менее мужественный, чем у любого из соседей. Но пока еще ничего не было сделано, и Ефим робел, скисал, как мальчишка. Сегодня казалось ему порой, что жизнь обернулась вспять и пошла как попало, по колеям, а он топтался среди горлающих гостей, бессильный что-либо изменить. Люди вдруг зажили несчитанным временем: одни шумели и плясали, а другие, посоловев от Устиньиной браги, лениво перебрасывались глупыми шутками или безвольно сидели-посиживали, застыв в одной позе, сорили подсолнухами и будто не имели силы вырваться из этих темно-зеленых, как болото, сумерек, от этой не в меру распевшейся гармонии, от этого тягучего безделья.

Наконец Ефим рассчитал, что лучше поскорее усадить гостей за стол, — поужинают и разойдутся.

— Пожалуйста, гости, к столу, — повторил он настойчиво, — на свету приятнее.

— А что, ребятки, верно ведь, дома лучше, — согласилась отдохнувшая Устинья. — На полу хоть ноженьки разойдутся. Эй ты, баян, катись сюда!

Ефим посторонился перед украшенным лентами черным телом баяна и тихонько ахнул про себя: уж очень побледнела невеста, как только баянист взглянул на нее. А когда баянист, на правах забавляющего «публику», потребовал, чтобы невеста угостила его, она покорно встала, чтобы служить ему.

Валя кормила Шмалева за столом, в углу, оклеенном пожелтевшим, засиженным мухами изображением Афонского монастыря.

— Эй ты, музыкант! — хохотала Устинья. — Гляди, как тебя уважают: сама молодая тебе подносит!

А Валя, «молодая», ходила по сбитым половикам, и

странная скорбная гордость наполняла ее сердце. Ей было приятно, что столько людей пришли ради нее в их дом. Также приятно было думать, что не так-то просто теперь ее обидеть, когда в любую минуту ее защитит этот медлительный, бородатый, с хорошим басистым голосом человек, ее муж.

— Затрудняю тебя, Валечка, — мягко и виновато говорил Шмалев. — Иди веселись, мне немного надо.

— Разве мне трудно? — пробормотала она, стараясь не смотреть на дрожь его рук, принявших от нее чашку водки. Забыв о недавнем оскорблении, она теперь почему-то жалела Шмалева.

— Не расплещи, — шепнула она.

— Нет, я умный, Валечка, помню, что влага эта драгоценная.

Он выпил, тихонько крякнув, и той же дрожащей рукой потянулся к закуске.

— Устал, видно... много поиграть пришлось, — пожалела она.

— Для тебя, Валечка, с удовольствием.

Будто заглаживая свою недавнюю грубость, Шмалев упорно называл ее ласковым полуименем, как слабую и маленькую, как бы приглашая ее обращаться с ним так же дружески и просто.

А она как раз и не знала, как ей его называть, — ее теперешнее положение уж слишком было непохоже на недавнее прошлое, два года назад. Тогда она звала его Борис Михайлович, и в этом были законные почтительность и отдаленность, хотя обид настоящих от него, пожалуй, и не было: он просто не замечал ее существования на свете. Она при каждом его обращении к ней терялась до того, что не сразу обретала голос для ответа. Правда, он был хозяйский сын, а она — «девчонкой для услуг». Мать перед смертью передала ее сестре своей, Устинье, но тетка жила далеко, в другой деревне, а Вале пришлось остаться у дедушки. После его смерти ее взял «по доброте» дедушкин сосед, Михаил Иванович Шмалев, у которого был хороший двухэтажный дом на правом берегу Пологи. Дом стоял в степи, далеко за деревней, окруженный высоким забором. Сад, огород, крепкие службы, кладовушки со всяким добром, машины охранялись по ночам спущенными с цепи двумя псами-волкодавами. Михаил Иванович часто ездил в

город, торговал всякой всячиной, а домой возвращался всегда веселый, с покупками. Часто к нему езживали, похоже, торговые люди, и Валя прислуживала гостям. Ей шел тогда тринадцатый год. Она безропотно исполняла любой хозяйский приказ, думая только о том, чтобы не было «промашки»; с простодушной благодарностью, крестясь, садилась к хозяйскому столу, привыкнув считать его единственной заслуженной оплатой ее несовершенных трудов. Страхом ее хозяева не угнетали, Михаил Иванович буен бывал только в хмелю, да и тогда ей, неизменно старательной и верной «девчонке для услуг», бояться нечего было. Но хотя она была сыта, ретиво работала и крепко спала, она сознавала, что есть другая, отличная от ее жизнь. Ей было также ясно, что та жизнь не для нее, но следила за ней она жадным и робким глазом, изнемогая от удивления, смутных дум и восторга. Такой именно жизнью жил Борис Шмалев. Единственный сын и баловень старика, он вырос ловким и удивительным человеком, которому все удавалось. Он властно и весело распоряжался по дому, легко укрощал страшные для Вали машины, которые сеяли, косили и потом покорно замирали в широкой пасти крытых железом сараев. Насвистывая, он уезжал в город и возвращался оттуда со множеством всяких новостей; ему всегда было о чем порассказать и чем удивить людей.

В деревне Шмалевых не любили — завидовали им, как простодушно объясняла про себя Валя. Но девушки заглядывались на Бориса Шмалева; были и такие, что без стыда «набивались» к нему, но он о женитьбе не думал. Ходили слухи, что в городе он тайком любитсЯ с какой-то образованной девицей, которая принимает его ночью по черной лестнице, боясь строгого отца.

Зимним полднем, когда трещала каждая веточка, мохнатясь от мороза, а особенно на «масляной» Борис Михайлович, стоя в санях, катался по селу, без шапки и рукавиц. Его русые волнистые волосы вихрились над порозовевшим лбом, широкие полы ярко-рыжего полушубка раздувались, как паруса бешеного корабля. На груди и рукавах полушубка нарядно пестрела вышивка зеленым, синим, малиновым. Вальке, тихонько вздрагивавшей у ворот, казалось, что оранжевый этот полушубок осыпан любимыми ее цветами — розовым сладким клевером и синими звездами васильков. Она мерзла, но не было сил

уйти, оторваться от зрелища этой удали, бесшабашной силы, веселья и красоты. Топоча валенками по хрусткому, как рафинад, снегу и жмурясь от пожара красок, она взирала на этого вихревого всадника с баяном, как на существо высшей, отборной, недоступной человеческой породы. Ночью, перебирая в памяти мельчайшие подробности этого сияющего, нестерпимого в обаянии своем явления, она плакала о себе и о многих, кто, как ее мать-вдова, только и знал убогую жизнь, однообразную, жесткую, как многодневный, завалившийся хлеб. Но приходило утро, и Валя, привычно отдаваясь каждодневным хлопотам, уже совестилась ночных слез о своей судьбе, кем-то заранее ей данной, как веснушки, как каштановая ее коса, как неловкая, вразвалочку походка, от которой она так часто страдала. Она не могла изменить походки, не умела она и победить судьбы.

Михаил Иванович однажды, сильно выпив, начал было приставать к Вале, но чуть не был избит сыном. Тогда она стала бояться хозяина и уехала к тётке, благодарно унося в памяти не запятнанный ничем образ своего защитника. Прошел год — и вдруг Борис Шмалев появился на пороге теткиной избы. Он сказал, что Михаил Иванович скрылся от властей, где-то мыкается, может быть даже и умер, а их, Шмалевых, лишили всего имущества, что он, Борис, сейчас просто нищий, батрак, у которого остался только один верный друг — баян. У Вали закружилась голова от счастья видеть его, говорить с ним, от жалости и страха за него. Она поняла, что «над ним горе стряслось», и, полная самого чистого и горячего беспокойства, согласилась на его просьбу: подтвердила при всех, что Шмалев был батраком, с которым когда-то работала вместе.

...И вот теперь он ел ее хлеб и смотрел виновато и благодарно, как зависимый от ее воли. Ей вдруг показалось, что сейчас она гораздо сильнее его — и грех ей, грех не поделиться с ним радостью на свадебном пиру. Застенчиво моргая, она спросила:

— Может, еще водочки выпьешь? — и, не дожидаясь ответа, сама налила ему стаканчик, перелив через край. Испуганно ахнув и не успев отнять своей руки, облитой водкой, она встретила на скользкой стенке стакана сильные и быстрые пальцы Шмалева.

— Вино пролить — полной чашей жить, Валечка, —

сказал он, просительно заглядывая ей в глаза. — Не забудь меня по старой дружбе.

Она радостно похолодела, вдруг стремительно поверив в эту «дружбу». Счастливая, удовлетворенная до предела, она следила, как он медленно осушал стакан, налитый ее рукой.

— За твою удачу пьян буду, — сказал он, утирая губы и смотря на нее сияющими, увлажненными глазами.

— Да я ведь... — начала она дрожащими губами и вдруг увидела мужа. Он стоял в дверях, крепко прижавшись плечом к свежесбеленному косяку.

— Вот... гостя угощаю... — пробормотала Валя, еще не сразу поняв смысл появления мужа именно в эти минуты. Но большое белое пятно на плече его праздничной синей рубахи показало Вале, что он успел настояться у косяка и слышал все. — Измазался-то как известкой... — сказала она робко.

Муж ничего не ответил, только взгнул на нее ошалевшими, незнакомыми глазами и прошел к большому столу. Валя беспомощно оглянулась, — и навстречу ей из распахнутой двери словно дуло режущим холодом: Бориса Шмалева на месте не было. Он исчез легче дыма, унеся с собой все ее думы, улыбки и слова, так обогревавшие ее в этот первый гордый вечер самостоятельной жизни. Некоторое время Валя смотрела в распахнутую дверь, — там нежился томный звездный вечер и небо чернело, как соты с гречишным медом, полные живых сверкающих капель... Но сладость была не для нее. Она еще постояла, каменея, как предательски обворованный, обманутый человек, и, пошатываясь, прошла на свое обрядное место под иконами, за большим столом, рядышком с мужем. Она не сразу заметила, когда вернулся Шмалев. Но теперь он сидел с баяном в отдалении от нее, у него было безразлично-довольное лицо.

Устинья захотела на славу потряхнуть стариной.

— Играй! — кричала она Шмалеву.

Половицы скрипели под ее мощными прыжками, лампа мигала от ее шумных вздохов. Казалось, глотка, грудь, руки, ноги Устиньи одержимы многопудовой дикой силой раздувшейся земли. Устинья, как медведица, хлопала в ладоши, ее широкие, как блюда, плечи ходуном ходили от хохота.

— Ой, горько мне, горько!

Какая-то пьяная кума с налитыми одурью глазами толкнула Валю к мужу.

— Поцелуйтесь, молоды-е!

Валя безвольно подалась к мужу. Он обратил к ней пустые глаза, а губы его были холодны, как лед.

По вечерам Семен обходил сад, не расставаясь с плодосъемом. Эта длинная новая палка с расщепленным на четыре развилки концом казалась ему верным молчаливым другом. Вечер, лунный и безлюдный, колдовал тенями и пятнами ночного света, а ивовый плодосъем безошибочно и ловко отделял спрятавшееся в листву яблоко от родной его ветки. Семен медленно жевал и нюхал. Яблоко еще кислило, но в запахе его уж ощущался тонкий медвяный аромат благородной ранней осенней породы.

Яблоко пахло зрелостью, правда еще не той сочной, радующей вкус, а первой зрелостью съема, когда яблоку, как юноше — дома, уже не сидится на ветке, и оно совсем легко отделяется от нее.

Семен поворачивал в руке яблоко, благородный отпрыск крепких плодовых кровей, и уже представлял рассыпчатые горы урожая, стационарную сушилку на большой, давно облюбованной поляне, сушилку с весело ревущей топкой и стройным механизмом, управлять которым можно обучить любого подростка.

Ветер вдруг донес праздничные крики, хохот и захватские взвизги баяна. Семен словно очнулся от сладкого сна.

— Заспятся завтра до полдня, — прошептал он с болью и злобой ко всем этим, не ко времени беспечно праздничным людям.

Дома при лампе он взглянул на барометр — и задрожал: стрелка понижалась к буре.

— Как зарядит дождище на неделю, пиши пропало. Вот тебе и дорогая порода!

Яблонева аллея вдруг предстала его воображению залитой дождем, с намокшими плодами; собрать их мокрыми — значит сгноить!

— Что же я стою-то?.. Надо завтра же с зари убирать, и то урожай загубим! Медлить нельзя! Людей надо сзывать, людей! Будет, цопировали, расходись спать!

Завтра рано зазвоним на работу... Расходись! — одиноко бушевал он, ходко вышагивая по пыльной дороге.

Семен протолкался сквозь жарко дышавшую в сенях у порога толпу любопытных и, задыхаясь, вышел на середину комнаты.

— Ой! Какой гостенек-то пришел! — крикнул, поперхнувшись, дедушка и стащил за собой с лавки сидящего рядом старого Опенка. — Выпить председателю! Ублажить!.. Ах ты, господи!..

Стукаясь лысыми потными головами, дедушка Никодим Филиппыч и Опенко совали в руки Семену расплескивающийся стакан.

— Выкушай, батюшка!

Семен выбил стакан из их пьяных рук и крикнул соленым матросским басом:

— Здорово, приятели! А не пора ли, гости, до дому? А не надоели ли вам, гости, хозяева?..

Устинья дико ахнула от изумления и затопала навстречу председателю.

— Чего тебе? Мой дом, мои гости!.. Или за стол садись, или назад катись!

Семен решительно отмахнулся.

— Нет, пока на ногах останусь.

— Тогда нечего у людей время отнимать! — рассвирепела Устинья. — Играй! — Она снова затопала и яростно заиграла кулаками, словно это были голосистые бубенцы. — Играй, Борька, не слушай флотского... Играй!

— Помолчи! — и Семен простер руку.

— Флотска-ай! — рявкнула Устинья.

Но он молча отвел ее рукой, как колючую ветку на дороге.

— Товарищи, которые из бригад, ребята молодые, яблоко снимать надо! Барометр на ближайшее время показывает бурю, надо срочно урожай снимать, а то он погибнет! Сейчас первый час ночи, а утром ранехонько начнем звонить на работу. Обращаюсь к вашей совести, товарищи колхозники. Мы живем не в республике гулящей, а в трудящей... Предлагаю всем членам колхоза отправляться по домам.

— Флотска-ай, — завывала Устинья, — обалдел ты вовсе!.. В чужом-то дому?

Устинья, вдруг разъяренно засверкав глазами, пошла

на Семена, как на смертельного врага, с которым наконец-то добилась вожаделенной схватки.

— Катись отсюдова! Душу ты мне вымотал, дьявол!.. Гости, завтра утречком на подогрев пожалуйте... Ефим, Ефим, муж богоданный... приглашай гостей, навеличивай... Ну? Чего ты молчишь, шестипалый!.. Связалась я с дураком, головушка бедная... За мужнишкину башку извинения прошу, гости дорогие!

Но бушевала она уже от бессилия. Драки с Семеном не вышло: он усмехнулся, сложил на груди руки и глянул на нее, как на зверя, лишенного зубов и когтей. Тогда она привычно взялась за мужа и вдруг, заметавшись, с ужасом убедилась, что муж не торопится на ее зов.

— Ефимка!.. — выкрикнула она, задохнувшись от неожиданного и тяжкого изумления. — Приглашай гостей-то, потчуй, кланяйся...

Но это был не приказ, а скорее крик о помощи.

— Нет, ты стой, — незнакомо сказал муж. — Нет, ты стой, неправильно это выходит...

Сейчас пронзительный голос жены не вызвал в нем обычной оторопи и желания поскорей угодить ей. Напротив, в первую минуту Ефим был поражен: как могла она, жена его, произносить сейчас такие слова, которые шли вразрез с недавно и впервые в жизни приобретенным им у людей уважением? Она не знала, что он заключил договор на соревнование с Петрей Радушевым, что в таком важном деле стыдно лицом в грязь ударить. А для нее это ничуть не важно; больше того: эта женщина будет рада его сраму — ведь он только «мужнишка». Он от нее ни разу спасибо не слышал, а надо бы: от большой любви он не побрезговал, взял ее сразу с приплодом, спас ее от позора и вот что он получил за это? Она всю жизнь шла коренником, держала его в черном теле, прославила его за дурака и неумеху. А сама — ленивая, раздобревшая на его труде, тупая, да еще и пьющая баба. Ефим вдруг понял, что поддаться ей сейчас и изменить Семену, который совершенно прав в своей заботе, — значит потерять уважение людей, которого ему так не хватало всю жизнь.

— Нет, — сказал Ефим, уже выйдя из-за стола, — гостей на подогрев звать не придется. Ежели мы обещали насчет работы и подписку дали, значит, надо по чести слово свое держать. Утром на работу выйти рано, — ведь

урожай нужно спасать, граждане-товарищи!.. Да и верно, соседи, поздно уж — аж скулы сводит...

И Ефим вдруг зевнул смачно, во весь рот, без зазрения совести.

— Бессовестный! — только и нашлась Устинья.

Как весенняя льдина, на глазах у нее крошилась и уплывала в темную даль многолетняя ее власть над Ефимом.

— А уж вам, молодые люди, и подавно пора по домам — на вас же первая надежда! — решительным голосом сказал Ефим и, указав на Валою и Николая, добавил: — Да вот жених и невеста у нас... уже приустиали...

Он хотел было пошутить, как полагается на свадьбах, но Валя поняла его по-своему:

— Я, дядя Ефим, завтра со всей охотой пойду...

Она предчувствовала тяжелую ночь с ревнивыми упреками мужа. Избавиться от этого ужасного унижения не было никакой возможности, но зато потом было где скрыться от стыда за неудачное начало самостоятельной жизни: в бригаде некогда зря чесать языки и пялить глаза на чужие дела. Поэтому сейчас Валя, кроме всегдашнего уважения к Семену, остро и горько ощущала, как независим председатель от всей этой праздничной суеты и скрывающихся за ней домашних бед и происшествий, от которых в один вечер можно состариться на десять лет. Так именно, считала она, произошло и с ней. Она уже устала думать о своей непонятной вине, а еще больше устала пугаться мужнина лица: оно мученически искажалось, как будто на него капали горячим воском.

И как к единственному прибежищу, Валя потянулась к Семену и ко всему тому, что стояло за ним.

— Семен Петрович, не беспокойтесь! Я буду на месте к сроку. Даже обязательно буду! — Набравшись духу, она, от волнения не узнавая знакомых лиц сверстников, обвела дрожащей рукой весь притихший круг. — Да и они вон все, думаю, тоже постараются... вместе ведь все работаем.

Среди молодежи прошел шумок: от виновницы торжества такой решимости не ожидали, и спорить тут не пришлось.

— Верно, Валя! — благодарно крикнул Володя Наркизов. — Айда, ребята, сматывайся!.. Завтра, нет, вернее, сегодня через три часа, мы уже выйдем на работу.

— А ну, бригада, становись в строй! — скомандовал Володя и вышел во главе своей бригады, через расступившихся гостей, на улицу.

Впервые Устинья Колпина так рассталась с гостями — без зазывания на будущее, без благодарности за хлеб-соль.

«Как табун, ускакали...» — подумала она, не пытаясь задержать их и уже ни на что не надеясь. Слава ее «бой-бабы», власть ее над Ефимом пали у всех на глазах, как старая крепость от пушечного выстрела.

Устинья вспомнила про квашню, приготовленную для утреннего торжества (пропадет, хоть собакам брось!), вспомнила про былую власть свою, так бесславно утерянную, и, сев на пол, заревела густым обиженным басом. И вдруг бабий потешный бас перешел в глубокий стонущий вздох и вынесся за окно, в черноту ночи, как погребальный вопль о невозвратном — то загудел баян отходную.

«Перепутались дороженьки, тропинки затерялись...» — с печальным вздохом пропел Шмалев.

Пьяная кума, которую волок домой муж, не выдержала и с пронзительной слезой подхватила: «Нету мне, младешеньке, пути-и...»

Устинья вскочила на ноги, точно чудом набравшись силы, с размаху обнялась с кумой и заголосила:

— Голова моя закружилась, распроклятая моя жи-исть...

Привалясь к стене, под стоны баяна, обе были, как по покойнику, а гости, оглядываясь на них, уходили замедленной поступью, как будто и в самом деле только что приложились к чьему-то желтому лику, покинувшему веселую землю.

Семен резко рванулся вперед, точно это его, по роковой ошибке, оплакивали, точно по нем причитали.

— Стойте! Зачем покойницкие песни поете?.. Ефим, уйми жену-то!.. Тише, говорю, тише! Ты!.. — Он шагнул к баяну, как к живому враждебному существу, и занес над ним набухший железом кулак. — Молчать! Ты... ехидна!

Шмалев извернулся и, словно родное детище, плечом защитил баян.

— Что ж! Бей меня, начальство, бей!.. Тебе полагается по чину!

Семен опустил руку, поняв, что опять не сдержался, но произнес твердо и гневно:

— Ты что... провокацию устраиваешь, людей расхолаживаешь, бодрость в людях угашаешь!.. Немедленно прекратить это вытье!

— Уже! Прекратил! — скрипнул зубами Шмалев и резко, с каким-то привизгом закрыл свой баян.

— А зачем играл? — спросил Семен, и загорелые скулы его так заиграли от ненависти, что Шура тихонько дернула его за рукав, шепнув:

— Опомнись!

— Я спрашиваю, зачем как по покойнику заиграл? — с глухим кипеньем в голосе настаивал Семен.

— И спрашивать нечего, — страдальчески морщась, сказал Шмалев. — Ой, как же ты меня напугал, председатель! Я просто хотел для потехи на прощанье вроде марша сыграть... Пусть под музыку домой уходят...

— Подлая твоя музыка!.. Всюду она словно камень под ноги подвертывается... и нет больше моего терпенья!.. Только еще раз осмелюсь провокации свои устраивать, исключим тебя из колхоза, как злостного срывщика дисциплины! — и Семен, побледнев и сжав кулаки, быстро вышел из комнаты.

Шуре было досадно, что сейчас, в новой стычке со Шмалевым, Семен не сдержался: правота Коврина была так очевидна, что и спорщиков против него не нашлось.

«Ох, да ведь это еще и из-за меня он не смог сдержаться. Ревность закипела... Ну не чудак ли ты, Семен, мой милый!» — взволнованно подумала Шура. Ей стало так жаль Семена, что, забыв попрощаться с хозяевами, она выбежала на крыльцо, чтобы догнать Семена и успокоить его. Но едва она распахнула калитку на улицу, как кто-то стал ей на дороге.

— Защитите хоть вы меня, Александра Трофимовна! — жалобно сказал покорный и грустный голос Шмалева.

— Экой ты несуразный! — досадливо вздохнула Шура, поняв, что ей уже не догнать Семена. — Зачем полез на рожон, зачем заиграл несусветно что — и в самое неподходящее время?.. Ведь ты же видел, что люди, даже сильно подвыпившие, поняли: надо, мол, урожай спасать... а ты совсем несуразно музыку свою завел... вот и вышло нехорошо!

— Всего хуже для меня, Александра Трофимовна! — смиренно произнес Шмалев. — Сами слышали, что председатель обещал выгнать меня из колхоза...

— Он сказал «исключить»... — с досадой поправила Шура. Ей так хотелось идти сейчас рядом с Семеном, а этот парень с баяном помешал ей. Никогда еще не казался он Шуре таким чужим и ненужным, как сейчас.

— Подумайте, Александра Трофимовна, куда денусь я, бывший батрак, выгнанный с позором из колхоза? Куда я пойду, что я людям скажу? — продолжал Шмалев тихим и скорбным голосом, заставляя слушать себя. — Неосмотрительно я поступил, понимаю... Я себя, дурня, ругаю за это! Видно, что характер у меня не образовался и мне же самому вредит... Но, господи боже, кто меня, батрачонка, учил, кому я был нужен? Батрака работой мучат, а за вихры учат...

— Ну... знаю я про все это, — уже мягче сказала Шура. — Моя доля такой же была, и незачем рассказывать мне и задерживать меня, да и поздно уже...

— Господи, да осмелюсь ли я задерживать вас, Александра Трофимовна, ради того только, чтобы вы меня выслушивали? — все так же скорбно продолжал Шмалев, неслышно шагая рядом («словно тени!» — подумалось Шуре) и робко заглядывая ей в лицо. Пожалуй, никогда не доводилось Шуре видеть этого самоуверенного и ловкого парня таким покорным и жалким.

— У меня к вам нижайшая просьба: помогите мне вину мою загладить, работой загладить... Я же молодой, мне всего двадцать четвертый... мне ума копить и копить надо... Сделайте милость, Александра Трофимовна, возьмите меня в вашу бригаду!.. Сердце у вас доброе, вы горе людское понимаете... вы поверите мне... Потому-то я к вам и припадаю... Господи, вы сами знаете, что есть в колхозе у нас люди, которые придираются ко мне, завидуют, что я на баяне играю и песни пою... Им оскорбить меня, молодого, ничего не стоит... А вы оскорблять меня и несправедливо придираться не станете... Вот я и прошусь, возьмите меня в вашу бригаду, под ваше начальство. Я сам в ножки поклонюсь, — и Борис Шмалев вдруг быстро, как в танце, упал перед Шурой на одно колено и чуть не до земли склонил свою виноватую голову.

— Ты с ума сошел! — испугалась она. — Я тебе не икона, чтобы в ногах у меня валяться! Вставай, вставай...

наказание с тобой, право!.. Ладно, возьму тебя к себе в бригаду, только работать старайся... и чтоб мне за тебя стыдиться не пришлось...

— Вот спасибо, спасибо! Господи... да разве я... да разве такое возможно... — бурно встрепенулся Шмалев, пытаясь схватить руку Шуры, но она пошла быстрее, бросив на ходу:

— Да не благодари ты, пожалуйста, не кланяйся... чудной ты стал какой-то..

У поворота в переулок, где она жила, Шура оглянулась, Шмалев стоял на дороге и смотрел ей вслед; баян, как диковинный четырехугольный горб, чернел у его плеча, и было в этом молчании что-то притаившееся и незнакомое.

— Да ну тебя! — прошептала Шура и пошла к дому, чем-то недовольная и даже смутно встревоженная.

«А... да я просто устала... Скорее спать, спать...» — наконец решила она.

Николай с женой не спали. Молодая сидела на постели, закрыв лицо руками. Ее коротенькая густая коса растрепалась по белой спине, а голые круглые колени стыдливо дрожали под рубашкой.

— Что у тебя со Шмалевым было? — мрачно допрашивал Николай.

— Ничего не было...

— Как же, поверю я... Если не было, так кто он тебе... кто?

— Н-никто...

— А зачем на него так жалостно глядела, зачем своей рукой вино ему подносила?... И опять ты врешь. Срам-то какой:

— Не вру, Николай Иванович, вот ей-богу же! — проговорила она жаркими, вспухшими от слез губами и, перекрестившись, закрыла ладонями мерзнувшую от стыда грудь.

— Может статься, где-нибудь встречались вместе... баловались прежде, по молодости лет. А? Говори, не стесняйся! Я ведь тебе не чужой. Ну?

Он даже готов был простить ей какую-либо мелкую, нестрашную вину, хотя бы и выдуманную. Но придумать Валя ничего не могла и не сумела бы сейчас рассказать

про бескорыстную и умиленную радость созерцания чужой сверкающей жизни, радость, которой в недавнем прошлом питалась ее голодная мечта, а сегодня и гордость.

Она привыкла с благоговейной скупостью охранять свое невесомое и невидимое глазом сокровище. Оно сияло в ней, подобно нарядным, украшенным фольгой и цветными стекляшками вазочкам из картона (в теткинском шкафу), которые не удержали бы в себе и ложки воды.

Николай все не отставал, готовый принять любую выдумку, которая вернула бы равновесие его взбаламученной душе.

— Бывает ведь, балуется молодежь... До главного не дойдет, а друг дружку смутить могут... Было такое с тобой?

— Такого не было, — сказала она, вздохнув.

— Тогда зачем ему вино подносила? — простонал Николай. Он тут же с болью подумал, что он — муж и по всем правилам руководитель этой неопытной молоденькой женщины — уже не в первый раз, как к запертой двери, возвращается сегодня к одному и тому же: если ничего не было, так почему же так обласкан был его женой баянист?

Погоня за тайной утомила Николая. Не имея сил сдержать обиды и весь дрожа, он ударил жену ладонью по белой спине.

— Так кто ж ты ему?

— Никто, Николай Иванович, — отвечала она, покорно опустив плечи, и тут же сама тихо ужаснулась пустоте, которая разверзлась перед ней: действительно, для Бориса Шмалева она — никто.

— Вот и дождалась... — пробормотал Николай, потрясенный тем, что он сейчас сделал. — Не надо уж так... бож-же ты мой!

Валя, тихо плача, открыла дверь.

— Куда ты? — встревожился Николай.

— На крылечко... посижу маленько, — отвечала она сдавленным шепотом, накидывая на себя платье.

Из-под крылечка, из-за распахнутой калитки вспорхнули шепотки и смех. Юркая тень, другая, третья перемахнули через плетень, четвертая, пятая вынеслись на улицу, топоча по сонной дороге — то, следуя старинному

обычаю, озоровала молодежь, испытывая подслушиванием свою холостяцкую и девичью судьбу.

— Ай, колхозник молодую жену учил! — крикнул под «Камаринскую» чей-то разбойно веселый голос и сгинул в ночи.

— Бессовестные, — сказала Валя устало, как обремененная годами женщина.

— А, милая новобрачная! — проговорил знакомый насмешливый голос. Белая кепка Баратова закачалась цветком в полумгле. — Что вы тут поделываете?.. Да вы никак плачете? Ай-ай!

— Бывает, — вздохнула Валя.

— А не следует, — с наставительной веселостью продолжал Баратов, — не следует. Жизнь у вас впереди. Ну и плохо, если соседи еще узнают...

— Да и так уж все знают, — возразила она с унылым спокойствием и, боясь, что услышит муж, торопливо добавила: — А вы подите, подите... Мы уж сами как-нибудь... сами...

— Помилуйте, разве я настаиваю! — обиженно и надменно вспыхнул Баратов, но Валя не слыхала его.

Недавняя блаженная минута гордости своей жизни, казалось, улетела в безвозвратную даль, оставив вместо себя леденящую пустоту в груди и во всем теле. Валя смотрела вверх, в небо. Луна уже скрылась за облаком, и небо показалось Вале черным, замкнутым, а редкие звезды, казалось, тускло поблескивали, как шляпки гвоздей, вбитых в крышку сундука, да и мир казался глухим холодным сундуком, где она может изреветься от тоски — и никто этого не услышит. Она вспомнила покойную мать, хроменькую хлопотунью, ее ласковые руки и почувствовала себя еще беспомощнее.

Валя не слыхала, как подошел сюда Николай. Он накрыл ее плечи толстой шалью, праздничной шалью его первой жены.

— Застынешь вся, — сказал он, неловко кашляя. — И то, шла бы домой, к утру не выспишься.

Он чувствовал невинность жены, но от напрасных усилий разорвать ее молчание, а больше всего от безобразного своего поступка с ней — в сердце его кипели горечь, стыд и злоба к Борису Шмалеву, как к тайному поджигателю его первой ссоры с женой.

«Погоди ты, веселый да гладкий, погоди... Я вот те-

бе!» — думал Николай, уводя озябшую жену обратно домой. Но что именно может он сделать Борису Шмалеву, он и сам не знал.

— Что с тобой? — спросил он, услышав прерывистый и печальный вздох жены.

— Просмеют меня завтра которые, Николай Иванович.

— Пусть только попробуют! — сказал он, скрипнув зубами и с силой вытянув большой жилистый кулак. — Пусть только рот откроют!

— Ах ты, девчонка! — бормотал раздосадованный Баратов. — Однако эта фламандочка с норовом... Грубиянка ты, голубушка моя!

Рано на рассвете начали сбор, — яблоко просилось на землю.

Выбрав минутку, Семен поймал Никишева и возбужденно зашептал:

— А ведь сушилка-то наша уже в дороге! Вот получил письмо от наших заводских шефов. Поеду за ней на станцию сам, на нашу ветку ее, голубушку, перегружу.

— Ну, желаю тебе удачи, Семен Петрович.

— А как здорово-то получилось, что мы загодя сарай для сушилки нашей построили! — с просветленным лицом продолжал Семен. — Как привезем, так сразу и поставим ее, голубушку!

Едва Никишев распрощался с Семеном, как встретил Шуру. Она озабоченно попросила Никишева посоветовать, как точнее заполнять новые, накануне розданные Петрей, ведомости бригадиров.

— Другие бригады тоже затрудняются, — продолжала Шура, поглядывая на лист с написанными на нем фамилиями.

— Пожалуйста, располагайте мною, Александра Трофимовна.

— Спасибо, Андрей Матвееч... Вот тут, внизу, мне самой придется написать еще одну фамилию, — с некоторым смущением добавила Шура и рассказала о недавнем случае со Шмалевым.

— Да-а... он очень настойчив, — заметил Никишев.

Шура растерянно посмотрела на него.

— По-вашему, Андрей Матвееч, я... вроде неправильно сделала?

— Что вы, Александра Трофимовна, как же я заранее могу считать ваше решение неправильным? Но, скажите, новый член вашей бригады уже на месте?

— Да, вместе со всеми пришел. Однако теперь у меня еще и другая забота.

Оказалось, бригадиром Шура стала только со вчерашнего дня, хотя обычно, по заведенному порядку, она, как трактористка, не должна была себя связывать руководством бригадой. Но сегодня день исключительный: Семен Коврин поехал на станцию за сушилкой, а Петря Радусhev, возглавляя целый транспорт из четырех подвод с яблоками и овощами, повез их, по договоренности с рабочими-шефами, для столовой и кооперации строителей Тракторостроя. Готовясь к поездке, Радусhev попросил Шуру, пока он будет отсутствовать, руководить его бригадой. Приняв в бригаду Шмалева, она не успела согласовать этого с Радусhevым, а надо бы — ведь Петря временами даже просто не выносит Шмалева, считая его лентяем и легкомысленным человеком. Эти мысли, правда, пришли в голову Шуре после того, как она обещала Шмалеvu взять его в бригаду, доверившись его раскаянию.

— Как вспомню, что кто-нибудь от батрацкой горькой доли страдал, так и тянет меня ему помочь... Вот и этому помогла. Но как Петря на это посмотрит, — может, изругает меня?

— Ну, зачем вам лишние догадки строить? — успокоил Шуру Никишев. — Может быть, после вчерашнего предупреждения Семена Петровича Шмалев возьмется за ум и будет работать добросовестно.

Прошло всего несколько минут после начала сбора, как Шуре стало известно, что вчерашняя свадьба наделала шума. И молодежь и люди постарше переговаривались насчет вчерашнего, прерванного приходом Семена свадебного веселья, насчет «посрамления» Устиньи Колпиной в ее же собственном доме, а больше всего — насчет «происшествия с молодыми»: уж не так-то часто случается, чтобы молодожен в первую же ночь ударил из ревности свою молоденькую жену!.. И кто оказался причиной этой ревности? Шмалев, «девичий пересмешник», «игрец да певец, ловкий молодец», «гладкий да хваткий» человек, который «от дела не бегаёт, а дела не делает». Шуре приходилось и раньше слушать эти бойкие прозвища Шмалева, но она не старалась их запоминать, зная,

что многие завидовали этому видному парню, а сколько девушек заглядывалось на него! Но он, второй год живя в колхозе, невесты себе не приглядел, хотя и зубоскалил с каждой мало-мальски миловидной девушкой. «Я себе цену знаю», — хвастливо открылся он однажды в разговоре с Шурой. Она тоже знала ему цену, хотя и с удовольствием слушала его песни под баян. Легко было догадаться, что с ней, первой трактористкой, Шмалев не прочь бы погулять и сблизиться, но она каждый раз решительно отбрасывала от себя его ловкие и ласковые руки и обрывала его речи о любви. Она была старше его на четыре года и, кроме того, казалась самой себе так много перенесшей горя и обид, что эта накипь горечи, против ее воли, приглушала в ней краски молодости. Оттого, казалось Шуре, и взгляд, и смех, и выражение лица у ней старше, чем у других молодых женщин.

Больше десяти лет (после того как еще девчонкой ее обманули) она «соблюдала» себя. Ей были противны покладистые девушки, с которыми можно было безнаказанно гулять и забавляться, — и она, не стесняясь, показывала им свое презрение. Она издевалась и над простаками, которые мечтали «воспользоваться» ее одиночеством и не понимали того, что ей «не всякий нужен». Шура много достигла за эти годы. Она считала себя достойной того, чтобы ее ответа на любовь добивались, как чести — да, да, именно так!

Если у ней и щемило сердце от песен и переливов баяна, так это происходило именно от того кипенья души, о которой она рассказывала недавно московским гостям. Ей представлялось, что и Шмалев, хотя и меньше чем она, но тоже хлебнувший горькой батрацкой доли, переживает похожий на ее собственный подъем всех душевных сил. Что говорить, ее сочувствие этой доле, пожалуй, как говорится, ее слабое место — тут она сразу готова всему поверить и поддержать человека. Потому она, по совести, поддержала просьбу Шмалева. А вот нужно ли было поддерживать? Уж так ли хорошо знает она Шмалева, все ли она взвесила, принимая его в бригаду, доверенную ей на короткое время Петрей Радусевым?

Все эти мысли, нахлынув на нее именно сегодня, так и остались в сознании, все более тревожа ее тем, что она, недодумав всерьез и не взвесив всех обстоятельств, поддержала просьбу Шмалева.

«Происшествие с молодоженами» Николаем и Валей Самохиными, возможно, перестало бы занимать соседское любопытство, если бы оно касалось только мужа и жены. Да и, кстати, Самохины вместе со всеми ранехонько пришли на работу: Валя — в бригаду Наркизова, а Николай, как и обычно, выполнял свои обязанности подвозчика и весовщика. Но молодежь, подглядевшая оконную щелку первую супружескую драму, по всему селу разнесла разгадку происшествия: бедной Вальке попало от мужа из-за Шмалева. Как бывает в таких случаях, не обошлось без добавок и отсебятины. В одном месте до слуха Шуры долетали обрывки чьих-то рассказов, что «эта Валька с телячьими глазищами» хотела убежать со Шмалевым от свадьбы с бородатым Николой Самохиным, — оттого-то Устинья Колпина и заторопилась поскорее «окрутить» свою племянницу. В другом месте кто-то мрачно утверждал, что слышал «как бог свят своими ушами», что Николай грозился убить Шмалева, а тот предложил ему «сражаться на саблях при всем народе» в ближайшее воскресенье: кто переборет, тому Валентина и достанется. Доносились до слуха Шуры и другие рассказы, шутки и прибаутки, с которыми любители почесать языки приступали к самому Шмалеву. Сначала Шура понадеялась, что это приставанье скоро надоеет Шмалеву, что он, наконец, оборвет шутников. Но Шмалеву, напротив, нравилось обращать на себя внимание. Словно все больше раззадориваясь, он находчиво отвечал на обращенные к нему шутки, возбуждая всеобщий смех и сам всех задирая.

Шура хмурилась и сердито посматривала на неуместное веселье порученной ей бригады. Некоторые люди средних лет прекращали смех, но те, что помоложе, все еще не могли угомониться. Стоило Шмалеву сказать слово, как под яблонями опять поднимался дружный хохот.

Не однажды Шура грозно поглядывала на Шмалева, но он как бы не замечал ее возмущенного недовольства и мельком улыбался ей с лукавой безмятежностью, которая, казалось, говорила: о чем беспокоиться, все идет как следует.

Не пришлось Шуре долго наблюдать за ним, чтобы убедиться: от скорбного смирения его в ночном разговоре и следа не осталось. Теперь он держался развязно,

явно любуясь собою и впечатлением, которое производили его находчивые ответы и шутки. Однажды он снисходительно выразился о Шуре «наш временный бригадир», потом дважды назвал ее Шурочкой — и наконец, якобы утихомиривая смех и шутки, стал, кивая в ее сторону, явно передразнивать недовольное выражение ее лица.

На некоторое время Шура, растерявшись от этой неожиданной и резкой перемены в поведении Шмалева, не нашла, как восстановить порядок в бригаде.

— Ой! Батюшки! — вдруг со смехом закричал Шмалев, запнувшись обо что-то. В траве раздался треск.

— Что такое? — сердито спросила Шура.

— Плодосъем сломал, — беспечно ответил Шмалев.. — Э... да второй плодосъем тоже повредился... вот так штука.

Шура выхватила из рук Шмалева сломанные палки, и накопившееся в ней раздражение наконец вырвалось наружу.

— Ты что, Шмалев... издеваешься над людьми или спятил? Мало того, что дисциплину нарушаешь, так еще и два плодосъема сломал, когда у нас в них и без того нехватка!.. Ты как чертополох за всех цепляешься, все портишь, людям работать мешаешь! Разве я тебя в бригаду звала? Если ты сюда к нам напросился, так работай как честный... и довольно языком трепать, работать надо... А не будешь работать, уходи сейчас же из бригады!

Шмалев оглядел всех большими, недоумевающими глазами.

— По-ду-май-те-е... — протянул он. — «Уходи»... А зачем же тогда меня принимали, Шурочка?

— Я тебе не Шурочка, а Александра Трофимовна, я за бригадира здесь, — резко оборвала Шура и отошла, вдруг чего-то испугавшись.

«Ох, вздорный это парень... может, его даже опасаться надо было, а не жалеть... — сердясь на свою доверчивость, думала Шура. — Как бы он еще чего не натворил».

Прошло несколько минут, и Шура должна была отметить про себя, что порядок в бригаде еще сильнее пошатнулся из-за нехватки плодосъемов, которые сборщики начали таскать друг у друга. Яблони на этом участке были старые и высокие, обильно осыпанные крупными

румяными яблоками. В добавление к поломкам под одним сборщиком, грузным и неуклюжим, подломилась ветхая лестница. Осталось две лестницы на четыре могучих дерева, отягощенных плодами.

Шура побежала к соседним бригадам, где ей ничем не могли помочь — везде неоставало лестниц и плодосъемов.

-- Александра Трофимовна! — звал кто-то из-под пышных кущ. — Опять у меня плодосъем стащили!

Шура кидалась туда на срочную расправу.

— Кто взял? Зачем? Разве тебе плодосъем нужен?

— Да яблоко вон как высоко.

— Врешь! С лестницы до этого как раз дотянешься! Да и руками нежнее с ним обойдешься!

Она снимала яблоки, чутко, как лань, оглядываясь и слушая, что делается вокруг.

— Эх, Шурочка, дорогая, — с насмешливой мольбой бросил Шмалев и обернул к ней лукавое лицо. — Охота тебе на эту зелень сердце тратить!

— Мне бригада доверена. Не болтай, Шмалев.

— Все равно этих озорников не переделаешь. Ты с ними нянчишься, а они тебя же и высмеивают.

— С чего ж это, если я правильно требую... И буду требовать!

— Можешь и не добавлять... Я знаю, как у нас стервенеют на работе, прямо съесть друг дружку готовы... Брр... жутко!

Шура занесла было ногу на лестницу, приставленную к дереву, но подалась назад.

— Это к чему ж ты так выразился?

— Ну, ну... пошутить нельзя!

— Ты всегда так... Тебе шутка, а человеку, как игла под кожу. А у меня работа по доверию, по чести... Помнить бы тебе надо об этих делах.

Через несколько минут раздались крики под самой большой яблоней, ветки которой с южной стороны нависали над откосом берега, круто спускающегося к Пологе.

— Что опять случилось? — испугалась Шура.

— Господи боже, какое же невезенье! — шумно вздохнул, разводя руками, Шмалев. — Две большущие корзины с берега, вместе с землей, так и рухнули вниз!..

— Что же вы смотрите все! — отчаянно крикнула

Шура. — Спасать же надо яблоки, а то их волной в реку смое!..

— Подумаешь, что спасать... — лениво промолвил Шмалев. — Я понимаю, упал бы в воду человек, а то... какие-то паршивые яблоки...

— Да это же самые дорогие наши сорта... и, смотрите, сколько пудов этих прекрасных яблок внизу на песке валяется!.. А труда человеческого сколько на них затрачено... и все это бросить? Ты просто очумел, Шмалев!.. Нечего тебе увертываться, беги скорей вниз и — собрать все до последнего яблочка!

Шура, первая, птицей слетела вниз. Охапками и, не лентясь, по одному начала собирать раскатившиеся во все стороны по берегу яблоки.

— А и зла ты сегодня на меня, Александра Трофимовна, — слышался над ухом Шуры тихий, напряженный голос Шмалева. Он неторопливо собирал яблоки рядом с ней. — Ты сегодня сплошь нападаешь на меня... А я не люблю, чтобы мной этак помыкали...

— Нечего врать! — прервала Шура, отирая горячий пот с лица. — Я за колхозное добро душой болею, мне честь бригады доверена... Нам бы сейчас яблоню обирать, а мы вот с песка яблоки поднимаем, двойную работу делаем... И кто, кто это, подлый, корзины на самый сыпучий край поставил, чтобы все вниз рухнуло!

— Я во всяком случае не знаю, — злобно подчеркивая каждое слово, громко сказал Шмалев, — кто этими проклятыми корзинами так распорядился... и нечего мне ими глаза колоты!.. А я оскорблений и униженья гордости моей никому не спущу... ни мужчине, ни женщине ни за что не спущу!

Шура бегло взглянула в его сторону — и еле удержалась, чтобы не податься назад от внезапного испуга: из-под опущенных век Шмалева на нее будто полоснуло раскаленно-острым взглядом ненависти и злобы, ненависти именно к ней, — за ее сочувствие бывшему батраку!..

«Вот он какой, оказывается! — пораженно подумала Шура. — Это он, значит, за свои поклоны и просьбу передо мной... и за строгие слова Семена... вот как он нам обоим в отместку все делает!..»

Но тут же Шура, быстро оправившись и будто ничего не заметив, холодно сказала Шмалеву:

— Лениво работаешь. Смотри, вон у самой воды сколько еще яблок валяется... Поди туда.

Он молча поднялся и пошел в ту сторону. А Шура перешла поближе к кустам у подошвы берегового обрыва, где тоже всюду краснели яблоки, упавшие глубоко в песок и между сплетшимися стволами кустов. Царапая себе руки, шею и обливаясь потом, Шура собирала яблоки и все время думала, что не было никогда такого несчастного дня за все годы ее уже самостоятельной трудовой жизни.

— Здорово попадает тебе от бригадира, Шмалев! — насмешливо произнес голос одного из молодых сборщиков бригады. — Видно, и тебе, баянист, довелось виноватым быть!

— Кабы только я в самом деле виноват был! — зло и бойко ответил Шмалев. — А то ведь все зря... из ревности!.. Ну да, да? Чего глаза таращишь, сосунок?... Меня все бабы к друг дружке ревнуют, одна от другой меня так рвут, что и жениться не дают!.. Я на Вальку еле-еле взглянул, а эта... Шура меня и приревновала... вот и придирается ко мне...

— Ну... уж это ты вроде напрасно... — посомневался голос. — Александра у нас женщина работающая, уважаемая...

— Такая же, как и все! — с коротким презрительным смешком бросил Шмалев. — Еще девчонкой валандалась с кем-то, ребенка незаконного имела... Такая же, как и все... Поиграй ей на баяне да спой над ухом... так сразу размякнет, на все пойдет... да только мне она, ей-ей, не нужна!..

Закрытая кустами Шура замерла на месте, словно раздавленная оскорблением, какого ей еще никто не наносил. Этот человек, будто злым чудом заменивший собой привычный ласково-лукавый облик колхозного баяниста, отомстил за все: за ее простодушие и откровенность с ним, за сладкую тоску ее сердца, жаждущего счастья и широты жизни, за ее сочувствие и доброжелательство к бывшему батрачонку. Невероятно и дико было бы даже хоть однажды подумать, что за это можно мстить, оскорблять и позорить имя честной женщины!.. Но это было так, и глубокая нравственная боль этого унижительного оскорбления, нанесенного грубой и беспощадной рукой, ныла и пылала не только в душе Шуры,

но чудилась в каждой капле крови, в каждом толчке ее сердца.

Пока сборщики бригады перебирали собранные яблоки на теплой от солнца траве, а потом, обтертые и обсохшие, сложили обратно в корзины, Шура спокойно распоряжалась и делала все сноровисто и быстро, удивляясь про себя: откуда у нее берутся силы?

С главной аллеи донеслось знакомое поскрипывание колес и густой голос Николая Самохина:

— Кому транспорт надобен?

— Сюда, сюда! — торопливо позвала Шура.

Увидев Николая Самохина с его вместительной ручной тележкой, Шура вспомнила, что она только раз требовала тележку, так как в этом не было надобности.

Принимая корзины, Самохин заглянул в лицо Шуры и слегка попятился.

— Голубушка... — шепнул он, — что с тобой? Заболела, что ли?

— Просто устала...

— И то... Ныне вон как парит, воздух тяжкий — видно, гроза соберется к ночи...

Следом за Николаем Самохиным на дороге показался Никишев. Он шел, помахивая сероватым листом бригадирской ведомости.

— Вот ваша ведомость, Александра Трофимовна... Вы забыли ее у меня.

— Вот спасибо... — постаралась улыбнуться Шура.

Но Никишев, испытующе взглянув на нее, уверенно произнес:

— У вас что-то случилось...

— Несчастный день выдался... хуже и не придумаешь... — тихонько ответила Шура.

— Да что такое? — встревожился Андрей Матвеич.

— Потом скажу... — будто закипевшим от сдерживаемой боли, тихим голосом ответила Шура.

«Что-то очень тяжелое произошло с ней», — еще увереннее подумал Никишев и спросил другим, спокойно-деловым тоном:

— Может быть, у вас, Александра Трофимовна, еще окажутся вопросы насчет заполнения этой ведомости? Дело-то ведь новое. Вот, например, здесь, посмотрите, есть графа: «Замечания бригадира о качестве работы всей бригады и отдельных ее членов»...

— Качество работы... — повторила Шура, и глаза ее растерянно заморгали. — А если качество плохое?

— Так и нужно записать, — посоветовал Никишев. — А при этом необходимо пояснить, кто именно плохо, нерадиво работал...

— И верно ведь, — подхватила она, удивленно поднимая брови. — Значит, так и сделаю!

— Так-с, — протянул Шмалев и вслух усмехнулся. — Слушаю я ваши советы, московский гость, и думаю... как это быстрехонько вы превзошли наши колхозные порядки!.. У нас ведь, хоть все жилы из себя вытяни на работе, бригадир все равно проверять начнет, — не осталось ли где еще жилочки, — которую можно напоследок в ниточку вытянуть...

— У кого-кого, а у тебя, Шмалев, все жилы целехоньки, — жестко заметила Шура и, забравшись на лестницу, молча начала снимать яблоки.

«Похоже, затишье перед бурей», — подумал Никишев.

Ефима Колпина, который тоже просил зайти и «почитать насчет ведомости», Никишев застал у нагруженной тележки. Быстро роясь шестипалой рукой в корзине, Ефим говорил расстроенным голосом:

— Глядите, ребята! Это яблоко вот не только с веточкой, но даже с древесной корой сдернули... В уме вы или нет?

— Кора не шелк, — бойко кинула худенькая тонкогубая девушка.

— Бери дороже, на ней гнезда плодовые! — пригрозил Ефим.

— А ты, малина-ягода, что делаешь? — обратился он к краснощекой и высокой девушке. — Яблоко вместе с плодовой веточкой рвешь! На будущий год тут, как пить дать, яблока не уродится... Вот какие дела, головушка!

— У кого-то она дурья, вовсе дурья голова! — раскатилась Устинья Колпина. Задержавшись в пути, она во весь голос выражала свое презрение старательному мужу. — Дери рот шире, авось начальство похвалит, подлипала ты несчастный!..

Горечь сожаления за так внезапно и легко утерянную власть, злоба на мужа, столько лет, по ее мнению, обма-

нывавшего ее своею робостью, обида, стыд перед людьми за свое унижение — все это не давало ей ни минуты покоя. Устинья всю ночь проплакала, помня только одно, что она — жертва и загубила свою жизнь с этим смешным нелюбимым человеком.

Увидя его сейчас взыскательным и оживленным, Устинья почувствовала, что она до краев кипит ненавистью к мужу, настолько крепкой и сладкой, что казалось — исчезни это сейчас, Устинье нечем будет жить на белом свете.

— Кого вы слушаетесь-то, ребята! Глупей себя в головные поставили... Ничего он не знает, дома и то десятая спица в колесе...

Устинья так и кипела мстью, жаждала униженья Ефима, стыда его и позора.

И вдруг все дружно ахнули: маленький Ефим, ловко и молодо подскочив, сжал пальцами Устиньины губы, словно перед всеми несуразно разыгралась лошадь.

Устинья с визгом рванулась, еле удержавшись на ногах, и, как безумная, заплевалась во все стороны.

Кругом хохотали. Улыбалась, проходя, Валя, упорхнувшая из ее дома сирота. Это был последний удар.

— Валька! — взревела Устинья. — Что ты делаешь, дрянь?.. Мать ведь в гробу перевернется!

Валя бросила в свою плетушку последнее яблоко и, бережно высыпая свой сбор в общую корзину наркизовской бригады, сказала с застенчивой строгостью:

— А ты бы не мешала людям, тетенька.

— Устинья Пална, что с тобой, матушка ты моя? — спросил смешливый, не сразу ею узнанный голос Шмалева.

— Ох, да ведь это ты, Борис Михалыч, — задыхнулась Устинья. — Вот спасибо!.. Где мой участок-то?

— С удовольствием отведу тебя, Устинья Пална, — сказал Шмалев и, усмехаясь, взял ее под руку. — Слышал, как тебя оскорбляли, и по-человечеству пожалел.

— Вот и спасибо, — бормотала Устинья, — спасибо тебе, Борис Михалыч... По гроб жизни спасибо!

— Чем богаты, Устинья Пална!

Шуру известили, что Шмалев исчез. Она только устало махнула рукой.

— От него больше вреда, чем толку.

Ее зоркие глаза давно уже заметили, что порученная

ей бригада безнадежно отстала по сдаче. Если даже успеть обснять все яблони на участке, все равно времени так много потеряно, что все первые места будут завоеваны другими. Шуре вспомнилось, как Петря Радушев вчера перед отъездом шутливо внушал ей: «Ну, Александра, куда ни шло, второе место займешь!» Вот тебе и второе место — какой позор!

На дорожке показался Шмалев. Он шел, закуривая на ходу, и синий дымок его папиросы празднично, как лента, вился вокруг его плавно помахивающей правой руки.

— А ты, вижу, разгулялся, — прозвучал ему навстречу жесткий и тугой голос. Николай, бородатый молодой человек, смотрел на Шмалева, возвышаясь над придорожными кустами своим массивным телом. — Александр, руководишь, ребят сказками морочишь. Легкая жизнь у вашего брата. Доберемся мы до вас!

Шмалев приостановился и сощурился.

— Старайся, мы не против. Негодны здесь, так сборы недолги: баян под мышку и пошел счастья искать... И... прощай, ангел, до свиданья...

— Дьявол гладкий! — сказал ему вслед Николай.

Он увидел Никишева и, точно винясь, проговорил опять обычным мягким своим басом:

— Поперек горла встал мне человек, а как перешибить, воля твоя, не знаю.

После обеда сборщики заторопились. За Пологой свинцевело небо, шел низом резкий прохладный ветер.

— Как бы буря не грянула, разрази ее! Сейчас сырьость для яблока — прямо смерть!

Даже капля дождя на глянцевитой янтарной коже вредила бы яблоку, как оспа. Оно должно было дозреть в лежке сухим, не тронутым ни прелью, ни пятнами, ни червем.

Еще до сумерек счетчики успели сдать в склад яблоки.

— Ефим, выходит, первым! — изумился Наркизов (он шел вторым).

Ефим же заразил всех нетерпением:

— А ну, высчитывай показатели. Неча их квасить, объявляй!

И на собрании перед складом Наркизов громко зачитал отличные показатели Ефима Колпина.

Петря Радушев подоспел почти к самому началу. Он стоял в широких дверях склада и покрасневшими от дорожной пыли глазами озира́л шумную толпу.

— Александра, здравствуй! — крикнул он, вытягивая жилистую шею и словно показывая всем, как приятно иметь дело с такой девушкой, как Шура. — Здорово, дорогая заместительница-бригадирша! Как дела?

Шура помахала ему, сially улыбнуться.

— Ну, ну, высчитывай, брат, скорей! — заторопил Петря Наркизова, а сам все смотрел на Шуру, не замечая ее опущенного взгляда. — Как-то мои инструкции выполнили? А ну, чем все-таки мы тебя, Ефим Колпин, побили?.. Да читай ты! — нетерпеливо подтолкнул он Наркизова.

— О чем читать-то? — хмуро спросил тот.

— Фу, тюлень! Об Александре Трофимовне читай.

— Да не знаю я, что тут читать, — откровенно сказал Володя.

— Что так? — рассердился Петря. — Читай об Александре!

— Да бригада у Александры Трофимовны сдала позже других, — вяло заговорил Наркизов, боясь взглянуть в сторону Шуры.

— А первым кто? — подозрительно спросил Радушев.

— Говорю, первым — Ефим Колпин, — смущенно повторил Володя Наркизов. — Второй моя бригада, третья...

— Ладно! — грубо прервал Петря и сгреб шапку на голове. — Очень вами тронуты, Александра Трофимовна... Удружили, благодарим!

— Бывает, — слабо ввернул Ефим.

— А ты расти, Ефимушка, расти! — и Петря ударил его по плечу. — Ты всех перефорсил. Честь тебе и хвала, Ефимушка! А мою дурацкую башку за то, что бригаду сдуру доверил не тому, кому следовало, надо за волосы драть вот так, вот так...

И Петря с силой дернул себя за буро-желтые редкие волосы.

Никишев видел, как ушла Шура, низко опустив свою недавно гордую черноволосую голову. Андрею Матвеевичу вспомнилось ее лицо и взволнованное чувство живого общения с ее раскрывающейся в своих порывах, как цветок, богатой душой — в часы беседы с ней двух москвичей в ночном саду. С той Шурой ничего общего

не было у этой бледной и молчаливой женщины, словно пришибленной сознанием своей позорной неудачи или своей невольной вины. Что же произошло с ней, отчего же бригада, только на один день доверенная ей Радусевым, оказалась на последнем месте по сдаче?

Профессионально-художническое чутье Никишева и стремление обязательно и, что называется, из первых рук разобраться в причинах явления, соединились с глубоким сочувствием к Шуре, с тревогой за нее — и потому Никишев, стараясь не возбуждать ничьего внимания, незаметно выбрался из толпы и пошел следом за Шурой.

Ее тихий голос, словно закипевший от тяжелого внутреннего потрясения, когда она на его вопрос ответила: «Потом скажу», все еще звучал в ушах Никишева, как призыв о помощи. Может быть, сейчас Шуре даже остро-необходимо высказаться, облегчить душу.

Шура шла так быстро, что Андрею Матвеевичу, отяжелевшему пятидесятилетнему человеку, приходилось почти бежать за ней.

Наконец она распахнула калитку и вошла в то зеленое преддверие большого сада, где стоял приземистый, черно-серый от старости домик бывшей «экономки», ныне скромное жилье Семена Коврина.

Здесь, в отсутствие председателя, было безлюдно и тихо, только низовой ветер с шумом раскачивал высокие кусты старой сирени.

Шура села на верхнюю ступеньку крылечка, охватила голову руками и на миг замерла в немом отчаянии и скорби.

Увидев перед собой Никишева, она опустила руки на колени и прерывисто вздохнула.

— Хуже всех я теперь... на последнем месте... видали? — сказала она тусклым, словно высыхающим голосом. — Мне бригаду поручили, а я ее честное имя опозорила!.. — Плечи ее вдруг задрожали, и протяжный стон долго сдерживаемой боли вырвался из ее груди.

— Погодите, погодите... От того, что вы всю вину взвалите на себя, причины неудачи еще не будут прояснены... — успокаивал Шуру Никишев. — Кроме того, поверьте мне... я почти вдвое старше вас, повидал жизнь и людей и думаю, кое-что понимаю. И как я ваш

характер представляю: вы хотели сделать все, чтобы выполнить с честью обещание, данное Радушеву. Но какие-то, как я полагаю, неожиданные обстоятельства вторглись в ваши планы... и все пошло не так. Давайте же проясним все эти обстоятельства... хорошо?

— Да, да... я расскажу вам...

— Рассказывайте кратко, чтобы вам лишний раз не расстраиваться... факты и факты!

Рассказав все, Шура добавила с горечью:

— А я-то как попалась — доверие, сочувствие оказала человеку, а он мне за все это отомстил... и даже, вот видите, клевету на меня возвел!.. Подумать больно, как Семен на это посмотрит... еще поверит, пожалуй... ведь ревность у него...

— О Семене не беспокойтесь — разъяснения его бывшего комиссара помогут ему верно разобраться в этих событиях!.. А что касается ревности (Никишев, прищурив глаз, многозначительно улыбнулся Шуре)... то эта ревность будет досаждать ему только до тех пор, пока вы с ним не вместе... Поверьте и в этом вопросе опыту старого воробья!.. Ну... как?

— Да уж придется поверить... — робко улыбнулась Шура. — Но все-таки, как же это могло произойти?.. Я ведь тоже знаю жизнь и в людях как будто разбираюсь. И вдруг так ужасно ошибиться, увидеть какого-то совсем, совсем чужого, злого человека... и откуда он такой взялся?.. Вы, Андрей Матвеевич, как образованный, партийный человек, наверно лучше нас можете проведать, откуда такой вот Борис Шмалев взялся?

— Да что ж тут проведывать, милая Александра Трофимовна? Такие люди, как Шмалев, скандалистка Устинья, пресловутый дедушка с его «родом», да и еще кое-кто наберется, — известно, откуда взялись: из того собственнического мира, который разгромила наша революция. В старой революционной песне поется: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног»... Народ наш строит новый мир, а есть и такие люди, которые никакого праха от старого мира не отряхнули, а принесли в нашу эпоху всю его грязь и пытаются протаскивать его законы и обычаи в нашу жизнь... Шмалев, я уверен, тоже один из этих типов... и он втерся в ваш коллектив, как чуждая сила, которая может только портить и разрушать создаваемое

другими. У меня пока нет прямых доказательств, но мне так и представляется, что эти несчастные корзины, обрушившиеся вниз, в приречный песок,— дело рук Шмалева. Вы говорите, что это были громадные плетенки, которые кладутся на розвальни?.. Сами по себе они весили немало, да еще вмещали каждая десятки пудов яблок. И если их с расчетом, возможно даже наполовину на весу, поставить на осыпающийся край песчаного, высокого берега, то они просто неминуемо должны были рухнуть вниз на приречные пески или просто в Пологу.

— Батюшки... да что же это такое? — пораженно прошептала Шура. — Зачем было Шмалеву... коли это всамделе он подстроил... зачем ему было так подло поступать, если он сам же хотел свою вину загладить? Он должен был стараться изо всех сил... а тут... я даже как-то связать это в мыслях не могу.

— Видите ли, хорошая моя... Стараются загладить вину или исправить ошибки те люди, которые в глубине своей души честно решили: я перехожу на сторону новой жизни, я хочу строить.

— А тот, у кого в душе этого решения нет...

— Тот, случается, даже наперекор собственным расчетам и разуму не может удержаться от жажды разрушения... Знаете, в бурные дни революционной борьбы и в первые годы восстановления нашего хозяйства я видал людей обоих типов... Кстати, когда у вас кулаков выслали?

— Да всего года два назад. Их хоть и не так уж много было, а все очень заметные: четыре прасола, а с ними заодно шерстобитов трое, хорошие мастерские имели, работников держали, потом три лавочника и еще четыре богатых двора, которые по-всякому промышляли...

— Смотрите-ка, друг мой, а ведь это был целый взвод богатеев... и вовсе недавно они жили среди вас и влияли на людей...

— А у нас как-то привыкли считать, что раз кулаков выслали, так и зла никакого не осталось... Петря Радушев, я сама слышала, скажет: «У нас кулаков нет, только честные остались». Вот мне сейчас в голову пришло: мало мы думали, сознавали, что к чему и кто с чем к людям приходит.

— А если вы задумаетесь всерьез, вы не раз придете к выводу, что человеку мало только работать...

— Но как же помочь в этом людям, Андрей Матвейч?

— Вы попали в самую точку, Шура.— Оживился Никишев.— Вот об этом именно я хотел бы поразмыслить вместе с вами, с Семеном, с Володией Наркизовым и со многими другими... вообще о главной цели и причинах разных дел, которые у вас происходят.

— Как же мы будем думать вместе? Пожалуй, не выйдет ничего.

— Я постараюсь научить вас, как и всех других.

— Интересно это очень,— сказала она, заметно ободрившись, но недоверчиво покачав головой.— Но как вы это устроите?

— А! — рассмеялся Никишев.— Это вы потом увидите.

— Посмотрите... — вдруг шепнула Шура, вглядываясь в сумеречную дымку.— Сюда Шмалев идет... конечно, он меня ищет!

— Что же ему нужно от вас?

— А в бригадирской ведомости я очень резко об его поведении в бригаде записала... вот он наверняка и идет объясняться.

— Знаете что? — торопливо предложил Никишев.— Я войду в дом, приотворю дверь... все услышу... и вы будете знать, что ваш недруг разговаривает с вами при свидетеле.

— Хорошо.

Через две-три минуты Никишев услышал громкий раздраженный голос Шмалева. Шура не ошиблась: он пришел объясниться по поводу ее бригадирской записи.

— Разве это допустимо обо мне одном всякие бесчестные слова писать? Вы же... временная бригадирша... меня прямехонько под председателя угрозу подвели... Вот он теперь на меня еще пуще накинется!.. Да где же справедливость у вас? Не я один шутил и смеялся, а и все другие смеялись. Не хуже других я работал, они тоже не поспевали...

— Хватит... — сурово прервала Шура.— Не ты один... но все с тобой пришло, все только ты принес. Не зря я тебя чертополохом назвала... ты, как зараза, появился у нас в бригаде!.. За доверие мое к тебе... ты ме-

ня уважения людей лишил... а я без этого уважения дышать не могу!.. Ты без ножа человека режешь, и не тебе о честности рассуждать...

— Вот какой теперь разговор пошел, Александра Трофимовна!.. То оказывалось, что Семен да я, грешный, делили вас одну между собой... а вы все решить не могли, кого из двух молодцов вам выбрать... а теперь, вижу, перед Семеном расстилаетесь...

— Молчи! — гневно и страстно вскинулась Шура.— Не смей Семена задевать!.. Он так высоко над тобой стоит, что твоим рукам, подлый лодырь, никогда не дотянуться до него!.. А от примечаний моих о тебе в ведомости, хоть я и временным бригадиром была, я все равно не отступлюсь...

— Уж хоть бы как «спасибо» за песни мои да за баян мой скостить это злосчастное примечание! — с издевательским смешком предложил Шмалев.

— Сгинь-пропади этот проклятый баян, враг человеческий! — как ужаленная, вскрикнула Шура.— Подумать бы, знать бы мне, не заступалась бы я за тебя, не доверилась бы тебе! Пусть бы баян твой хоть об угол трахнуть, пусть бы...

— А-а... Вот оно куда пошло-о! — злобно, свистящим голосом протянул Шмалев.— Ну нет, многого захотели! Вы меня еще дешево цените. Вы на последнее замахнулись... на безвинный мой баян. А не вы ли, о хорошей жизни мечтая, целыми часами его слушали? А теперь клянете!.. Не заработали еще вы таких прав, Александра Трофимовна!.. Еще поплачете от моего баяна! Еще не то увидите и услышите...

Тут Никишев распахнул дверь и вышел на крылечко.

— Вы так громко спорите, Шмалев,— произнес он спокойно,— что даже сквозь седьмой сон человек услышит ваши заклинания.

Шмалев вздрогнул от неожиданности и, круто повернувшись, зашагал прочь.

Сергей Сергеевич Баратов в дурном настроении, скучая, сидел у ворот радушевского дома и курил. Небо темнело, свистел ветер, серые столбы пыли неслись по улице, а гроза все еще будто никак не могла разразиться.

— Можно присесть к вам на минутку? — спросил подошедший к нему Шмалев.

Несколько удивленный Баратов подвинулся, давая Шмалеву место, но, верный своей невмешательской политике в отношении этого человека, ни о чем не спросил его. Шмалев сам без промедления рассказал только о грозящей ему, «одинокому баянисту» неприятности из-за «ехидного примечания» в ведомости.

— Обойдется, — утешил его Баратов.

— Легко рассуждаете... и вообще что же это вы, образованный, тонкий человек, души моей не выручаете? — заговорил Шмалев с насильственным смешком. — Уж вам-то бы карты в руки насчет всяческого спасения!

Баратов ответил благожелательно и убежденно:

— Вы сильный и оригинальный человек, и спасти вас незачем... да и не знаю, как это делается!

Шмалев отвернулся, присвистнул и, вставая, сказал нараспев:

— Пособить бы молодцу поточить сабельку, — быть бы вражьей голове во зеленой во траве!..

Баратов, несколько опешив, посмотрел ему вслед: для чего понадобилась Шмалеву эта строчка явно из старинного разбойничьего фольклора?

— А... да ну вас всех! — совсем заскучал Сергей Сергеевич и решил пойти переночевать к Никишеву, благо Семена Коврина нет дома.

Едва он вошел к Никишеву и произнес первые слова, как вместе с грохочущими раскатами грома наконец разразилась гроза, с бесконечными разрывами молний и проливным дождем.

— Вот умница, вот прелесть! — весело говорил Никишев, захлопывая оконце на своем чердачке.

— Кто прелесть? — рассеянно спросил Баратов.

— Гроза, конечно!.. Целый день ее ожидали, боялись, что она грянет не вовремя и нарушит работу людей... а она, голубушка, чинно-благородно разразилась только к ночи. Люди спокойно спят под дождь, а плодový урожай покоится под надежной защитой. Жизны! Как она похожа на эту грозу с громом, с разверзающимся от молний небом, с потоками дождя, который мчит вниз, к черной бурливой реке, щебень, гальку, мелкие сучья, песок. Торжествующая, полная неистощимой

мощи гроза размывает и обрушивает берега, создавая на их месте новые горы, равнины и леса. Жизнь, как и земля,—это вечная юность перемен!

— О боги! Куда мне спастись от твоего лиризма, Андрей?

При свете молнии Баратов посмотрел на оживленное лицо приятеля и подозрительно спросил:

— Э... да ты, кажется, не только грозой, но и еще чем-то доволен?

— Не скрою, доволен. Приятно, знаешь ли, когда у хорошего и неглупого человека шире раскрываются глаза на жизнь.

— А! Был с кем-то у вас, Андрей Матвееч, очень многозначительный разговор. Уж не с Шурой ли?

— Да, с ней... Но почему ты молчишь, Сергей?

— А что мне говорить?.. — недовольно усмехнулся Баратов.

— Может быть, поинтересуешься настроениями Шуры,— ведь она «общая» наша героиня, Сергей.

— Интерес мой, признаюсь, уже далеко не тот, что прежде. Мои психологические прогнозы не оправдались. Я ожидал взрыва и столкновения страстей — Шура и Валя. А Валя полными жалости глазами смотрела сегодня на поражение Шуры как заместительницы Радусева в его бригаде. А этот... черт его подери, Ромео-Шмалев до хрипоты доказывал Радусеву, что Шура «преподло» с ним поступила, так как резко-отрицательно выразилась об его работе. Словом, все мои надежды на «извечные» чувства разрушены... И вообще ерунда... Довольно! Я заскучал. Надоела земля, поднимите меня над «хлебом насущным», над суетой дня. Мы слишком сыты этим, и потому... извини, Андрей... я боюсь, что твой опыт читки отрывков первоначальной, еще эскизной редакции на собрании колхозников, едва ли может пройти удачно.

— Конечно,— задумчиво сказал Никишев,— неудача возможна.

Он с минуту прислушался к перехлестам ветра и шуму дождя за темным окном и вдруг с молодым возбуждением сказал:

— Видишь ли, кроме того, насколько я сам смогу преобразить все виденное, тут еще помимо меня действует одно обстоятельство. В жизни здешней столько пу-

таницы и противоречий, что в них ноги вязнут, а люди уже привыкли барахтаться во всем этом. Они страдают душой, терпят помехи в работе, урон и ущерб в личной жизни... И часто не могут взорвать серую пыльную кору, которая скрывает под собой подлинную суть и причину явлений.

— О! — иронически обрадовался Баратов. — И тут является мастер вымысла, который даже, например, камень, попавший в хлеб, может обратить в алмаз...

— Грош цена такому мастерству! Нет, пусть он покажет, как нередко под пыльной корой возникает истинный плод жизни. И вот она, жизнь, сияет освобожденно истинным своим смыслом, и вот истинная ее песня, рождающая разум и силу!.. Впрочем, моя будущая читка — это же все не ново. Вспомним высокий классический пример: еще Гамлет разоблачал в пьесе убийцу своего отца.

— Н-да!.. «Раненый олень лежит, а лань здоровая смеется». Желаю тебе успеха, Андрей. А я недоволен и устал. Вот послушаю, как пройдет твоя читка «Что я видел наяву», и поеду домой, буду читать Гофмана и... может быть, пойду в бухгалтеры.

Баратов снял голубую пижаму, лег и жалобным голосом попросил отворить окно, когда приутихнет гроза.

Однажды утром Шмалев показал Петре только что полученную увесистую заказную бандероль для «колхозного актива», посланную на имя «Бориса Михайловича, моего уважаемого информатора», как писал ему обязательный Дима Юрков. Приехав в Москву, Дима Юрков «с сердечной благодарностью» посылал «для колхозного актива» еще десять экземпляров газеты, где он напечатал очерк о колхозе «Коммунистический путь», как о «родоначальнике будущих городов-садов», о его героях и замечательных людях. Петра даже оробел, увидя на снимке в общей группе («коллективистский обед») себя, Семена, Шуру, Наркизова и многих других. Был заснят особо дедушка Никодим Филиппыч с неразлучным лапотком на колодке и отрекомендован как «престарелый слушатель вечернего университета», а рядом с его беловолосым личиком улыбалось

лицо Бориса Шмалева, «заведующего культурной революцией» в колхозе.

— Вот это человек, писатель Дмитрий Юрков, вот это деятель, я понимаю! — громко восторгался Шмалев и тут же вслух прочел Петре «беседу с колхозником о внутренних ресурсах».

— Ну, из слова в слово наш с ним разговор! — шумно восторгался он. — Ну, спасибо тебе, дорогой московский товарищ, довел мои мнения до общества. Вся Россия сейчас мои слова читает да смекает: «И в деревне у нас есть умы, есть люди...» Смотри, согласились ведь со мной, напечатали! И что с механизацией зря торопиться не надо — тоже принято! Ура! Я советскую власть знаю: уж что ей не по губе, нипочем ходу не даст, а вот с моим мнением, поди ж ты, согласилась! Уж теперь-то, дядя Петря, придется тебе и моего совета послушать. Вот он, совет-то мой, в газете напечатан, как руководящий материал!.. Такой совет выполнять надо!

Петря Радушев был застигнут врасплох. Шмалев предложил ему план «самой легкой и дешевой консервации плодового урожая», как и напечатано в газете.

Во-первых, до каких пор ждать этой обещанной рабочими-шефами сушилки, которая все еще где-то едет. Пока что нет никаких известий, готова ли вообще сушилка, привезет ли ее председатель? Во-вторых, у народа «сердце болит», что уйма ранних сортов яблок еще лежит на складе, а они ведь долгой лежки не снесут. Так и погибнуть может ценная продукция, которая «зазря» дожидается машинной сушки. А в-третьих, четвертых и пятых... сложа ручки смотреть на это «каторжное» дождливое небо и ждать у моря погоды, когда есть надежное средство все обратить в ценный продукт, который «с руками рвет кооперация»? Старые хозяйки-колхозницы, тоскуя, смотрят на холодные жерла своих печей, дедовских широкогрудых русских печей с их добротным теплом, которое надежнее всяких машин. И отчего же, отчего не организовать массовую печную сушку? И не позор ли отказываться от такого простого, но хозяйственно важного мероприятия.

Петря не умел взвешивать «за» и «против», и не был искушен в хитрых схватках по увязке дел, причин и следствий. Семен, обещавший приехать на другой

же день, не ехал уже четвертые сутки; погода действительно была отвратительная. И гостеприимные пасти дородных русских печей показались Петре достойными разрешить судьбу колхозного яблока.

— Ладно, пока сушилка подъедет, куда ни шло — организуй! — сказал он Шмалеву.

И тотчас же после обеда две подводы начали развозить яблоки из склада по печам. Устинья, удивительно подобревшая, первая распахнула перед яблоком двери своего дома. Нашлись еще и еще соседки, которые тоже истопили печи. Дедунькины же снохи и сыновья работали, не жалея рук и пота.

Вскоре после утреннего ошеломившего Петрю разговора Шмалев уговорил Радушева послать Наркизова с группой ребят на мельницу, а Ефима Колпина за кой-каким спросом в сельсовет — слишком все они «за технику обижаются», без них спокойнее. Петря хотел было возразить, но махнул рукой: взялся за гуж — действуй.

Соппротивление оставшихся было скоро сломлено Шуре, например, в десять голосов сказали: «Знаем, знаем, как в коренниках ходишь», а Петря Радушев, все еще сердясь на нее за непредвиденное замешательство в его бригаде, не захотел защитить ее, и Шура, забрав с собой Васятку Коврина, заперлась у себя дома.

Никишев безвыходно сидел на своем чердачке или за широким столом в комнате Семена и лихорадочно работал: к написанным уже, как он называл эскизным главам будущей повести Никишеву хотелось добавить картины сбора, «несчастный день» одной бригады и столкновение хорошей девушки с человеком, не стоившим ее доверия.

Баратов, промолив ноги, простудился и лежал на теплой лежанке, ожидая, когда понизится его гриппозная температура.

А по улице уже озоровала, сбитая на сладком плодовом соку, шмалевская частушка:

Никаких машин не надо. —
Печка дюже знойная.
Обождем мы с техникой, —
Штука беспокойная!

На заре приехал Семен. За ним на двух подводах везли части сушильной машины. Не прошло и четверти часа, как он узнал все.

— Ты что это, ополоумел? — встретил он Петрю хриплым шепотом. — Сами технику заводим и сами ж, выходит, ей башку сымаем?.. Смешки идут над сушилкой, слышал? Частушки против техники поют, слышал?

Петря неразборчиво бормотал о «деле» и «деловом подходе», о десяти пудах первой и, ей-ей, очень дешевой сушки.

— Дурак! Балда! — свирепел Семен, и глаза его, покрасневшие от бессонной ночи, казалось, готовы были насквозь пронзить гневным взглядом тощее и подвижное тело Петри Радушева. — Наша машина осилит тысячу кило за восемь часов. Тысячу кило, понимаешь? А эти десять пудов... десять! — повторил он, топая и грясь от злобы, — со всех печей!.. — Семен, не сдержавшись, постучал пальцем по сухому, костистому лбу Петри: — Тут-то есть у тебя что-нибудь? — Он точно впервые увидел своего соратника и исполнителя. — Кому доверил, а?.. Ты ж, прямо скажу, мечту мою дискредитируешь, свиньям под ноги бросаешь! — Взглянув на жалкое лицо Петри, впервые в жизни попавшего под такой разнос, Семен опомнился. — Бес с тобой... Ладно!.. Техника уже прибыла, как-нибудь выкрутимся, исправим положение.

Совершенно расстроенный Петря показал ему присланную Димой Юрковым газету с очерком о колхозе «Коммунистический путь». Димины измышления Семен прочел одним духом и, распалившись, плюнул на шуршащий на ветру лист.

— Печать изменила! Ах ты пропасть — печать предала! — повторял он, охая и мотая головой, точно заболел от разочарования. — Уж развернусь же я на собрании! — заговорил он немного спустя, запустив пальцы в смоляные свои волосы. — Уж раскрою я всем глаза на ход события! — Он встал перед Никишевым, сверкая горячими глазами. — И... слышь, товарищ комиссар... от сердца спасибо тебе за то, что ты Шуру ободрял в тот разнесчастный день!..

Он отвел Никишева в угол комнаты (хотя Петри уже там не было) и с жадным вниманием, опять шепотом начал его расспрашивать:

— Значит, так она и сказала, не смей, мол, Семена задевать... высоко, мол, он стоит над тобой? Ох, как она этого лодыря пронзила, молодец, умница моя!

Никишев сказал, что Шура у себя дома, а Васятка с ней.

— Бегу! Бегу к Шуре и к сынишке! — крикнул Семен.

Когда он вернулся от Шуры, Никишеву не пришлось его ни о чем спрашивать: его ликующие глаза и беззвучно улыбающиеся губы выражали его чувства сильнее всяких слов.

После обеда сушилка стояла уже в сарае. Семен простер руки к ее грузному, еще холодному телу и, словно заклиная, проговорил:

— Дайте срок — пол зальем асфальтом, стены утеплим, проведем вентиляцию. А потом уже не на дровах, а на электричестве будут работать наши сушильные камеры. Вот тебе и первый цех консервного завода!

Вокруг сушилки сновали люди. Володя Наркизов, обожающими глазами следя за безусым, как и он, инструктором, слушал его объяснения. Рычаги, сверкающие сталью и румяным лаком рукояток, возбуждали его, как боевые мечи. Не в силах далее сдерживаться, он, нервно посвистывая, положил руку на рычаг.

— А ну, действуй, — кивнул Семен, и Наркизов, залившись румянцем, потянул рычаг вниз.

С легким визгом вскрылась стена, и чистое сквозистое сито высунулось вперед, как просящая пищи ладонь.

— Пробу! Сейчас же пробу!

При виде загудевшей сушилки Петря Радушев совсем сбился с тона: с каким лицом прикажете слушать каждого, кто напомним о глупой суете у чернолобых печей под музыку баяна?.. Он, Петря, отдал бы пять лет жизни, чтобы только забыть про эту авантюру.

Задумавшись, Петря задел локтем плечо Устиньи Колпиной.

— Очумел! — сказала она нелюбезно.

— Ох!.. А ты тут зачем? — невпопад спросил Петря и растерянно поклонился стоявшему рядом с ней Ефиму. Тот так и цвел замысловатой улыбкой, полностью, как показалось мнительному Петре, направленной в его сторону.

— Вот привел Устинью Палну поучить настоящей механике. Вот это я понимаю! Взгляни-ка, Устинья Пална, какое чудное сооружение!

Устинья промычала что-то.

Тут приоткрыли створки, и все кинулись к сушилке. Яблочные дольки, уже обрумяненные жаром, лежали на ситах подобно лепесткам розы.

— Как работает, голубушка! — умилился Ефим.

— После обработки, — сказал молоденький инструктор, — возьмите любую дольку и сдавите между пальцами. Если плодовое вещество встанет на место, как губка, значит сушка правильная.

— А вы как думаете? — почтительно спросил Наркизов. — Встанет оно у нас?

— Вне всякого сомнения, — снисходительно, тоном врача ответил инструктор. — На будущее вы найдете меня в земотделе, комната номер сорок четыре, второй этаж. Пока!

— Отбыл... Этот спуску не даст! — опять умилился Ефим. — Вот она, наука! А вы?.. — Его маленькое лицо с кургузой бородкой вдруг сердито и укоризненно сморщилось. — Хоть бы поглазели сначала на технический переворот, а потом бы уж срамились... Эх, люди, люди!

— Кому я говорил? — Петря гневно скосил зеленые глаза. — «Ай, не дури, Устинья! Ай, чести нашей не подмочи!»

— Чего уж там на прошлое заплаты класть, товарищ Радушев! — решительно сказал Семен. — Давай о настоящем лучше заботиться!.. Верно ведь, товарищи комсомольцы? — И Семен обернулся к Володе Наркизову и еще целому венку молодых цветущих лиц, глаза которых сверкали радостью и любопытством.

— Видите, какая силища... а? Вот она механизация наша долгожданная! — И Семен победительным взглядом обвел знакомые лица.

Володя Наркизов, мучаясь нетерпеливым желаньем думать и действовать с ним заодно, объявил:

— Общими усилиями, Семен Петрович, все вместе... будем развивать...

Семен взглянул на темно-русый пушок над румяной Володиной губой, усмехнулся и с силой потряс его за плечи.

— Верно, братишка! Верно, молодец!

— О-ой!.. Какой ар-рабат па-шел! — тоненьким и испуганным голоском сказал Ефим, и все вдруг расхо-

хотались: еще никто не слыхивал, чтобы Ефим произносил слово «аромат».

И он, чувствуя необычность своих речей и гордясь этим, уже тверже повторил:

— Ар-рама-ат, лучше не надо! — и, обернувшись к жене, громко укорил ее: — Устинья Пална, не шипи ты мне на ухо и не дергай, прошу! Стой в сторонке да гляди, как машина орудует: и тебе придется с ней дело иметь.... Ах, ну и роскошный запах!

И Устинья в самом деле отошла и, не взглянув даже на присмиривший дедушкин род, приготовилась смотреть и учиться, как надо работать у механической сушилки. Так, похоже было, находила свое разрешение бурливая, как брага, Устиньиная судьба.

Когда вынули решета с рыже-розовыми дольками яблок, Володя с торжественным видом тут же испытовал их готовность, как советовал молоденький инструктор.

— Все как по-писаному!

— Ну до чего же хорошо сушилочка работает! — воскликнула Шура, и ее восхищенный взгляд встретился с сияющими глазами Семена.

— А как думаешь, Шура, придется ведь нам тут, около сушилки, своих мастеров-механиков завести? Верно?

— Обязательно заведем! — радостно откликнулась она и, подув, положила на ладошку Васятки теплую, душистую дольку яблока первой машинной сушки.

Освободили сита, загрузили их вновь — и опять все принялись слушать, как весело и ровно гудит огонь в металлическом чреве сушилки.

Чья-то рука вдруг мягко толкнула Шуру. Она обернулась и встретила чуть скошенный назад взгляд Вали Самохиной, Шура посмотрела в ту сторону и увидела Шмалева.

Он стоял у дверей сарая, бледный до синевы, и, напряженно вытянув шею, остановившимися, будто остекленевшими глазами озирает сушилку:

За стенами сарая шумно лился обильный, словно раздувшийся дождь, но едва ли кто слышал его. Механическая сушилка гудела звучно и басисто, весело горела под потолком большая висячая лампа-молния, а вокруг все ощутимее и приятнее накапливалось теп-

ло, которое так щедро и ровно может давать только живой и горячий металл машины.

Наконец и Семен, случайно оглянувшись назад, заметил Шмалева.

— Что, баян? Глазам своим не веришь? — крикнул он, полный доброго и широкого торжества. Но Шмалев, будто не слыша, молчал. Семен еще раз взгляделся и даже слегка попятился: навстречу ему смотрели незнакомые, стеклянно-ледяные глаза, отсвечивающие острым блеском на мертвенно неподвижном лице. Семену вдруг представилось: только слегка ударь по этим глазам, как они разлетятся целым фонтаном смертоносных осколков, от которых надо оберегать человеку глаза, лицо и руки.

Когда несколько минут спустя Семен опять глянул в ту сторону, Шмалев уже исчез.

Утро опять встало сумрачное и дождливое. Правда, дождь не так щедро лил, а временами просто моросил...

— Скоро перестанет дождище, — объявил Семен Никишеву, указывая на барометр. — Стрелка, смотри, поднимается, скоро будет ведро... Хватит с нас ненастья!

За завтраком Семен предложил Никишеву:

— А что, Андрей Матвееч, если сегодня вечером народ соберем твое чтение послушать? В правлении у нас вполне просторно, все рассядутся... Устроим вроде клубного вечера, верно? Чем в дождь людям дома киснуть, лучше новыми мыслями умы порастрясти. И молодежь тоже интересуется твоим чтением...

— Да, с Володей и другими у меня, действительно, был недавно разговор о том, как пишутся книги, — подтвердил Никишев.

— И они, погляди-ка, уже и афишу нарисовали... вот здесь, за шкафом, я ее нашел вместе вот с этой запиской, — и Семен с шумом развернул большую, из серой бумаги афишу, заботливо-наивно разрисованную разноцветными карандашами.

— Это уже сюрприз мне! — довольно пошутил Никишев.

— Верно здорово! Отовсюду будет видна такая нарядная афиша... остается только сегодняшнее число проставить!

— А как думаешь, Семен Петрович, народ соберется?

— Все придут! — горячо сказал Семен. — Ведь и то надо понять, что газета, где Юрков про нас неправду пропечатал, еще по рукам ходит и кое-кто над ней мозгует для своей выгоды. Эти настроения тоже разбить надо... Согласен? Вот и хорошо.

Семен опять подумал, и лицо его понимающе просветлело.

— То, что ты, Андрей Матвееч, нам прочтешь, — это ведь тоже печать в будущем... и, видать, ты нас подводить не собираешься. Что же, идет, Андрей Матвееч! Порастряси наши головы, товарищ комиссар.

Семена не было видно до самого вечера. Уж в сумерки, торжественный, побритый и причесанный, вошел он к Никишеву и провозгласил:

— Аудитория готова, массы ждут!

Первый, с кем встретился взглядом Никишев, был Володя Наркизов: откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, он следил за всем искрящимися любопытством глазами. Валентина-«молодушка» сидела позади него, кутая в короткий платок голые локти. Она стеснялась всей этой необычной обстановки, при которой не требовалась работа ее сильных, ловких рук.

Николай курил исподтишка в кулак, решив остаться здесь из-за «уваженья к научному человеку», намерений которого он все же не понимал, и ради жены: что ж, молода, пусть позабавится.

Ефим нетерпеливо ухмылялся: Семен обещал, что читать будут и о нем, бригадире Колпине. Все эти дни Ефим чувствовал себя не только помолодевшим, но и дальновидным, настойчивым и совсем не глупым человеком. После «падения власти» Устиньи у себя дома Ефим правил, как бесспорный победитель — спокойно и великодушно. Ради торжественного случая он надел новую сатиновую рубаху; она шикарно шумела и топорщилась на плечах и груди. Но ворот был велик настолько, что Ефиму приходилось то и дело высвобождать свою короткую клочковатую бороденку, смешно шекотавшую шею.

Шура стояла, прислонясь к окну. Она приветливо кивнула Никишеву и лукаво шевельнула бровью, точно

безмолвно предупреждая его: я понимаю, вы душевное дело задумали, Андрей Матвееч! Ее посветлевшее за эти дни лицо, с большими сияющими глазами, как бы говорило: не могу я, не в силах скрывать моего счастья! Она, возможно, и не замечала, как следит за ней Семен Коврин. Он хитрил: встав со стула во втором ряду, он как бы заботился о том, что делается в комнате, а сам переводил глаза на милый его сердцу профиль женщины у окна.

Петря Радушев появился позже всех. Зеленоватый взгляд Петри, стремительно порхнувший по нескольким десяткам голов, выразил досаду и удивление. Собрание, похоже, не скоро кончится,— московский гость намерен «прохлаждаться». Петря Радушев повернулся было, чтоб улизнуть, но напряженный, словно чудеса ожидающий взгляд Семена пригвоздил его к месту. Петря скромно присел на лавку у стены, точно только для этого и пришел. Усевшись, Петря понял, что погиб на целый час, а то и больше, смотря по тому, как «разойдется» москвич и насколько хватит терпения у Семена, который (странно и непонятно) поддерживает эту затею.

Семен, как было условлено, открыл собрание. Он посоветовал всем «со вниманием слушать полезное и важное произведение» и при этом «мотать на ус, так как данное произведение основано на всамделишной жизни».

Вначале описывалось весеннее цветение садов. Это, правда, был особенно роскошный сад, первый рожденный воображением Никишева сад и потому особенно ему полюбившийся. В картине этого сада слились впечатления многих когда-либо виденных Никишевым садов средней полосы, Одесщины и Крыма. Бело-розовые пышные ветки колыхались над молодой травой пенными, благоухающими облаками, которые вот-вот улетят в золотистое, как свежий мед, небо. Сады цвели.

— Батюшки, да это ж про наши сады! — тонким, полным радостной догадки голосом сказал Володя Наркизов. — Ей-богу, про наши!

— Ш-ш!.. — погрозил Петря.

Цветенье яблонь Валя будто видела вновь и сладкий их запах слышала так сильно, что казалось, только сейчас пришла в сад. Она вспомнила, как однажды в

сумерки прошелся с ней по саду Борис Шмалев, тогда только что объявившийся в здешних местах. Он тихонько, словно по секрету, играл на баяне и расспрашивал ее, как идет жизнь. Она, Валя, хоть и стеснялась своих старых, просто дегтем мазанных башмаков, все же шла, не чуя ног, пылая счастливым румянцем. Под конец Шмалев посоветовал ей «не выходить замуж рано», и она, сразу же радостно согласившись, уверила его, что про такую «блажь» она и думать не хочет. Но ведь это была неправда: уже тогда ее начали сватать за Николая. Изругать же это дело «блажью» ей в ту минуту ничего не стоило: ведь ей улыбались, словно обещая что-то, ласковые серые глаза, а баян ворковал, сущий голубь под крышей. Шмалев больше никогда не гулял с ней. Да и вскоре Валя, заметив, как он играет на баяне явно для Шуры, с ужасом и стыдом корила себя: как она, Валька, дура богова, могла подумать, что на нее обратил внимание такой человек? И разве могло у нее быть такое невозможное счастье?.. Вот тогда она без колебания решила пойти за вдового Николая Самохина, благо еще и жалела его заброшенных детишек. Вспомнив сейчас обо всем этом, Валя даже спрятала лицо в платок, вдруг испугавшись, как бы не настиг ее из прошлых дней предательский румянец стыда и блаженства.

— Нездоровится, что ли? — заботливо шепнул на ухо муж и поправил ей платок на плечах.

Она отрицательно покачала головой, вдруг устыдившись его теплых преданных глаз. Не она ли тогда, опьяненная свиданьем в саду, насмеялась при подружках над Николаем: и борода, и смешон, и ребятишки у него грязные и сопливые, а он сам басит, как дьякон-пропойца. И ведь опять это все было неправда: Николая она уважала. Просто она сама была глупой и доверчивой девчонкой.

Вале вспомнилось объятие мужа после ссоры в первую ночь: он так сильно и бережно прижал ее к своей широкой груди, что, казалось, защитил ее от всех бед на свете. Она вспомнила младшего его двухлетнего сынишку, его маленький, болтливый, всегда ей улыбающийся рот. Сколько она сейчас получила в жизни, а как она к этому шла?!

Валя с силой заморгала, чтобы спугнуть слезы стыда

и отвращения к своим поступкам, к своей слабой, чуть не потерянной душе.

А повествование вело слушателей дальше — к уже зреющим садам; они обещали верное, полное соков жизни богатство. Яблоко, полновесное, румяное, будто наступало со страниц будущей книги на окружающие пустоши, на пыльные степные дороги, пропадающие без радости под суховеями и дождями; сады ширились все дальше по берегам реки. Яблоко наливалось, раскидывая густые тени, перед которыми отступала палящая жара. Яблони впивались своими деятельными корнями в заброшенную землю, — и та, побежденная, молодела, тучнела и воздавала сторицей за человеческое упорство. Люди, вдоволь поборовшись с ней, как завоеватели почетных и бескровных трофеев, селились вокруг шумных, отяжелевших плодородием садов.

Слушая чтение, Семен вспомнил свои беседы с рабочими-шефами о садах, как об источниках здоровья и красоты земной, которая откроется миллионам трудовых людей. Рабочий класс многие-многие годы о воде, о зелени тосковал, и кому как не ему помогать крестьянству насаждать по всей стране сады, можно сказать, еще невиданные на всей планете. В этих садах люди будут драться за каждое яблоко, как за уголь и железо!

Чтение сначала напоминало Шуре некий дружный хоровод, где все певцы и танцоры подобрались один к одному. Она вдруг обнаружила в себе страшную тоску о слове, понятном каждому, пестром и ярком, как цветок, и вместе с тем таким простым и доходчивым для выражения всех человеческих чувств и мыслей. Потом восхищенная, она уже сравнивала эту речь с шумом ветра, гудками пароходов и голосами издали слышимых и видимых ею людей, которых она, Шура, не в силах была коснуться. Но существование их было так же бесспорно, как облака на этом еще робко, сквозь дождь сверкающем небе. «Вот ведь дар у людей какой», — думала она с благодарной завистью, похожей скорее на боль. — Это за деньги не купишь».

И ее с новой силой охватила жажда обладать этими дарами, которые не купишь, не взвесишь, не прощупаешь, а в жизни от которых как бы прибавляется воздуха, света, тепла. Шура видела это по лицу Семена, не

вольно даже рассмешившему ее: полуоткрыв рот и детски-изумленно подняв брови, он как бы видел перед собой пейзаж, возникающий со страниц испещренной пометками никишевской тетради. Он видел широкое шоссе, по которому проносились одна за другой грузовые и легковые машины; он видел придорожные молоденькие липки, которые, как девушки, весело шумели им навстречу. Он видел просторную площадь в солнечном слепящем глаза кольце домов, слышал пронзительный свисток паровоза с новой железнодорожной ветки. Обо всем этом мечтали, предвидели в будущем люди, которые подобно им, колхозникам артели «Коммунистический путь», насаждали сады. С легкостью птицы перемахнув через вереницу годов, садовый город в мечтах этих людей жил полной, преображенной жизнью, создаваемой их собственными руками. И в этом мог быть участником и он, Семен Коврин, бывший питерский матрос. Да, немало пришлось и ему повоевать, немало испытаний вынести, а все же и он доказывает людям, какой может быть жизнь!

Ефим Колпин, хотя и интересовался городом-садом, но все же с нетерпением ждал, когда он услышит про свои труды. Ефим, недавно боявшийся даже лишнего упоминания своего скромного имени, теперь хотел, чтобы о нем говорили и громким голосом призывали его, как главную опору во всех делах. Но пока что о нем ничего не говорилось, и Ефим, заскучав, деликатно зевнул.

История девушки, которую, по всем видимостям, смущал своими песнями и игрой ловкий парень-баянист, мало его трогала. У него самого уж давненько была своя история с девушкой, которая, как все знают, превратилась потом в свирепую бабищу. Нет, хватит с него опыта по женской части.

Ефим встретился глазами с Петрей и понял, что и тот против девушки.

Радушев кивал Ефиму, показывая на дверь. Но Ефиму было труднее уйти: он сидел в середине ряда, и выходить, беспокоя людей, было неудобно. Взглянув с завистью на поднявшегося со своего места Петрю, Ефим застыл от скуки: история девушки казалась ему совершенно лишней.

По дороге домой Радушев встретился с Борисом Шмалевым.

— Для чего это нынче у нас публику афишей зазывали, Петр Андреич?

— Тебя вот только там не хватало! — нелюбезно бросил Петря.

— Да уж, видно, не очень интересно, ежели Радушеву не понравилось. И я не желаю.

— Отчего же... — смутился Петря. — Поди послушай, там товарищ Никишев всякие рассказы читает.

И Петря, торопясь залечь пораньше на боковую, не заметил выражения лица Бориса Шмалева.

...А между тем с девушкой в повествовании творилось неладное. У девушки были прекрасное здоровье, сильные руки и крепкое умение работать. Она пела, как кенарь, ведя свой дымный старенький трактор. Но вечером, когда меркли сады и стихал шум работы, девушка сухими и тоскующими глазами всматривалась в подслеповатое миганье избяных огней. У девушки был живой, впечатлительный ум, он голодал в бездействии. Скучая, она шла к реке, где собиралась молодежь. Красивый гармонист выводил тягучую старинную песню.

— Кино бы на вольном воздухе в такую погоду, — мечтала девушка. — Почитать бы газеты, книги, узнать бы, как всюду на свете люди живут...

— Чего захотели, прелесть моя, — с развязной нежностью отвечал баянист. — На такие глупости наше руководство денег не отпустит. Работаете, чертовы дети, мало-мало сыты — и цыц, чего еще?

Девушка обиделась за руководство и заспорила с баянистом, но... переливы его гармонии и его то призывно-ласковые, то полные песни расстраивали ее душу. До зари гуляла она с гармонистом и слушала его лукавые речи.

Шуре стало жарко: в облике этой девушки и гармониста она узнала многие свои переживания, а временами и безвольное любопытство, с каким она слушала Шмалева. Судьба девушки, о которой читал Никишев, что ночью гуляла с баянистом, угадывалась Шурой — он хитер, ловок, он покорит ту девушку. Но ведь и с ней, Шурой, могло случиться то же самое!.. И как бы тогда воспринимала она картину теплой ночи с ласково-вкрадчивыми уговорами ловкого молодца! Каким нестерпимым униженьем дышала бы ей в лицо эта ночь!

Гармонист, красивый и ловкий, казалось, так и но-

сился у всех перед глазами, как праздничный гость на тройке с бубенцами, для которого не опасны ни едкая забота, ни черный труд.

— Гладок, подл! — шепнул про себя Семен, скрипнув зубами. Да, теперь он особенно глубоко сознавал, как сильно ненавидел этого человека!

— Уж это хахалы! — подтвердил встряхнувшийся Ефим.

Этому парню, похожему на праздничного гостя («таким и в великий пост лаковые сапоги нипочем»), этому парню в самом деле везло не по заслугам. Доверчивая молодая дружба льнула к нему, как пчела к цветку. Его панибратская снисходительность к человеческим слабостям притягивала к нему каждого хотя бы на время ослабевшего или несознательного. Туманные обнадеживания баяниста приятно обволакивали головы, как дымок сухого костра. Он был тароват на песни, на ласку, на обещанья, как путник, присевший у огонька и чуждый соленых будничных забот. Он был легок на подъем, как птица, и равнодушен ко всему; а вместе с тем, как темный колодезь, он принимал в себя все гнилые стоки и ручьи человеческих пороков, возле него у людей словно кружилась голова. Он всем что-то обещал, манил куда-то, но никто не смог бы получить от него и капли воды.

— Вот аховый! — простодушно восхитился Ефим, не совсем ясно понимая, что же будет дальше.

— Прямой подлец и обманщик! — наставительно, шепотом поправил его Николай Самохин, покосившись на жену. Валя совсем присмирела, и круглые ее локти жалко розовели из-под короткой шали.

Семен взглянул на опущенное к тетради лицо читающего друга, загоревшее под деревенским солнцем.

«Учишь, товарищ комиссар? — думал Семен. — Много ума накопил за эти годы, хитер стал на свежую воду выводить. Учи, учи», — бормотал он про себя, вдруг поняв хитрость старого начальника. Давно бы надо было ему, Семену, не боясь показать свою ненависть, прогнать из колхоза нахального и двоедушного человека. Семен, вспыхнув, посмотрел на Шуру — и вдруг встретился с ее большими задумчивыми и расстроенными глазами.

«Пойми же, — будто говорили они Семену, — ведь

так и со мной могло быть... я ведь так же вот не думала, не догадывалась...»

«Разве меня не достало бы, чтобы тебе помочь?» — казалось, так же безмолвно отвечали Шуру глаза Семёна. И, словно клянясь ей в этом, он прижал руку к бурно забившемуся сердцу.

Чтение шло все дальше.

...В садах уже начался сбор. В одном из ударников Ефим Колпин определенно признал себя. Он уже не мог сидеть спокойно от гордости: разве без него, Ефима, что-нибудь обойдется? Досадно только, что у этого бригадира были иные имя и фамилия, а Ефим жаждал, чтобы «все государство» знало его по имени и отчеству. Однако история его возвышения на работе и в семье во всем напоминала его собственную. Да и всем слушателям нетрудно было это понять. На него оглядывались, а он даже краснел от радости. Оглядывались и на Устинью: в одной лихой и скандальной бабе, как в родной ее сестре, так и виделась всем Устинья. Но Ефим, уважаемый людьми и потому добрый, старался умерить общую насмешку по отношению к Устинье. Он многозначительно кивал, чтобы показать всем: ничего, братцы, и с ее нравом можно сладить, и так и будет! Но последовавшие после этого события огорчили Ефима. Оказалось, что совсем рядом с уважаемым ударником (в котором он узнал себя) красивый лодырь предал хорошую девушку. Она доверяла ему, жалела, как бывшего батрака, и считала, что он хлебнул той же горькой доли, что и она. Потому она и доверилась его обещаниям, приняла его в свою бригаду. Но он не из тех, кто хочет и любит работать, он развалил работу ее бригады, и девушка-бригадир страдала от позора.

— Значит, не всякому доверяй! — не сдержавшись, крикнул Ефим.

Девушку в самом деле теперь ему было жалко от души. Он случайно взглянул на Шуру — и даже испугался своей внезапной догадки: «Да ведь вот же она, девушка-то!»

Девушка, которую предали, металась по опустевшим садам, скрываясь от любопытных глаз. Другая, совсем молодая и неопытная устремилась по ее следам. Она догнала ее на глухой дорожке и крепко обняла, полная жалости и понимания. Да, они обе страдают из-за одно-

го человека, каждая по-своему дорого платя за минуты доверия к нему, а он заплатил им мстью, насмешкой, унижением.

У Вали никогда не было с Шурой разговора о Борисе Шмалеве, но ведь это всегда могло случиться, и они обе увидели бы, какой это жестокий и неверный человек и как мало обе они для него значат.

Валя почти со страхом взглянула на Шуру, которая теперь могла узнать ее тайну. А Шура посмотрела на нее пристально и печально, будто вместе они переболели изнурительной и странной болезнью. Валя вдруг почувствовала себя равноправной Шуре и совсем взрослой, Валентиной Васильевной, хоть и названной, а все же матерью четырех детей. Вполглаза увидела она обеспокоенный взгляд мужа и совестливо почувствовала себя защищенной от всех злых ветров. Вдруг она вспомнила зимний день, хрусткий и розовый от мороза, и себя — в протоптанных валенках, с голыми коленками, продрогшую на ледяном ветру, и невозможное счастье, Борис Шмалев, в оранжевом полушубке, гремя баяном и бубенцами, нагло скаля сахарные зубы, несется мимо, мимо, того и гляди заденет ее на повороте озорной оглоблей... И она, Валька, дура богова, забыв все это, служила ему для того, чтобы он трусливо, как собака незаконную добычу, предал ее стыду и страху в самый, казалось бы, торжественный день ее жизни.

«Да, уж он такой... — подумала она, вспыхивая от поздней злой обиды и возмущения. — Он всегда был такой жадный, всегда!»

В ней словно рухнула какая-то стена, и окрестный мир перед ней вдруг осветило пронзительным еветом. Она теперь следила, как человек, предавший обеих девушек, бродил по саду, один глухой ночью...

Никто из слушающих никогда не беспокоился за природу, — напротив, боялись ее, как врага: не сгубила бы цвета, не сорвала бы плодов, не побила бы их градом. А тут, с появлением одинокого человека, тихие сады под темно-зеленым плащом ночного неба лежали в беззащитной дреме, как уставший лагерь, не слыша подкрадывающихся врагов. Человек метался по лунным дорожкам и, как лазутчик — спящих бойцов, обшаривал взглядом яблоневые стволы. Весь будто раскаленный ненасытный жадностью, он казалось, упивался этой

безгласной ночью, своим одиночеством и свободой. Подняв вверх голову, он стиснул руками ствол большой раскидистой яблони, не отрываясь смотрел, как в тисках его беспощадных рук дрожала уже опадающая крона яблони, а звезды, как золотые пятирублевки, блестели между ее ветвями. «Тысячи пудов... — бормотал он с волчьей тоской, — здесь тысячи пудов... мне бы их иметь, мне бы...»

— Это зачем же ему надо было? — с наивным испугом спросил Володя Наркизов.

— Люди спят, а он бродит, — подхватил Ефим.

— А ему без людей лучше! — с силой сказал Семен и обратил к собранию мрачное лицо. — Бывший мой товарищ, комиссар, нынешний писатель, к сожалению, сказал мне сейчас, что на сем месте он остановился, и далее пока что еще не готово. Так, что ль, Андрей Матвейч?

— Совершенно правильно.

— А я, право, еще бы сейчас послушал! Может, ночью-то был он спятивши? — несмело предположил Ефим.

— Для дня и ночи двух умов не бывает, — зло сказал Николай.

Выражение его лица напоминало Вале первую их ссору, когда муж, ужасаясь и страдая, ударил ее. Увидя Николая и всех других в новом, пронзительном свете, она поняла, как связана ее жизнь с каждым из этих людей. Она вспомнила, что ни разу не благодарила Семена, а ведь он спас ее от насмешек и унижений после неудачного начала ее семейной жизни. А как подбадривал на работе Ефим! А Николай не однажды нарочно попадался ей на глаза и смотрел молящим и виноватым взглядом. А между тем он, Николай, вовсе не так был перед ней виноват. Да, да! Он бился с нуждой всю молодость, от трудной жизни потерял жену раньше срока. Выбрав потом ее, Валу, разве не вправе он ждать от нее в ответ на свою любовь хотя бы правдивости? Теперь разве могла она еще молчать о том, что знала?

Как во сне слышала Валя знакомые голоса, стук ее сердца отзывался в мозгу, как спешная и упорная ковка на бешеном огне.

Семен повторял взволнованно:

— Жалко, что на этой картине чтение кончается!..

А нам бы очень полезно и важно было бы знать, что у того человека в душе было, когда он под яблонями бродил?

Тайна, леденя, давила грудь, и, сделав страшное усилие освободиться от нее, Валя крикнула чужим, высоким голосом:

— Я знаю... знаю!

— Что? — обернулось к ней лицо Семена, а за ним и все собрание.— Что ты знаешь?

Стремительное, как апрельская капель, тепло разлилось вдруг по ее телу, и, выпрямляясь от этого тепла, она сказала одним духом:

— Сады они арендовать хотели.

— Кто они? — зашумели голоса.

— Они! Борис Михайлыч с отцом... А отец его вовсе не умер, как Шмалев сам признался... Он где-то в городе живет... Он сказал мне, что они хотели здешние сады арендовать...

— Как... арендовать? — с болью крикнул Семен.— Ведь мы, колхоз, садами владеем!

— Так они же хотели, чтобы у нас все провалилось, чтобы ничего у нас не вышло... — вся дрожа, рассказывала Валя.

— Чтобы все, все мы опозорились! — сильно и гневно сказала Шура.— Все теперь понятно, все!

— Но почему ты молчала? Валя, Валя! — страстно укорял Семен.

— Он с меня... как клятву взял! — со стоном боли и облегчения вырвалось из груди Вали.— И я боялась... ужас до чего боялась правду сказать, его выдать.

— А вот осмелела же! — И Шура теплой рукой обняла ее плечи.

— Врет она все! — крикнул звучный и злой голос. Шмалев стоял в распахнутом окне.

Сильным движением, как бы в неприятельский окоп, он прыгнул в загудевшую комнату.

За ним, как верная армия, карабкался дедушка с долговязами своими сыновьями, снохами и ребятами. Когда они подступили к окнам, никто не заметил.

— А в дверь не хотите? — крикнул Семен.— Стекла ж побьете, разбойники!

— Подлое вранье! — словно протрубил голос Бори-

са Шмалева, и кулак его взвился над Валиной головой.— Врет она все! Ничего не знала она, не ведала!

Валя на миг зажмурилась. А! Этот человек теперь уже хотел пригнуть ее голову к земле, растоптать ее, как червя при дороге... Валя словно уже ощутила на шее его твердые, как железо, руки и, как бы освобождаясь, с силой выпрямила спину.

— Это вы... это ты врешь! Ты!

Валя сбросила платок, она вся горела. Кровь кипела в ее теле, била в виски, боевая судорога, словно перед стрельбой, сводила ее пальцы.

— Они вместе с отцом прежде сюда ездили... «Сначала, говорит, заарендуем, а потом и вовсе сады купим...» Я не раз все, все слышала!

— Хамка! — гаркнул Шмалев, ощерив белые хищные зубы.— Подтираха! Мне же на шею вешалась... Шпионка!

— Не смеешь! — крикнула она звонко, как под ножом, и даже застонала.— Я честная! Я его... этого вот... глядите... я его больше всех на свете...

И, выговорив все, она разразилась обильными громкими слезами и упала на плечо Николая. Он обнял ее, как наконец вернувшуюся из дальних бегов, а сам, распаленный любовью и ненавистью, могуче и грозно пробасил:

— Вот ты кто-о!.. Оторвем тебе голову, змей!

— Сначала зубы наточи! — оскалась, бросил Шмалев.— Утешай наседку свою! А мы еще поговорим... Мы еще поговорим! — повторил он и с шумом, как штандарт, развернул газету с победоносными очерками Димы Юркова.— Мы о себе другие факты знаем, товарищ Никишев.

Дедулька, слазив за голенище, тоже замахал газетой.

— Будет языками играть! Он вам, голубчики, не чурка-а! — пропел дедулька, кивнув на беспечно улыбающееся лицо Бориса Шмалева, запечатленное верным фотоаппаратом Димы и перенесенное на газетную бумагу.— Вот он какой, в государственной газете пропечатан!

— Вот он какой! — утробным голосом подтвердили сыновья и снохи Никодима Филиппыча.

Свернутую в трубку газету он поднял вверх с та-

ким видом, точно это была лучина, сыплющая на головы искры.

— Плохо, плохо, вижу, тебя учили! — фыркнул Ефим. — Разве ж так газетой распоряжаются, темная твоя голова!

— Не знаменитый ты еще! Не пропечатанный! — запел было опять дедушка.

Долговязые сыновья его согласно забормотали, но Шмалев, сморщась, махнул им, как перестаравшимся барабанщикам.

— Довольно!.. Это очень даже можно, гражданин писатель Никишев! Народных щей похлебали, да на народ же и плюнули!..

— Это ты-то народ? — рванулся Семен.

Никишев схватил его за рукав.

— Погоди, погоди...

Шмалев вытер пот со лба.

— Не въедайся, председатель, всамделе, погоди... Мы за драгоценные слова товарища писателя Юркова грудью стоим! Вот они! Вот я какой! — кричал он, надрываясь сквозь шум, махая газетой, как знаменем. — Людей костерить — на это вы мастера...

— Ах ну-те, ну-те... — лукаво сощурился Никишев, как будто это был не поединок, а шутка на ходу. — Имею к вам деловое предложение...

Он обернулся ко всем. Сухие, горящие глаза Шуры, гневное, нетерпеливое лицо Семена, ожидающее дальнейших событий, упоенно-торжествующий Николай с затихшей Валею на плече, растерявшийся от неожиданности Володя Наркизов, беззвучно смеющийся над поражением дедушки Ефим — ко всем этим людям обратился Никишев, как к творенью рук своих. Он как бы ощущал шевеленье волос на голове от их теплого встревоженного дыханья, — оно было так же надежно, как и все винтовки и сабли, которыми когда-либо приходилось ему защищаться. А вражеский фронт, даже выставив вперед своих самых шумных гренадеров, был обессилен.

Устинья Колпина, выпятив вперед страшную свою грудь, которая могла бы прокормить буйвола, стояла идол идиолом, вытаращенные глаза ее остекленели от пустоты, она стыла в ужасе, потому что на пятом десятке жизни оказалась глупее ребенка.

— Вношу предложение,— повторил Никишев еще небрежнее и веселее.— Если товарищи верят написанному Димой Юрковым, я, пожалуй, не буду и продолжать свою работу.

— А кому оно, писанье это, нужно? — почти взревел Семен и, вдруг выхватив из размякших рук Устиньи злополучный номер, смял и бросил его в угол, как ненужную ветошь.

— Газета — дело государственное! — взвизгнул дедушка.— Переплюнете, вам же худо будет!

— Про то помалкивай,— и Семен пошел грудью вперед.— Государство наше знает, кто на что плюет. Не твоя это забота. Плесень!

Вошедший Петря остолбенел на пороге,— навстречу ему словно пахнуло раскаленным воздухом борьбы.

— Благодарю товарища Петрю Радушева! — сразу ошарашил его пронзительный и сладкий голос Шмалева.— Вот кто сообщил мне, что меня опозорить хотят!

И Шмалев, точно наперекор косым взглядам, устремившимся на Петрю, низко поклонился ему.

— Спасибо тебе! Предупредил меня!

Петря отчаянно заметался:

— Врет он, врет! На афише все можно было прочесть! И что он мне голову крутит?

— Это он жалит тебя напоследок! — крикнул Николай.

— Позвольте! — крикнул Шмалев и, приподнявшись на носках, широко распахнул руки, словно готовясь мячиком перелететь через все головы.— Позвольте! Конца еще не написано. Вся эта история, которую вы развесья уши слушали, не имеет, так сказать, выводов, а только одни догадки...

— Был конец! — раскатисто пробасил Семен.— Шло дело к концу: хотели механизацию нашу, глядя на дождь, зарезать. По печам думали яблоки растаскать. И в руководстве малохольные умы нашлись. Да не вышло по-вашему... уж не суждено вашему брату битву выиграть...

— Стой! — взмолился Петря, словно его понесли шальные кони.— Разве я знал? Разве я для себя? Запугали меня с газетой этой да с портретами... Некогда мне было думать-то одному... решил... думал, выполнят с ним еще прытче.

— Вот-вот! — так захохотал Семен, что Петре впору бы провалиться сквозь землю.— Теперь учись думать, Петр Андреич!

— Так его! — Шмалев залился судорожным, лающим смехом.— Бей направо и налево, чужих и своих, чужих и своих!.. А все-таки, граждане (он все еще лаял)... а все-таки меня тут (он даже проткнул пальцем газету)... очень высоко поставили, ваши доносы не сразу напечают.

— Напечают! — прозвенел, как звонкая струна, голос Шуры.

А Семен подхватил:

— Очень нам нужно «доносы» на кулацких выродков писать!.. Мы лучше в газете расскажем, как кулацкую заразу узнали да выгнали из наших садов!.. тебя выгнали, Шмалев!

— И уйду, дьявол с вами!.. Свет не клином сошелся! — выкрикнул Шмалев, передергиваясь злой и нервной дрожью.— Уйду в город, буду в клубах играть...

Его воспаленный взгляд горел бешеной и одинокой тоской зверя, сбитого с тропы.

— Думаете — вот и нет меня? Нет, и мы вовек не кончимся. Мы в крови живем. Она, кровь крестьянская, только волю, сытость, песню обожает, потому хватит для меня места. Под вами земля скрипит, подо мной радуется...

— Горит под вами земля,— усмехаясь, бросил Никишев и, взяв под руку Шуру, пошел к выходу.

Володя Наркизов, еле дождавшись конца собрания, схватил за плечо уходящую Валю.

— Слушай,— говорил он, упоенно чувствуя свою взрослую жизнь.— Ты сегодня так хорошо поступила, что тебе надо идти в комсомол.— Он помолчал и добавил: — Мы с тобой не работали... и я прежде всех тут синоват. Но ты извини и готовься к вступлению в комсомол.

Валя слушала его, смущенно и радостно улыбаясь,— от этого круга знакомых лиц на нее веяло теплом, светом и надеждами...

— Да куда же я...— начала она, не веря в то, что говорила.— Я же малограмотная вовсе, ума не накопила.

— Ума достанет,— даже обиделся за нее муж.—

Низко себя ставишь, ты не таковская! Только, конечно, трудно, молодые люди, ей вместе с вами хлопотать, она же детская мать.

— Ничего! — зазвенела Лиза. — Дети у ней пока не ношенные, а пригретые.

И все засмеялись.

Баратов уже лежал в постели.

— Видел, видел твой успех, — начал он разговор с Никишевым. — Ты старая бестия, Андрей. Тебе удалось растряссти умы благодаря тому, что ты очень близко держался земли, той, что непосредственно здесь, под ногами. Но в общем, конечно, твое торжество честное, несмотря на хитрость.

— Хорошо, — продолжал Баратов, — что на сегодняшнем собрании была исчерпана тема о газетном параде Димы Юркова. Фу, как стыдно! Я даже словно заболел, пока тут все искали этот ядовитый корень. Его роль кончилась — и прекрасно. Как будто и моей совести легче... Завтра на заре я уезжаю, поезд уходит в пять часов. Скорее домой, в Москву, в Москву!.. Мне столько нового обдумать надо...

Семен улегся в постель, но сон не шел к нему. У стены сладко спал Васятка, и Семен закрыл было глаза. Но волнения и страсти только что пережитого необыкновенного вечера, как крепкое вино, бродили в нем. Почему-то снова и снова ему вспоминалась картина ночи из повести Никишева, одинокая фигура человека, обезумевшего от жадности и злобы, который бродил среди яблонь... и мечтал, чтобы эти тысячи пудов драгоценных колхозных яблок принадлежали бы ему одному.

«А что, если Шмалев тоже бродит сейчас в саду?» — и Семен при этой мысли вскочил с постели и торопливо начал одеваться в темноте.

«Долго ли яблоню испортить? — напряженно работала его мысль. — Тюкнуть по стволу яблони топором изо всей силы раз-другой, вот она и начнет сохнуть... За ночь-то можно целую аллею перепортить!»

«Что яблони?.. Чудак ты!.. Новешенькая сушилка стоит в сарае, а сторожа около нее нету!.. — догнала первую другая мысль.

Семен схватил из-за шкафа охотничью двустволку и как сумасшедший выбежал из дома.

Добежав до сарая, он ощупал висячий замок — и тут же ужаснулся про себя: ничего не стоило скоснуть этот замок одним прикосновением лома!

«Сегодня я часовым буду, а потом по очереди верные люди будут сторожить драгоценность нашу!» — пообещал он на будущее, полный тревожной и упорной уверенности, что появился здесь в самое время.

Дождя уже не было. Тучи, редая, кучками уносились куда-то, и бледная луна, мелькая среди темно-бурых разрывов облаков, уже бросала тонкие и слабые лучи на размокшую от непогоды аллею. И тут Семеном овладело странное нервное чувство: ему почудилось, будто кто-то следит за этой, робко выплывающей луной. Словно опасаясь, когда она полным светом обольет ночную землю, кто-то невидимый тихо и сторожко шел в темноте, огибая стену машинного сарая.

Семен прижался плечом к противоположному углу, прислушиваясь к приближающимся шагам. Из-за угла показался человек, которого в темноте можно было принять за горбуна, если бы не знать заранее, что он имеет обыкновение носить баян в чехле со стороны левого плеча. А сейчас за баяном темнел еще какой-то узел. Человек приблизился к дверям сарая и поднял правую руку.

— Стой! — заревел Семен и выстрелил в воздух. Отдачей так сильно ударило его в грудь, что он еле устоял на ногах. Но это не помешало ему услышать, как о железный засов что-то тяжело звякнуло. Затем глухо протопали шаги и все стихло. Семен подскочил к дверям, зашарил по грязи и, нащупав лом, далеко отбросил его в сторону. Потом схватился опять за висячий замок и, погладив его, как друга, зычно крикнул:

— Эй!.. Стой, вражина, стой!

Но никто не отозвался.

— Убежал, проклятый!

Семен опять поднял ружье, но вслед за грохотом выстрела в сочном и сыром воздухе не раздалось ни вздоха, ни вскрика. Шмалев ушел, будто растворился в ночной тьме.

Выстрелы разбудили людей. Они бежали отовсюду,

и Семену пришлось несколько раз повторять то, что он пережил полчаса назад.

— Ищи его, ребята! — закричал молодежи Володя Наркизов и первым бросился на поиски.

— Исчез, как злой дух! — объявил Николай Самохин.

— Еще где в другом месте объявится, — зло добавил Наркизов, — и опять будет муть в головах сеять!

— Нет, уж недолго их породе проклятой нашу землю топтать... мы его не отыщем, так в другом месте его найдут да как ядовитый корень вытравят! — уверенно заключил Семен.

Среди тревоги и суеты не заметили, как посветлело небо и как мягкий, теплый ветерок повеял в лицо.

— Смотрите, рассвет! — воскликнула Шура. — Ах.. ну до чего же хорошо, Семен, милый... Гляди!

И оба загляделись на раскинувшиеся во всю линию горизонта, ласково колеблемые утренним ветром, сверкающие свежей, омытой листвой, родные свои сады.

1932—1955

●
*Анна Александровна
Караваяева*

Д В О Р

Редактор В. И. Ерманов. Художественный редактор М. Ф. Живило. Технический редактор К. С. Королева. Корректоры Л. С. Мемнонова, Г. А. Советова. Сдано в набор 27/VIII-1974 г. Подписано к печати 18/X-1974 г. Объем 19,58 уч.-изд. л., 18,90 усл. печ. л. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 3. Заказ 283. Тираж 100.000 экз. Цена 71 коп. Красноярское книжное издательство, г. Красноярск, пр. Мира, 89. Типография «Красноярский рабочий», г. Красноярск, пр. Мира, 91.

Цена 71 коп.